Цена 90 коп. Индекс 73293

КНИГИ О ВЕЛИКОМ ОКТЯБРЕ

Ленин В. И. **О Великой Октябрьской социалистической революции.** 4-е изд.— М.: Политиздат, 1987.—384 с.—90 к.

Великая Октябрьская социалистическая революция: Энциклопедия.— 3-е изд.— М., Сов. энциклопедия, 1987.— 639 с., ил.— 1 р. 50 к.

Великий Октябрь и социально-экономический прогресс.— М.: Экономика, 1987.— 246 с.— 3 р. 10 к.

Великий Октябрь. Краткий историко-революционный справочник.—М.: Политиздат, 1987. — 360 с.— 3 р. 20 к.

Гвардия Октября. Москва.— М.: Политиздат, 1987.— 399 с.— 2 р. 20 к.

Гвардия Октября. Петроград.— М.: Политиздат, 1987.—464 с.— 2 р. 50 к.

Ирошников М. П. **Рожденное Октябрем:** Очерки истории становления Советского государства.— Л.: Наука, 1987.— 256 с., ил.— 85 к.

Коваль Б. И. **Революционный опыт XX века.**— М.: Мысль, 1987.— 542 с.— 2 р. 60 к.

Красин Ю. А. **Ленин и проблемы социальной революции современности.**— М.: Мысль, 1987.— 445 с.— 2 р. 30 к.

Они остаются с нами. Кн. 2.— М.: Политиздат, 1987.— 416 с.— 80 к.

Об интернационалистах—участниках Октябрьской революции.

Почему победили большевики. Ответ фальсификаторам истории Великого Октября./Голубева Е. И., Горелов И. Е., Есиева Ф. Б.— М.: Мысль, 1987.— 298 с.— 1 р. 40 к.

Совокин А. М. **Революция пролетарская, революция народная.**— М.: Политиздат, 1987.— 320 с.— 1 р. 50 к.

Книги по истории Великого Октября можно приобрести в магазинах, распространяющих общественно-политическую литературу.

ВГО «Союзкнига»

«Октябрь», 1988, № 1, 1—208.

1988 1 Октябрь

ISSN 0132-0637

Октябрь

1

1988



ОКТЯБРЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

1

1988

ЯНВАРЬ

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

В НОМЕРЕ:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ПО СТРАНИЦАМ КНИГ И ЖУРНАЛОВ

Василий ГРОССМАН

Жизнь и судьба

РОМАН

1

Над землей стоял туман. На проводах высокого напряжения, тянувшихся вдоль шоссе, отсвечивали отблески автомобильных фар.

Дождя не было, но земля на рассвете стала влажной и, когда вспыхивал запретительный светофор, на мокром асфальте появлялось красноватое расплывчатое пятно. Дыхание лагеря чувствовалось за много километров,— к нему тянулись, все сгущаясь, провода, шоссейные и железные дороги. Это было пространство, заполненное прямыми линиями, пространство прямоугольников и параллелограммов, рассекавших землю, осеннее небо, туман.

Протяжно и негромко завыли далекие сирены.

Шоссе прижалось к железной дороге, и колонна автомашин, груженных бумажными пакетами с цементом, шла некоторое время почти на одной скорости с бесконечно длинным товарным эшелоном. Шоферы в военных шинелях не оглядывались на идущие рядом вагоны, на бледные пятна человеческих лиц.

Из тумана вышла лагерная ограда — ряды проволоки, натянутые между железобетонными столбами. Бараки тянулись, образуя широкие, прямые улицы. В их однообразии выражалась бесчеловечность огромного лагеря.

В большом миллионе русских деревенских изб нет и не может быть двух неразличимо схожих. Все живое — неповторимо. Немыслимо тождество двух людей, двух кустов шиповника... Жизнь глохнет там, где насилие стремится стереть ее своеобразие и особенности.

Внимательный и небрежный глаз седого машиниста следил за мельканием бетонных столбиков, высоких мачт с вращающимися прожекторами, бетонированных башен, где в стеклянном фонаре виднелся охранник у турельного пулемета. Машинист мигнул помощнику, паровоз дал предупредительный сигнал. Мелькнула освещенная электричеством будка, очередь машин у опущенного полосатого шлагбаума, бычий красный глаз светофора.

Издали послышались гудки идущего навстречу состава. Машинист сказал помощнику:

— Цуккер идет, я узнаю его по бедовому голосу, разгрузился и гонит на Мюнхен порожняк.

Порожний состав, грохоча, встретился с идущим к лагерю эшелоном, разодранный воздух затрещал, заморгали серые просветы между вагонами, вдруг снова пространство и осенний утренний свет соединились из рваных лоскутов в мерно бегущее полотно.

Помощник машиниста, вынув карманное зеркальце, поглядел на свою запачканную щеку. Машинист движением руки попросил у него зеркальце.

Помощник сказал взволнованным голосом:

— Ах, геноссе Апфель, поверьте мне, мы могли бы возвращаться к обеду, а не в четыре часа утра, выматывая свои силы, если б не эта дезинфекция вагонов. И как будто бы дезинфекцию нельзя производить у нас на узле.

Старику надоел вечный разговор о дезинфекции.

— Давай-ка продолжительный, — сказал он, — нас подают не на запасный, а прямо к главной разгрузочной площадке.

2

В немецком лагере Михаилу Сидоровичу Мостовскому впервые после Второго Конгресса Коминтерна пришлось всерьез применить свое знание иностранных языков. До войны, живя в Ленинграде, ему нечасто приходилось говорить с иностранцами. Ему теперь вспомнились годы лондонской и швейцарской эмиграции, там, в товариществе революционеров, говорили, спорили, пели на многих языках Европы.

Сосед по нарам, итальянский священник Гарди, сказал Мостовскому, что в лагере живут люди пятидесяти шести национальностей.

Судьба, цвет лица, одежда, шарканье шагов, всеобщий суп из брюквы и искусственного саго, которое русские заключенные называли «рыбий глаз», — все это было одинаково у десятков тысяч жителей лагерных бараков.

Для начальства люди в лагере отличались номерами и цветом матерчатой полоски, пришитой к куртке: красной — у политических, черной — у саботажников, зеленой — у воров и убийц.

Люди не понимали друг друга в своем разноязычии, но их связывала одна судьба. Знатоки молекулярной физики и древних рукописей лежали на нарах рядом с итальянскими крестьянами и хорватскими пастухами, не умевшими подписать свое имя. Тот, кто некогда заказывал повару завтрак и тревожил экономку своим плохим аппетитом, и тот, кто ел соленую треску, рядом шли на работу, стуча деревянными подошвами и с тоской поглядывали — не идут ли Kostträger — носильщики бачков, — «костриги», как их называли русские обитатели блоков.

В судьбе лагерных людей сходство рождалось из различия. Связывалось ли видение о прошлом с садиком у пыльной итальянской дороги, с угрюмым гулом Северного моря или с оранжевым бумажным абажуром в доме начальствующего состава на окраине Бобруйска — у всех заключенных до единого прошлое было прекрасно.

Чем тяжелей была у человека долагерная жизнь, тем ретивей он лгал.

Эта ложь не служила практическим целям, она служила прославлению свободы: человек вне лагеря не может быть несчастлив...

Этот лагерь до войны именовался лагерем для политических преступников.

Возник новый тип политических заключенных, созданный национал-социализмом, — преступники, не совершившие преступлений.

Многие заключенные попали в лагерь за высказанные в разговорах с друзьями критические замечания о гитлеровском режиме, за анекдот политического содержания. Они не распространяли листовок, не участвовали в подпольных партиях. Их обвиняли в том, что они бы могли все это сделать.

Заключение во время войны военнопленных в политический концентрационный лагерь являлось также нововведением фашизма. Тут были английские и американские летчики, сбитые над территорией Германии, и представлявшие интерес для гестапо командиры и комиссары Красной Армии. От них требовали сведений, сотрудничества, консультаций, подписей под всевозможными декларациями.

В лагере находились саботажники — прогульщики, пытавшиеся самовольно покинуть работу на военных заводах и строительствах. Заключение в концентрационные лагеря рабочих за плохую работу было также приобретением национал-социализма.

В лагере находились люди с сиреневыми лоскутами на куртках — немецкие эмигранты, уехавшие из фашистской Германии. И в этом было нововведение фашизма — покинувший Германию, как бы лояльно он ни вел себя за границей, становился политическим врагом.

Люди с зелеными полосами на куртках, воры и взломщики, были в политическом лагере привилегированной частью; комендатура опиралась на них в надзоре над политическими.

Во власти уголовного над политическим заключенным также проявлялось новаторство национал-социализма.

В лагере находились люди такой своеобразной судьбы, что не было изобретено цвета лоскута, отвечающего подобной судьбе. Но и индусу, заклинателю змей, персу, приехавшему из Тегерана изучать германскую живопись, китайцу-студенту — физику национал-социализм уготовил место на нарах, котелок баланды и двенадцать часов работы на плантаже.

Днем и ночью шло движение эшелонов к лагерям смерти, к концентрационным лагерям. В воздухе стояли стук колес, рев паровозов, гул сапог сотен тысяч лагерников, идущих на работу с пятизначными цифрами синих номеров, пришитых к одежде. Лагеря стали городами Новой Европы. Они росли и ширились со своей планировкой, со своими переулками и площадями, больницами, со своими базарами-барахолками, крематориями и стадионами.

Какими наивными и даже добродушно патриархальными казались ютившиеся на городских окраинах старинные тюрьмы в сравнении с этими лагерными городами, по сравнению с багрово-черным, сводившим с ума заревом над кремационными печами.

Казалось, что для управления громадой репрессированных нужны огромные, тоже почти миллионные армии надсмотрщиков, надзирателей. Но это было не так. Неделями внутри бараков не появлялись люди в форме СС! Сами заключенные приняли на себя полицейскую охрану в лагерных городах. Сами заключенные следили за внутренним распорядком в бараках, следили, чтобы к ним в котлы шла одна лишь гнилая и мерзлая картошка, а крупная, хорошая отсортировывалась для отправки на армейские продовольственные базы.

Заключенные были врачами, бактериологами в каторжных больницах и лабораториях, дворниками, подметавшими каторжные тротуары, они были инженерами, дававшими каторжный свет, каторжное тепло, детали каторжных машин.

Свирепая и деятельная лагерная полиция — капо, носившая на левых рукавах широкую желтую повязку, лагерэльтеры, блокэльтеры, тубенэльтеры — охватывала своим контролем всю вертикаль лагерной жизни, от общелагерных дел до частных событий, происходящих ночью на нарах. Заключенные допускались к сокровенным делам лагерного государства — даже к составлению списков на селекцию, к обработке подследственных в дункелькамерах — бетонных пеналах. Казалось, исчезни начальство, заключенные будут поддерживать ток высокого напряжения в проволоке, чтобы не разбегаться, а работать.

Эти капо и блокэльтеры служили коменданту, но вздыхали, а иногда даже и плакали по тем, кого отводили к кремационным печам... Однако раздвоение это не шло до конца, своих имен в списки на селекцию они не вставляли. Особо зловещим казалось Михаилу Сидоровичу то, что национал-социализм не приходил в лагерь с моноклем, по-актерски надменный, чуждый народу. Национал-социализм жил в лагерях по-свойски, он не был обособлен от простого народа, он шутил по-народному, и шуткам его смеялись, он был плебеем и вел себя по-простому, он отлично знал и язык, и душу, и ум тех, кого лишил свободы.

3

Мостовского, Агриппину Петровну, военного врача Левинтон и водителя Семенова после того, как они были задержаны немцами августовской ночью на окраине Сталинграда, доставили в штаб пехотной дивизии.

Агриппину Петровну после допроса отпустили, и по указанию сотрудника полевой жандармерии переводчик снабдил ее буханкой горохового хлеба и двумя красными тридцатками; Семенова присоединили к колонне пленных, направлявшихся в шталаг в районе хутора Вертячего. Мостовского и Софью Осиповну Левинтон отвезли в штаб армейской группы.

Там Мостовской в последний раз видел Софью Осиповну — она стояла посреди пыльного двора, без пилотки, с сорванными знаками различия, и восхитила Мостовского угрюмым, злобным выражением глаз и лица.

После третьего допроса Мостовского погнали пешком к станции железной дороги, где грузился эшелон с зерном. Десять вагонов были отве-

дены под направленных на работу в Германию девушек и парней — Мостовской слышал женские крики при отправлении эшелона. Его заперли в маленькое служебное купе жесткого вагона. Сопровождавший его солдат не был груб, но при вопросах Мостовского на лице его появлялось какое-то глухонемое выражение. Чувствовалось при этом, что он целиком занят одним лишь Мостовским. Так опытный служащий зоологического сада в постоянном молчаливом напряжении следит за ящиком, в котором шуршит, шевелится зверь, совершающий путешествие по железной дороге. Когда поезд шел по территории польского генерал-губернаторства, в купе появился новый пассажир — польский епископ, седой, высокий красавец с трагическими глазами и пухлым юношеским ртом. Он тотчас стал рассказывать Мостовскому о расправе, учиненной Гитлером над польским духовенством. Говорил он по-русски с сильным акцентом. После того как Михаил Сидорович обругал католичество и папу, он замолчал и на вопросы Мостовского отвечал кратко, по-польски. Через несколько часов его высадили в Познани.

В лагерь Мостовского привезли, минуя Берлин... Казалось, уже годы прошли в блоке, где содержались особо интересные для гестапо заключенные. В особом блоке жизнь шла сытнее, чем в рабочем лагере, но это была легкая жизнь лабораторных мучеников-животных. Человека кликнет дежурный к двери — оказывается, приятель предлагает по выгодному паритету обменять табачок на пайку, и человек, ухмыляясь от удовольствия, возвращается на свои нары. А второго точно так же окликнут, и он, прервав беседу, отойдет к дверям, и уже собеседник не дождется окончания рассказа. А через денек подойдет к нарам капо, велит дежурному собрать тряпье, и кто-нибудь искательно спросит у штубенэльтера Кейзе: можно ли занять освободившиеся нары? Привычна стала дикая смесь разговоров о селекции, кремации трупов и о лагерных футбольных командах, — лучшая плантаж — Moorsoldaten [1], силен ревир, лихое нападение у кухни, польская команда «працефикс» не имеет защиты. Привычны стали десятки, сотни слухов о новом оружии, о раздорах среди национал-социалистических лидеров. Слухи всегда были хороши и лживы, опиум лагерного народа.

4

К утру выпал снег и, не тая, пролежал до полудня. Русские почувствовали радость и печаль. Россия дохнула в их сторону, бросила под бедные, измученные ноги материнский платок, побелила крыши бараков, и они издали выглядели домашними, по-деревенски.

Но блеснувшая на миг радость смешалась с печалью и утонула в печали.

К Мостовскому подошел дневальный, испанский солдат Андреа, и сказал на ломаном французском языке, что его приятель писарь видел бумагу о русском старике, но писарь не успел прочесть ее, начальник канцелярии прихватил ее с собой.

«Вот и решение моей жизни в этой бумажке», — подумал Мостовской и порадовался своему спокойствию.

— Но ничего, — сказал шепотом Андреа, — еще можно узнать.

— У коменданта лагеря? — спросил Гарди, и его огромные глаза блеснули чернотой в полутьме. — Или у самого представителя главного управления безопасности Лисса?

Мостовского удивило различие между дневным и ночным Гарди. Днем священник говорил о супе, о вновь прибывших, сговаривался с соседями об обмене пайка, вспоминал острую, прочесноченную итальянскую еду.

Военнопленные красноармейцы, встречая его на лагерной площадке, знали его любимую поговорку: «тути капути», и сами издали кричали ему: «Папаша Падре, тути капути», — и улыбались, словно слова эти обнадеживали. Называли они его — папаша Падре, считая, что «падре» его имя.

Как-то поздним вечером содержащиеся в особом блоке советские

[1] Болотные солдаты *(нем.)*.

командиры и комиссары стали подшучивать над Гарди, действительно ли он соблюдал обет безбрачия.

Гарди без улыбки слушал лоскутный набор французских, немецких и русских слов.

Потом он заговорил, и Мостовской перевел его слова. Ведь русские революционеры ради идеи шли на каторгу и на эшафот. Почему же его собеседники сомневаются, что ради религиозной идеи человек может отказаться от близости с женщиной? Ведь это несравнимо с жертвой жизни.

— Ну, не скажите, — проговорил бригадный комиссар Осипов.

Ночью, когда лагерники засыпали, Гарди становился другим. Он стоял на коленях на нарах и молился. Казалось, в его исступленных глазах, в их бархатной и выпуклой черноте может утонуть все страдание каторжного города. Жилы напрягались на его коричневой шее, словно он работал, длинное апатичное лицо приобретало выражение угрюмого счастливого упорства. Молился он долго, и Михаил Сидорович засыпал под негромкий, быстрый шепот итальянца. Просыпался Мостовской обычно, поспав полтора-два часа, и тогда Гарди уже спал. Спал итальянец бурно, как бы соединяя во сне обе свои сущности, дневную и ночную, храпел, смачно плямкал губами, скрипел зубами, громоподобно испускал желудочные газы и вдруг протяжно произносил прекрасные слова молитвы, говорящие о милосердии Бога и Божьей матери.

Он никогда не укорял старого русского коммуниста за безбожие, часто расспрашивал его о Советской России.

Итальянец, слушая Мостовского, кивал головой, как бы одобряя рассказы о закрытых церквах и монастырях, об огромных земельных угодьях, забранных Советским государством у синода.

Его черные глаза с печалью смотрели на старого коммуниста, и Михаил Сидорович сердито спрашивал:

— Vous me comprenez? [1]

Гарди улыбался своей обычной, житейской улыбкой, той, с которой говорил о рагу и о соусе из помидоров.

— Je comprends tout ce que vous dites, je ne comprends pas seulement, pourquoi vous dites cela [2].

Находившиеся в особом блоке русские военнопленные не были освобождены от работ, и поэтому Мостовской виделся и разговаривал с ними лишь в поздние вечерние и ночные часы. На работу не ходили генерал Гудзь и бригадный комиссар Осипов.

Частым собеседником Мостовского был странный, неопределенного возраста человек — Иконников-Морж. Спал он на худшем месте во всем бараке — у входной двери, где его обдавало холодным сквозняком и где одно время стоял огромный ушастый чан с гремящей крышкой — параша. Русские заключенные называли Иконникова «старик-парашютист», считали его юродивым и относились к нему с брезгливой жалостью. Он обладал невероятной выносливостью, той, которая отличает лишь безумцев и идиотов. Он никогда не простужался, хотя, ложась спать, не снимал с себя промокшей под осенним дождем одежды. Казалось, что таким звонким и ясным голосом может действительно говорить лишь безумный.

Познакомился он с Мостовским таким образом. Иконников-Морж подошел к Мостовскому и молча долго всматривался ему в лицо.

— Что скажет доброго товарищ? — спросил Михаил Сидорович и усмехнулся, когда Иконников нараспев произнес:

— Сказать доброе? А что есть добро?

Слова эти вдруг перенесли Михаила Сидоровича в пору детства, когда приезжавший из семинарии старший брат заводил с отцом спор о богословских предметах.

— Вопрос с седой бородкой, — сказал Мостовской, — о нем еще думали буддисты и первые христиане. Да и марксисты немало потрудились над его разрешением.

— И решили? — с интонацией, рассмешившей Мостовского, спросил Иконников.

— Вот Красная Армия, — сказал Мостовской, — сейчас решает его.

[1] Вы меня понимаете? *(фр.)*.

[2] Я понимаю все, что вы говорите, я не понимаю только, почему вы это говорите. *(фр.)*.

А в тоне вашем, простите, содержится некий елей, нечто этакое, не то поповское, не то толстовское.

— Иначе не может быть, — сказал Иконников, — ведь я был толстовцем.

— Вот так фунт, — сказал Михаил Сидорович. Странный человек заинтересовал его.

— Видите ли, — сказал Иконников, — я убежден, что гонения, которые большевики проводили после революции против церкви, были полезны для христианской идеи, ведь церковь пришла в жалкое состояние перед революцией.

Михаил Сидорович добродушно сказал:

— Да вы прямо диалектик. Вот и мне пришлось увидеть евангельское чудо на старости лет.

— Нет, — хмуро проговорил Иконников. — Ведь для вас цель ваша оправдывает средства, а средства ваши безжалостны. Во мне вы не видите чуда — я не диалектик.

— Так, — сказал, внезапно раздражаясь, Мостовской, — чем же, однако, могу вам служить?

Иконников, стоя в позе военного, принявшего положение «смирно», сказал:

— Не смейтесь надо мной! — Горестный голос его прозвучал трагично. — Я не ради шуток подошел к вам. Пятнадцатого сентября прошлого года я видел казнь двадцати тысяч евреев — женщин, детей и стариков. В этот день я понял, что Бог не мог допустить подобное, и мне стало очевидно, что его нет. В сегодняшнем мраке я вижу вашу силу, она борется со страшным злом...

— Ну что ж, — сказал Михаил Сидорович, — поговорим.

Иконников работал на плантаже, в болотистой части прилагерных земель, где прокладывалась система огромных бетонированных труб для отвода реки и грязных ручейков, заболачивающих низменность. Рабочих на этом участке называли «Moorsoldaten», обычно сюда попадали люди, пользовавшиеся нерасположением начальства.

Руки Иконникова были маленькие, с тонкими пальцами, с детскими ногтями. Он возвращался с работы замазанный глиной, мокрый, подходил к нарам Мостовского и спрашивал:

— Разрешите посидеть возле вас?..

Он садился и улыбался, не глядя на собеседника, проводил рукой по лбу. Лоб у него был какой-то удивительный — не очень большой, выпуклый, светлый, такой светлый, точно существовал отдельно от грязных ушей, темно-коричневой шеи и рук с обломанными ногтями.

Советским военнопленным, людям с простой биографией, он казался человеком неясным и темным.

Предки Иконникова со времен Петра Великого были из рода в род священниками. Лишь последнее поколение Иконниковых пошло другой дорогой — все братья Иконникова по желанию отца получили светское образование.

Иконников учился в Петербургском технологическом институте, но увлекся толстовством, ушел с последнего курса и отправился на север Пермской губернии народным учителем. Он прожил в деревне около восьми лет, а затем перебрался на юг, в Одессу, поступил на грузовой пароход слесарем в машинное отделение, побывал в Индии, в Японии, жил в Сиднее. После революции он вернулся в Россию, вступил в крестьянскую земледельческую коммуну. Это была его давняя мечта, он верил, что сельскохозяйственный коммунистический труд приведет к царству божьему на земле.

Во время всеобщей коллективизации он увидел эшелоны, набитые семьями раскулаченных. Он видел, как падали в снег изможденные люди и уже не вставали. Он видел «закрытые», вымершие деревни с заколоченными окнами и дверями. Он видел арестованную крестьянку, оборванную женщину с жилистой шеей, с трудовыми, темными руками, на которую с ужасом смотрели конвоиры: она съела, обезумев от голода, своих двоих детей.

В эту пору он, не покидая коммуны, стал проповедовать Евангелие, молить бога о спасении гибнущих. Кончилось дело тем, что его посадили, но оказалось, что бедствия тридцатых годов помутили его разум. После года принудительного лечения в тюремной психиатрической больнице он вышел на волю и поселился в Белоруссии у старшего брата, профессора-биолога, устроился с его помощью на работу в технической библиотеке. Но мрачные события произвели на него чрезвычайное впечатление.

Когда началась война и немцы захватили Белоруссию, Иконников увидел муки военнопленных, казни евреев в городах и местечках Белоруссии. Он вновь впал в какое-то истерическое состояние и стал умолять знакомых и незнакомых людей прятать евреев, сам пытался спасать еврейских детей и женщин. На него вскоре донесли, и, каким-то чудом избегнув виселицы, он попал в лагерь.

В голове оборванного и грязного «парашютиста» царил хаос, он утверждал нелепые и комичные категории надклассовой морали.

— Там, где есть насилие, — объяснял Иконников Мостовскому, — царит горе и льется кровь. Я видел великие страдания крестьянства, а коллективизация шла во имя добра. Я не верю в добро, я верю в доброту.

— Будем, следуя вашему совету, ужасаться, что во имя добра вздернут Гитлера и Гиммлера. Ужасайтесь уж без меня, — отвечал Михаил Сидорович.

— Спросите Гитлера, — сказал Иконников, — и он вам объяснит, что и этот лагерь ради добра.

Мостовскому казалось, что во время спора с Иконниковым работа его логики становится похожа на бессмысленные усилия ножа, борющегося с медузой.

— Мир не поднялся выше истины, высказанной сирийским христианином, жившим в шестом веке, — повторял Иконников, — «осуди грех и прости грешника».

В бараке находился еще один русский старик — Чернецов. Он был одноглазым. Охранник разбил его искусственный, стеклянный глаз, и пустая красная глазница странно выглядела на его бледном лице. Разговаривая, он прикрывал зияющую пустую глазницу ладонью.

Это был меньшевик, бежавший из Советской России в 1921 году. Двадцать лет он прожил в Париже, работал бухгалтером в банке. Попал он в лагерь за призыв к служащим банка саботировать распоряжения новой немецкой администрации. Мостовской старался с ним не сталкиваться.

Одноглазого меньшевика, видимо, тревожила популярность Мостовского — и солдат-испанец, и норвежец, владелец писчебумажной лавки, и адвокат-бельгиец тянулись к старому большевику, расспрашивали его.

Однажды к Мостовскому на нары сел верховодивший среди русских военнопленных майор Ершов. Немного привалившись к Мостовскому и положив руку ему на плечо, он быстро и горячо говорил.

Мостовской внезапно оглянулся, с дальних нар смотрел на них Чернецов. Мостовскому подумалось, что выражение тоски в его зрячем глазу страшней, чем красная зиявшая яма на месте выбитого глаза.

«Да, брат, невесело тебе», — подумал Мостовской и не испытал злорадства.

Не случайно, конечно, а закон определил, что Ершов всем всегда нужен. «Где Ершов? Ерша не видели? Товарищ Ершов! Майор Ершов! Ершов сказал... Спроси Ершова...» К нему приходят из других бараков, вокруг его нар всегда движение.

Михаил Сидорович окрестил Ершова: властитель дум. Были властители дум — шестидесятники, были — восьмидесятники. Были народники, был, да сплыл Михайловский. И в гитлеровском концлагере есть свой властитель дум! Одиночество одноглазого казалось в этом лагере трагическим символом.

Десятки лет прошли с поры, когда Михаил Сидорович впервые сидел в царской тюрьме, даже век был тогда другой — девятнадцатый.

Сейчас он вспоминал о том, как обижался на недоверие некоторых руководителей партии к его способности вести практическую работу. Он чувствовал себя сильным, он каждый день видел, как веско было его слово для генерала Гудзя, и для бригадного комиссара Осипова, и для всегда подавленного и печального майора Кириллова.

До войны его утешало, что, удаленный от практики, он меньше соприкасается со всем тем, что вызывало его протест и несогласие: и единовластие Сталина в партии, и кровавые процессы оппозиции, и недостаточное уважение к старой партийной гвардии. Он мучительно переживал казнь Бухарина, которого хорошо знал и очень любил. Но он знал, что, противопоставив себя партии в любом из этих вопросов, он, помимо своей воли, окажется противопоставлен ленинскому делу, которому отдал жизнь. Иногда его мучили сомнения, — может быть, по слабости, по трусости молчит он и не выступает против того, с чем не согласен. Ведь многое в довоенной жизни было ужасно! Он часто вспоминал покойного Луначарского, как хотелось ему вновь увидеть его, с Анатолием Васильевичем так легко было говорить, так быстро, с полуслова, понимали они друг друга.

Теперь, в страшном немецком лагере, он чувствовал себя уверенным и крепким. Лишь одно томящее ощущение не оставляло его. Он и в лагере не мог вернуть молодого, ясного и круглого чувства: свой среди своих, чужой среди чужих.

Тут дело было не в том, что однажды английский офицер спросил его, не мешало ли ему заниматься философской наукой то, что в России запрещено высказывать антимарксистские взгляды.

— Кому-нибудь, может быть, это и мешает. А мне, марксисту, не мешает, — ответил Михаил Сидорович.

— Я задал этот вопрос, именно имея в виду, что вы старый марксист, — сказал англичанин. И хотя Мостовской поморщился от болезненного чувства, вызванного этими словами, он сумел ответить англичанину.

Тут дело было не в том, что такие люди, как Осипов, Гудзь, Ершов, иногда тяготили его, хотя они были кровно близки ему. Беда была в том, что многое в его собственной душе стало для него чужим. Случалось, в мирные времена он, радуясь, встречался со старым другом, а в конце встречи видел в нем чужого.

Но как поступить, когда чуждое сегодняшнему дню жило в нем самом, было частью его самого... С собой ведь не порвешь, не перестанешь встречаться.

При разговорах с Иконниковым он раздражался, бывал груб, насмешлив, обзывал его тюрей, размазней, киселем, шляпой. Но, насмехаясь над ним, он в то же время скучал, когда долго не видел его.

В этом было главное изменение между его тюремными годами в молодости и нынешним временем.

В молодую пору в друзьях и единомышленниках все было близко, понятно. Каждая мысль, каждый взгляд врага были чужды, дики.

А теперь вдруг он узнавал в мыслях чужого то, что было дорого ему десятки лет назад, а чужое иногда непонятным образом проявлялось в мыслях и словах друзей.

«Это, должно быть, оттого, что я слишком долго живу на свете», — думал Мостовской.

5

Американский полковник жил в отдельном боксе особого барака. Ему разрешали свободно выходить из барака в вечернее время, кормили особым обедом. Говорили, что по его поводу был сделан запрос из Швеции, — президент Рузвельт просил о нем через шведского короля.

Полковник однажды отнес плитку шоколада больному русскому майору Никонову. Его в особом бараке интересовали больше всего русские военнопленные. Он пытался заводить с русскими разговор о немецкой тактике и о причинах неудач первого года войны.

Он часто заговаривал с Ершовым и, глядя в умные, одновременно серьезные и веселые глаза русского майора, забывал, что тот не понимает по-английски.

Ему казалось странным, как же его не понимает человек с таким умным лицом, да еще не понимает разговора о предметах, которые сильно волнуют обоих.

— Неужели вы ни черта не понимаете? — огорченно спрашивал он.

Ершов по-русски отвечал ему:

— Наш уважаемый сержант владел всеми языками, кроме иностранных.

Но все же на языке, состоящем из улыбок, взглядов, похлопываний по спине и десятка-полутора исковерканных русских, немецких, английских и французских слов, разговаривали о товариществе, сочувствии, помощи, о любви к дому, женам, детям — лагерные русские люди с людьми десятков разноязычных национальностей.

«Камрад, гут, брот, зупэ, киндер, сигарет, арбайт» да еще с дюжину немецких слов, рожденных в лагерях: ревир, блокэльтерсте, капо, фернихтунгслагер, аппель, аппельплац, вахраум, флюгпункт, лагершуце, — хватало, чтобы выразить особо важное в простой и запутанной жизни лагерных людей.

Были и русские слова — ребята, табачок, товарищ, — которыми пользовались заключенные многих национальностей. А русское слово «доходяга», определявшее состояние близкого к смерти лагерника, стало общим для всех, завоевало все 56 лагерных национальностей.

С набором в десяток-полтора слов великий немецкий народ вторгся в города и деревни, населенные великим русским народом, и миллионы русских деревенских баб, стариков, детей и миллионы немецких солдат объяснялись словами — «матка, пан, руки вверх, курка, яйка, капут». Ничего доброго от этого объяснения не получалось...

И так же не могли договориться советские военнопленные — одни, готовые умереть, но не изменить, другие, помышлявшие вступить во власовские войска. Чем больше говорили они и спорили, тем меньше понимали друг друга. А потом уже они молчали, полные ненависти и презрения друг к другу.

В этом молчании немых и в речах слепых, в этом густом смешении людей, объединенных ужасом, надеждой и горем, в непонимании, ненависти людей, говорящих на одном языке, трагически выражалось одно из бедствий двадцатого века.

6

В день, когда высыпал снег, вечерние разговоры русских военнопленных были особенно печальны.

Даже полковник Златокрылец и бригадный комиссар Осипов, всегда собранные, полные душевной силы, стали угрюмы и молчаливы. Тоска подмяла всех.

Артиллерист майор Кириллов сидел на нарах Мостовского, опустив плечи, и тихонько покачивал головой. Казалось, не только темные глаза, но все огромное его тело было полно тоской.

Подобное выражение глаз бывает у безнадежных раковых больных. Глядя в такие глаза, даже самые близкие люди, сострадая, думают: скорей бы ты умер.

Желтолицый и вездесущий Котиков, указывая на Кириллова, шепотом сказал Осипову:

— Либо повесится, либо к власовцам метнется.

Мостовской, потирая седые щетинистые щеки, проговорил:

— Слушайте меня, казачки. А ведь, право, хорошо. Неужели не понимаете? Каждый день жизни государства, созданного Лениным, невыносим для фашизма. У него нет выбора — либо сожрать нас, уничтожить, либо самому погибнуть. Ведь в ненависти к нам фашизма проверка правильности дела Ленина. Еще одна, и нешуточная. Поймите вы: чем больше к нам ненависть фашистов, тем уверенней мы должны быть в своей правоте. И мы осилим.

Он резко повернулся к Кириллову, сказал:

— Ну что ж это вы, а? Помните у Горького, когда он ходил по тюремному двору, какой-то грузин кричал: «Что ты ходишь таким курицам, ходи голова вверх!»

Все рассмеялись.

— Верно, верно, давайте головы вверх, — сказал Мостовской. — Вы подумайте — огромное, великое Советское государство защищает коммунистическую идею! Пусть Гитлер справится с ним и с ней. Сталинград сто-

ит, держится. Казалось иногда перед войной — не слишком ли круто, не слишком ли жестоко закрутили мы гайки? Но уж действительно и слепым теперь видно — цель оправдала средства.

— Да, гайки подкрутили у нас крепко. Это вы верно сказали, — проговорил Ершов.

— Мало подкрутили, — сказал генерал Гудзь. — Еще крепче надо бы, тогда б до Волги не дошел.

— Не нам Сталина учить, — сказал Осипов.

— Ну вот, — сказал Мостовской. — А если погибнуть придется в тюрьмах и шахтах сырых, тут уж ничего не попишешь. Не об этом нам надо думать.

— А о чем? — громко спросил Ершов.

Сидевшие переглянулись, оглянулись, помолчали.

— Эх, Кириллов, Кириллов, — сказал вдруг Ершов. — Верно наш отец сказал: мы радоваться должны, что фашисты нас ненавидят. Мы их, они нас. Понимаешь? А ты подумай — попасть к своим в лагерь, свой к своим. Вот где беда. А тут что! Мы люди крепкие, еще дадим немцу жизни.

7

Весь день у командования 62-й армии не было связи с частями. Вышли из строя многие штабные радиоприемники; проволочная связь повсеместно нарушилась.

Бывали минуты, когда люди, глядя на текучую, покрытую мелкой волной Волгу, ощущали реку как неподвижность, у берега которой забилась трепещущая земля. Сотни советских тяжелых орудий вели огонь из Заволжья. Под немецким расположением у южного склона Мамаева кургана вздымались комья земли и глины.

Клубящиеся земляные облака, проходя сквозь дивное, незримое сито, созданное силой тяготения, образовывали рассев, тяжелые глыбы, комки рушились на землю, а легкая взвесь подымалась в небо.

По нескольку раз на день оглушенные, с воспаленными глазами красноармейцы встречали немецкие танки и пехоту.

Для командования, оторванного от войск, день казался томительно длинным.

Чем только не пытались Чуйков, Крылов и Гуров заполнить этот день — создавали видимость дела, писали письма, спорили о возможных передвижениях противника, шутили, и водку пили с закуской и без закуски, и молчали, прислушиваясь к грому бомбежки. Железный вихрь выл вокруг блиндажа, косил все живое, на миг подымавшее голову над поверхностью земли. Штаб был парализован.

— Давайте в подкидного сыграем, — сказал Чуйков и отодвинул в угол стола объемистую пепельницу, полную окурков.

Даже начальнику штаба армии Крылову изменило спокойствие. Постукивая пальцем по столу, он сказал:

— Нет хуже положения — вот так ждать, как бы не схарчили.

Чуйков раздал карты, объявил: «Черва козырь». Потом вдруг смешал колоду, проговорил:

— Сидим, как зайчишки, и играем в картишки. Нет, не могу!

Он сидел задумавшись. Лицо его казалось ужасным, такое выражение ненависти и муки отразилось на нем.

Гуров, словно предугадывая свою судьбу, задумчиво повторил:

— Да, после такого денька можно от разрыва сердца умереть.

Потом он рассмеялся и сказал:

— В дивизии днем в уборную выйти — страшное, немыслимое дело! Мне рассказывали: начальник штаба у Людникова плюхнулся в блиндаж, крикнул: «Ура, ребята, я пос...!» Поглядел, а в блиндаже докторша сидит, в которую он влюблен.

С темнотой налеты немецкой авиации прекратились. Вероятно, человек, попавший ночью на сталинградский берег, подавленный грохотом и треском, вообразил бы, что недобрая судьба привела его в Сталинград в час решающей атаки, но для военных старожилов это было время бритья, постирушек, писания писем, время, когда фронтовые слесари, токари, паяльщики, часовщики мастерили зажигалки, мундштуки, светильники из снарядных гильз с фитилями из шинельного сукна, чинили ходики.

Мерцающий огонь разрывов освещал береговой откос, развалины города, нефтяные баки, заводские трубы, и в этих коротких вспышках побережье и город казались зловещими и угрюмыми.

В темноте ожил армейский узел связи, затрещали пишущие машинки, размножающие копии боевых донесений, зажужжали движки, затарахтела морзянка, и телефонисты перекликались по линиям — подключали в сеть командные пункты дивизий, полков, батарей, рот... Степенно покашливали прибывшие в армейский штаб связные, докладывали оперативным дежурным офицеры связи.

Заспешили на доклад к Чуйкову и Крылову старик Пожарский, командующий артиллерией армии, и начальник смертных переправ инженерный генерал Ткаченко, и новосел в зеленой солдатской шинельке командир сибирской дивизии Гуртьев, и сталинградский старожил подполковник Батюк, стоявший со своей дивизией под Мамаевым курганом. Зазвучали в политдонесениях члену Военного совета армии Гурову знаменитые сталинградские имена — минометчика Бездидько, снайперов Василия Зайцева и Анатолия Чехова, сержанта Павлова, и рядом с ними назывались имена людей, впервые произнесенные в Сталинграде, — Шонина, Власова, Брысина, которым первый их сталинградский день принес военную славу. А на переднем крае сдавали почтальонам равнобедренные бумажные треугольники — «лети, листок, с запада на восток... лети с приветом, вернись с ответом... добрый день, а может быть, и вечер...» На переднем крае хоронили погибших, и убитые проводили первую ночь своего вечного сна рядом с блиндажами и укрытиями, где товарищи их писали письма, брились, ели хлеб, пили чай, мылись в самодельных банях.

8

Пришли самые тяжелые дни защитников Сталинграда.

В неразберихе городского сражения, атак и контратак, в борьбе за «Дом специалиста», за мельницу, здание Госбанка, в борьбе за подвалы, дворы, площади стал несомненен перевес немецких сил.

Немецкий клин, вколоченный в южной части Сталинграда у сада Лапшиных, Купоросной Балки и Ельшанки, ширился, и немецкие пулеметчики, укрывшись у самой воды, обстреливали левый берег Волги южней Красной Слободы. Оперативщики каждый день отмечали на картах линию фронта, видели, как неуклонно наползали синие отметины и все таяла, утончалась полоса между красной чертой советской обороны и голубизной Волги.

Инициатива, душа войны, в эти дни была в руках у немцев. Они ползли и ползли вперед, и вся ярость советских контратак не могла остановить их медленного, но отвратительно несомненного движения.

А в небе от восхода до заката ныли немецкие пикировщики, долбили горестную землю фугасными бомбами. И в сотнях голов жила колючая, жестокая мысль о том, что же будет завтра, через неделю, когда полоска советской обороны превратится в нитку, порвется, искореженная железными зубами немецкого наступления.

9

Поздно ночью генерал Крылов прилег в своем блиндаже на койку. В висках ломило, покалывало в горле от десятков выкуренных папирос. Крылов провел языком по сухому небу и повернулся к стене. Дремота смешала в памяти Крылова севастопольские и одесские бои, крик штурмующей румынской пехоты, мощенные камнем, поросшие плющом одесские дворы и матросскую красоту Севастополя.

Ему померещилось, что он вновь на командном пункте в Севастополе, и в сонном тумане поблескивали стекла пенсне генерала Петрова; сверкнувшее стекло заблестело тысячами осколков, и уже колыхалось

море, и серая пыль от расколотого немецкими снарядами скального камня поплыла над головами моряков и солдат, встала над Сапун-горой.

Послышался бездушный плеск волны о борт катера и грубый голос моряка-подводника: «Прыгай!» Казалось, что прыгнул он в волну, но нога тотчас коснулась корпуса подводной лодки... И последний взгляд на Севастополь, на звезды в небе, на береговые пожары...

Крылов заснул. Во сне продолжалась власть войны. Подводная лодка уходила из Севастополя в Новороссийск... Он поджимал затекшие ноги, грудь и спина взмокли от пота, шум двигателя бил в виски. И вдруг двигатель замер — лодка мягко легла на дно. Духота стала невыносима, давил металлический свод, деленный на квадраты пунктиром клепки...

Он услышал многоголосый рев, плеск, взорвалась глубинная бомба, вода ударила, сбросила его с койки. Крылов открыл глаза: кругом был огонь, мимо распахнутой двери блиндажа бежал к Волге поток пламени, слышались крики людей, стрекотание автоматов.

— Шинелью, шинелью голову закрой! — закричал Крылову незнакомый красноармеец, протягивая шинель. Но Крылов, отстраняя красноармейца, закричал:

— Где командующий?

Вдруг он понял: немцы подожгли нефтебаки, и горящая нефть хлынула к Волге.

Казалось, не было уже возможности выбраться живым из этого текучего огня. Огонь гудел, с треском отрываясь от нефти, заполнявшей ямы и воронки, хлеставшей по ходам сообщения. Земля, глина, камень, пропитываясь нефтью, начинали дымить. Нефть вываливалась черными, глянцевитыми струями из прошитых зажигательными пулями хранилищ, и казалось, это разворачиваются огромные рулоны огня и дыма, укупоренные в цистернах.

Жизнь, которая торжествовала на земле сотни миллионов лет тому назад, грубая и страшная жизнь первобытных чудовищ, вырвалась из могильных толщ, вновь ревела, топча ножищами, выла, жадно жрала все вокруг себя. Огонь подымался на много сотен метров вверх, унося облака горючего пара, которые взрывоподобно вспыхивали высоко в небе. Масса пламени была так велика, что воздушный вихрь не успевал подавать к горящим углеводородистым молекулам кислород, и плотный колыщущийся черный свод отделил осеннее звездное небо от горевшей земли. Жутко было смотреть снизу на эту струящуюся, жирную и черную твердь.

Огненные и дымовые столбы, стремясь вверх, то принимали мгновеньями очертания живых, охваченных отчаянием и яростью существ, то казались дрожащими тополями, трепещущими осинами. Черное и красное кружилось в лоскутах огня подобно слившимся в пляске черным и рыжим растрепанным девкам.

Горящая нефть плоско расплывалась по воде и, подхваченная течением, шипела, дымила, извивалась.

Удивительно, что в эти минуты уже многие бойцы знали, как можно пробраться к берегу. Они кричали: «Сюда, сюда беги, вот по этой тропке!»; некоторые люди успели два-три раза подняться к пылавшим блиндажам, помогали штабным добираться до выступа на берегу, где в огненной развилке упершихся в Волгу нефтяных потоков стояла кучка спасшихся.

Люди в ватниках помогли спуститься к берегу командующему армией и офицерам штаба. Эти люди на руках вынесли из огня генерала Крылова, которого уже считали погибшим, и, поморгав обгоревшими ресницами, вновь продирались сквозь чащу красного шиповника к штабным блиндажам.

До утра простояли на маленьком выступе земли у самой Волги работники штаба 62-й армии. Прикрывая лицо от раскаленного воздуха, сбивая с одежды искры, они оглядывались на командующего армией. Он был одет в красноармейскую шинель внакидку, из-под фуражки выбивались на лоб волосы. Нахмуренный, угрюмый, он казался спокойным и задумчивым.

Гуров сказал, оглядывая стоящих:

— И в огне мы, оказывается, не горим... — и пощупал горячие пуговицы шинели.

— Эй, боец с лопатой, — крикнул начальник инженерной службы генерал Ткаченко, — прокопайте скоренько тут канавку, а то еще потечет огонь с той горки!

Он сказал Крылову:

— Все смешалось, товарищ генерал, огонь течет, как вода, а Волга огнем жжет. Счастье, что сильного ветра нет, а то попалило бы нас всех.

Когда ветерок набегал с Волги, тяжеловесный шатер пожара колыхался, клонился, и люди шарахались от обжигающего пламени.

Некоторые, подходя к берегу, смачивали водой сапоги, и она испарялась с горячих голенищ. Одни молчали, упершись взглядом в землю, другие все озирались, третьи, превозмогая напряжение, шутили: «Здесь и спичек не надо, можно прикурить и от Волги, и от ветерка», четвертые ощупывали себя, покачивали головой, ощущая жар металлических пряжек на ремнях.

Послышалось несколько выбухов, это рвались в блиндажах батальона охраны штаба ручные гранаты. Потом затрещали патроны в пулеметных лентах. Просвистела сквозь огонь немецкая мина и взорвалась далеко в Волге. Мелькали сквозь дым далекие фигуры людей на берегу, видимо, кто-то пытался отвести огонь от командного пункта, а через миг вновь все исчезало в дыму и огне.

Крылов, вглядываясь в льющийся вокруг огонь, уж не вспоминал, не сравнивал... Не вздумали ли немцы приноровить к пожару наступление? Немцы не знают, в каком положении находится командование армии, вчерашний пленный не верил, что штаб армии находится на правом берегу... Очевидно, частная операция — значит, есть шансы дожить до утра. Только бы не поднялся ветер.

Он оглянулся на стоящего рядом Чуйкова, тот всматривался в гудевший пожар; лицо его, испачканное копотью, казалось раскаленным, медным. Он снял фуражку, провел рукой по волосам и стал похож на потного деревенского кузнеца; искры прыгали над его курчавой головой. Вот он поглядел вверх на шумный огненный купол, оглянулся на Волгу, где среди змеящихся огней проступали прорывы тьмы. Крылову подумалось, что командарм напряженно решает те же вопросы, что тревожили его: начнут ли немцы ночью большое наступление?.. Где разместить штаб, если придется дожить до утра?..

Чуйков, почувствовав взгляд начальника штаба, улыбнулся ему и сказал, обведя рукой широкий круг повыше головы:

— Красиво здорово, черт, а?

Пламя пожара хорошо было видно из Красного Сада, в Заволжье, где располагался штаб Сталинградского фронта. Начальник штаба генерал-лейтенант Захаров, получив первое сообщение о пожаре, доложил об этом Еременко, и командующий попросил Захарова лично пойти на узел связи и переговорить с Чуйковым. Захаров, шумно дыша, торопливо шел по тропинке. Адъютант, светя фонариком, время от времени произносил: «Осторожно, товарищ генерал», — и отводил рукой нависавшие над тропинкой ветви яблонь. Далекое зарево освещало стволы деревьев, ложилось розовыми пятнами на землю. Этот неясный свет наполнял душу тревогой. Тишина, стоявшая вокруг, нарушаемая лишь негромкими окриками часовых, придавала какую-то особо томящую силу немому бледному огню.

На узле связи дежурная, глядя на тяжело дышавшего Захарова, сказала, что с Чуйковым нет связи — ни телефонной, ни телеграфной, ни беспроволочной...

— С дивизиями? — отрывисто спросил Захаров.

— Только что, товарищ генерал-лейтенант, была связь с Батюком.

— Давайте, живо!

Дежурная, боясь глядеть на Захарова и уже уверенная, что тяжелый и раздражительный характер генерала сейчас разыграется, вдруг радостно сказала:

— Есть, пожалуйста, товарищ генерал, — и протянула трубку Захарову.

С Захаровым говорил начальник штаба дивизии. Он, как и девушка-связистка, робел, услыша тяжелое дыхание и властный голос начальника штаба фронта.

— Что там у вас происходит, докладывайте. Есть связь с Чуйковым?

Начальник штаба дивизии доложил о пожаре на нефтебаках, о том, что огненный вал обрушился на командный пункт штаба армии, что у дивизии нет связи с командиром, что, видимо, не все там погибли, так как через огонь и дым видны люди, стоящие на берегу, но ни с суши, ни с Волги на лодке к ним подобраться нельзя — Волга горит. Батюк ушел берегом с ротой охраны штаба на пожар, чтобы попытаться отвести огненный поток и помочь выбраться из огня людям, стоявшим на берегу.

Захаров, выслушав начальника штаба, проговорил:

— Передайте Чуйкову, если он жив, передайте Чуйкову...— и замолчал.

Девушка-связистка, удивленная длинной паузой и ожидая раската хриплого генеральского голоса, опасливо поглядела на Захарова — он стоял, приложив платок к глазам.

В эту ночь сорок штабных командиров погибли среди огня в обрушившихся блиндажах.

10

Крымов попал в Сталинград вскоре после пожара нефтехранилищ. Чуйков разместил новый командный пункт армии под волжским откосом, в расположении стрелкового полка, входившего в состав дивизии Батюка. Чуйков посетил блиндаж командира полка капитана Михайлова и, осмотрев многонакатную просторную землянку, удовлетворенно кивнул. Глядя на огорченное лицо рыжего, веснушчатого капитана, командарм весело сказал ему:

— Не по чину, товарищ капитан, построили себе блиндаж.

Штаб полка, прихватив свою нехитрую мебель, переместился на несколько десятков метров по течению Волги; там рыжий Михайлов, в свою очередь, решительно потеснил командира своего батальона.

Командир батальона, оставшись без квартиры, не стал трогать командиров своих рот (уж очень тесно жили), а велел выкопать себе новую землянку на самом плоскогорье.

Когда Крымов пришел на командный пункт 62-й армии, там в разгаре были саперные работы, прокладывались ходы сообщения между отделами штаба, улицы и переулочки, соединявшие жителей политотдела, оперативщиков и артиллеристов.

Два раза Крымов видел своего командира — он выходил посмотреть на стройку.

Нигде, пожалуй, в мире к строительству жилищ не относились с такой серьезностью, как в Сталинграде. Не для тепла и не в пример потомству строились сталинградские блиндажи. Вероятность встретить рассвет и час обеда грубо зависела от толщины блиндажных накатов, от глубины хода сообщения, от близости отхожего места, от того, заметен ли с воздуха блиндаж.

Когда говорили о человеке, говорили и о его блиндаже.

— Толково сегодня Батюк поработал минометами на Мамаевом кургане... И блиндажик, между прочим, у него: дверь дубовая, толстенная, как в сенате, умный человек...

А случалось, говорили о ком-нибудь так:

— Ну что ж, потеснили его ночью, потерял ключевую позицию, связи с подразделениями не имел. Командный пункт его с воздуха виден, плащ-палатка вместо двери — от мух, можно сказать. Пустой человек, от него, я слышал, жена до войны ушла.

Много разных историй было связано с блиндажами и землянками Сталинграда. И рассказ о том, как в трубу, в которой жил родимцевский штаб, вдруг хлынула вода и вся канцелярия выплыла на берег, шутники на карте отметили место впадения родимцевского штаба в Волгу. И рассказ о том, как вышибло знаменитые двери в блиндаже у Батюка. И рассказ о том, как Жолудева на тракторном заводе засыпало вместе со штабом в блиндаже.

Сталинградский береговой откос, часто и плотно начиненный блиндажами, напоминал Крымову огромный военный корабль: по одному борту его лежала Волга, по другому — плотная стена неприятельского огня.

Крымов имел поручение политуправления разобрать склоку, возникшую между командиром и комиссаром стрелкового полка в дивизии Родимцева.

Отправляясь к Родимцеву, он собирался сделать доклад штабным командирам, а затем разобрать и кляузное дело.

Посыльный из политотдела армии подвел его к каменному устью широкой трубы, в которой разместился родимцевский штаб. Часовой доложил о батальонном комиссаре из штаба фронта, и чей-то толстый голос произнес:

— Зови его сюда, а то, верно, с непривычки в штаны наложил.

Крымов зашел под низкий свод и, чувствуя на себе взгляды штабных, представился полнотелому полковому комиссару в солдатском ватнике, сидевшему на консервном ящике.

— А, очень приятно доклад послушать, дело хорошее, — сказал полковой комиссар. — А то слышали, что и Мануильский и еще кое-кто на левый берег приехали, а к нам в Сталинград не соберутся.

— У меня, кроме того, есть поручение от начальника политуправления, — сказал Крымов, — разобрать дело между командиром стрелкового полка и комиссаром.

— Было у нас такое дело, — ответил комиссар. — Вчера его разобрали: на командный пункт полка попала тонная бомба, убито восемнадцать человек, в том числе командир полка и комиссар.

Он проговорил с доверительной простотой:

— Все у них как-то наоборот было, и внешность даже: командир человек простой, крестьянский сын, а комиссар перчатки носил, кольцо на пальце. Теперь лежат оба рядом.

Как человек, умеющий управлять своим и чужим настроением, а не подчиняться настроению, он, резко изменив тон, веселым голосом сказал:

— Когда дивизия наша под Котлубанью стояла, пришлось мне везти к фронту на своей машине московского докладчика, Павла Федоровича Юдина. Член Военного совета мне сказал: «Волос потеряет, голову тебе снесу». Намаялся я с ним. Чуть самолет — сразу в кювет пикировали. Берёг. Неохота голову терять. Но и товарищ Юдин берегся, проявлял инициативу.

Люди, прислушивающиеся к их разговору, посмеивались, и Крымов вновь ощутил раздражавший его тон снисходительной насмешливости.

Обычно у Крымова складывались хорошие отношения со строевыми командирами, вполне сносные со штабными, а раздраженные и не всегда искренние со своим же братом политическими работниками. Вот и сейчас комиссар дивизии раздражал его: без году неделя на фронте, а представляется ветераном, наверное, и в партию перед войной вступил, а Энгельс его не устраивает.

Но, видимо, и Крымов чем-то раздражал комиссара дивизии.

Это ощущение не оставило Крымова, и когда адъютант устраивал ему ночлег, и когда его поили чаем.

Почти в каждой воинской части есть свой особый, отличный от других стиль отношений. В штабе родимцевской дивизии постоянно гордились своим молодым генералом.

После того как Крымов закончил беседу, ему стали задавать вопросы.

Начальник штаба Бельский, сидевший подле Родимцева, спросил:

— Когда же, товарищ докладчик, союзники второй фронт откроют?

Комиссар дивизии, полулежавший на узеньких нарах, прилепленных к каменной обшивке трубы, сел, разгреб руками сено и проговорил:

— Куда спешить. Меня больше интересует, как наше командование действовать собирается.

Крымов недовольно покосился на комиссара, сказал:

— Поскольку ваш комиссар так ставит вопрос, отвечать следует не мне, а генералу.

Все поглядели на Родимцева, и он сказал:

— Высокому человеку здесь не разогнуться. Одно слово — труба.

Оборона — что ж, в ней нет высшей заслуги. А наступать из этой трубы нельзя. Рады бы, да в трубе резервов не накопишь.

В это время зазвонил телефон. Родимцев взял трубку.

Все люди поглядели на него.

Положив трубку, Родимцев нагнулся к Бельскому и негромко произнес несколько слов. Тот потянулся к телефону, но Родимцев положил руку на телефонный аппарат и сказал:

— К чему, разве вам не слышно?

Многое было слышно под каменными сводами штольни, освещенной мерцающим дымным светом ламп, сделанных из снарядных гильз. Частые пулеметные очереди грохотали над головой сидевших, как тележки на мосту. Время от времени ударяли разрывы ручных гранат. Звуки в трубе резонировали очень гулко.

Родимцев подзывал к себе то одного, то другого сотрудника штаба, вновь поднес к уху нетерпеливую телефонную трубку.

На мгновение он поймал взгляд сидевшего неподалеку Крымова и, мило, по-домашнему улыбнувшись, сказал ему:

— Разгулялася волжская погода, товарищ докладчик.

А телефон уже звонил непрерывно. Прислушиваясь к разговору Родимцева, Крымов примерно понимал, что происходило. Заместитель командира дивизии, молодой полковник Борисов, подошел к генералу и, склонившись над ящиком, на котором был разложен план Сталинграда, картинно, резко провел жирную синюю черту по перпендикуляру, рассекающую до самой Волги красный пунктир советской обороны. Борисов выразительно посмотрел на Родимцева темными глазами. Родимцев вдруг встал, увидя идущего к нему из полумрака человека в плащ-палатке.

По походке и выражению лица подошедшего сразу же делалось понятным, откуда он явился. Он был окутан невидимым раскаленным облаком, казалось, что при быстрых движениях не плащ-палатка шуршит, а потрескивает электричество, которым насыщен этот человек.

— Товарищ генерал, — жалуясь, закричал он, — потеснил меня, собака, в овраг залез, прет к Волге. Надо усилить меня.

— Задержите противника сами любой ценой. Резервов у меня нет, — сказал Родимцев.

— Задержать любой ценой, — ответил человек в плащ-палатке, и всем стало понятно, когда он, повернувшись, пошел к выходу, что он знает цену, которую заплатит.

— Тут рядом? — спросил Крымов и показал на карте извилистую жилу берега.

Но Родимцев не успел ему ответить. В устье трубы послышались пистолетные выстрелы, мелькнули красные зарницы ручных гранат.

Послышался пронзительный командирский свисток. К Родимцеву кинулся начальник штаба, закричал:

— Товарищ генерал, противник прорвался на ваш командный пункт!..

И вдруг исчез командир дивизии, чуть-чуть игравший своим спокойным голосом, отмечавший цветным карандашиком по карте изменение обстановки. Исчезло ощущение, что война в каменных развалинах и поросших бурьяном оврагах связана с хромированной сталью, катодными лампами, радиоаппаратурой. Человек с тонкими губами озорно крикнул:

— А ну, штаб дивизии! Проверьте личное оружие, взять гранаты — и за мной, отразим противника!

И в его голосе и глазах, быстро, властно скользнувших по Крымову, много было ледяного и жгучего боевого спирта. На миг показалось — не в опыте, не в знании карты, а в жестокой и безудержной, озорной душе главная сила этого человека!

Через несколько минут офицеры штаба, писари, связные, телефонисты, неловко и торопливо толкаясь, вываливались из штабной трубы, и впереди, освещенный боевым, мерцающим огнем, легким шагом бежал Родимцев, стремясь к оврагу, откуда раздавались взрывы, выстрелы, крики и брань.

Когда, задохнувшись от бега, Крымов одним из первых добрался до края оврага и поглядел вниз, его содрогнувшееся сердце почувствовало соединенное чувство гадливости, страха, ненависти. На дне расселины мелькали неясные тени, вспыхивали и гасли искры выстрелов, загорался то зеленый, то красный глазок, а в воздухе стоял непрерывный железный свист. Казалось, Крымов заглянул в огромную змеиную нору, где сотни потревоженных ядовитых существ, шипя, сверкая глазами, быстро расползались, шурша среди сухого бурьяна.

И с чувством ярости, отвращения, страха он стал стрелять из винтовки по мелькавшим во тьме вспышкам, по быстрым теням, ползавшим по склонам оврага.

В нескольких десятках метров от него немцы появились на гребне оврага. Частый грохот ручных гранат тряс воздух и землю, — штурмовая немецкая группа стремилась прорваться к устью трубы.

Тени людей, вспышки выстрелов мелькали во мгле, крики, стоны то вспыхивали, то гасли. Казалось, кипит большой черный котел, и Крымов весь, всем телом, всей душой погрузился в это булькающее, пузырящееся кипение и уж не мог мыслить, чувствовать, как мыслил и чувствовал прежде. То, казалось, он правит движением захватившего его водоворота, то ощущение гибели охватывало его, и казалось, густая смоляная тьма льется ему в глаза, в ноздри, и уж нет воздуха для дыхания, и нет звездного неба над головой, есть лишь мрак, овраг и странные существа, шуршащие в бурьяне.

Казалось, нет возможности разобраться в том, что происходит, и в то же время силилось очевидное, по-дневному ясное чувство связи с людьми, ползущими по откосу, чувство своей силы, соединенной с силой стреляющих рядом с ним, чувство радости, что где-то рядом находится Родимцев.

Это удивительное чувство, возникшее в ночном бою, где в трех шагах не различишь, кто это рядом — товарищ или готовый убить тебя враг, связывалось со вторым, не менее удивительным и необъяснимым ощущением общего хода боя, тем ощущением, которое давало солдатам возможность судить об истинном соотношении сил в бою, предугадывать ход боя.

11

Ощущение общего исхода боя, рожденное в человеке, отъединенном от других дымом, огнем, оглушенном, часто оказывается более справедливым, чем суждение об исходе боя, вынесенное за штабной картой.

В миг боевого перелома иногда происходит изумительное изменение, когда наступающий и, кажется, достигший своей цели солдат растерянно оглядывается и перестает видеть тех, с кем дружно вместе начинал движение к цели, а противник, который все время был для него единичным, слабым, глупым, становится множественным и потому непреодолимым. В этот ясный для тех, кто переживает его, миг боевого перелома, таинственный и необъяснимый для тех, кто извне пытается предугадать и понять его, происходит душевное изменение в восприятии: лихое, умное «мы» обращается в робкое, хрупкое «я», а неудачливый противник, который воспринимался как единичный предмет охоты, превращается в ужасное и грозное, слитное «они».

Раньше все события боя воспринимались наступающим и успешно преодолевающим сопротивление по отдельности: разрыв снаряда... пулеметная очередь... вот он, этот, за укрытием стреляет, сейчас он побежит, он не может не побежать, так как он один, по отдельности от той своей отдельной пушки, от того своего отдельного пулемета, от того, соседнего ему, стрелявшего тоже по отдельности солдата, а я — это мы, я — это вся громадная, идущая в атаку пехота, я — это поддерживающая меня артиллерия, я — это поддерживающие меня танки; я — это ракета, освещающая наше общее боевое дело. И вдруг я остаюсь один, а все, что было раздельно и потому слабо, сливается в ужасное единство вражеского ружейного, пулеметного, артиллерийского огня, и нет уже силы, которая помогла бы мне преодолеть это единство. Спасение — в моем бегстве, в том, чтобы спрятать мою голову, укрыть плечо, лоб, челюсть.

А во тьме ночи подвергшиеся внезапному удару и поначалу чувствовавшие себя слабыми и отдельными начинают расчленять единство обрушившегося на них неприятеля и ощущать собственное единство, в котором и есть сила победы.

В понимании этого перехода часто и лежит то, что дает право военному делу называться искусством.

В этом ощущении единичности и множественности, в переходе сознания от понятия единичности к понятию множественности не только связь событий при ночных штурмах рот и батальонов, но и знак военных усилий армий и народов.

Есть одно ощущение, которое почти целиком теряется участниками боя,—это ощущение времени. Девочка, протанцевавшая на новогоднем балу до утра, не сможет ответить, каково было ее ощущение времени на балу — долгим ли или, наоборот, коротким.

И шлиссельбуржец, отбывший двадцать пять лет заключения, скажет: «Мне кажется, что я провел в крепости вечность, но одновременно мне кажется, что я провел в крепости короткие недели».

У девочки ночь была полна мимолетных событий—взглядов, отрывков музыки, улыбок, прикосновений,—каждое это событие казалось столь стремительным, что не оставляло в сознании ощущения протяженности во времени. Но сумма этих коротких событий породила ощущение большого времени, вместившего всю радость человеческой жизни.

У шлиссельбуржца происходило обратное—его тюремные двадцать пять лет складывались из томительно длинных отдельных промежутков времени, от утренней поверки до вечерней, от завтрака до обеда. Но сумма этих бедных событий, оказалось, породила новое ощущение, в сумрачном однообразии смены месяцев и годов время сжалось, сморщилось... Так возникло одновременное ощущение краткости и бесконечности, так возникло сходство этого ощущения в людях новогодней ночи и в людях тюремных десятилетий. В обоих случаях сумма событий порождает одновременное чувство длительности и краткости.

Более сложен процесс деформации ощущения длительности и краткости времени, переживаемый человеком в бою. Здесь дело идет дальше, здесь искажаются, искривляются отдельные, первичные ощущения. В бою секунды растягиваются, а часы сплющиваются. Ощущение длительности связывается с молниеносными событиями—свистом снарядов и авиабомб, вспышками выстрелов и вспышками взрывов.

Ощущение краткости соотносится к событиям протяженным — к движению по вспаханному полю под огнем, к переползанию от укрытия к укрытию. А рукопашный бой происходит вне времени. Здесь неопределенность проявляется и в слагающих, и в результате здесь деформируются и сумма и каждое слагаемое.

А слагаемых здесь бесконечное множество.

Ощущение продолжительности боя в целом столь глубоко деформировано, что оно является полной неопределенностью—не связывается ни с длительностью, ни с краткостью.

В хаосе, в котором смешались слепящий свет и слепящая тьма, крики, грохот разрывов, скоропечать автоматов, в хаосе, разодравшем в клочья ощущение времени, с поразительной ясностью Крымов понял: немцы смяты, немцы побиты. Он понял это так же, как и те писари и связные, что стреляли рядом с ним,— внутренним чувством.

12

Ночь прошла. Среди опаленного бурьяна валялись тела убитых. Безрадостно и угрюмо дышала у берегов тяжелая вода. Тоска охватывала сердца при взгляде на разрытую землю, на пустые коробки выгоревших домов.

Начинался новый день, и война готовилась щедро—по самый край—наполнить его дымом, щебенкой, железом, грязными, окровавленными бинтами. А позади были такие же дни. И ничего уже не было в мире, кроме этой вспаханной железом земли, кроме неба в огне.

Крымов сидел на ящике, прислонившись головой к каменной обшивке трубы, и дремал.

Он слушал неясные голоса сотрудников штаба, слышал позвякивание чашек—комиссар дивизии и начальник штаба пили чай, переговаривались сонными голосами. Говорили, что захваченный пленный оказался сапером; батальон его был на самолетах переброшен несколько дней назад из Магдебурга. В мозгу Крымова мелькнула картинка из детского учебника—два задастых битюга, подгоняемых погонщиками в остроконечных колпаках, пытаются отодрать присосавшиеся друг к другу полушария. И чувство скуки, которое вызывала в нем в детстве эта картинка, вновь коснулось его.

— Это хорошо,—сказал Бельский,—значит, резервы подобрались.

— Да, уж, конечно, хорошо,—согласился Вавилов,—штаб дивизии в контратаку ходит.

И тут Крымов услышал негромкий голос Родимцева:

— Цветочки, цветочки, ягодки на заводах будут.

Казалось, все силы души Крымов истратил в этом ночном бою. Для того чтобы увидеть Родимцева, надо было повернуть голову, но Крымов не повернул головы. «Так пусто, вероятно, себя чувствует колодец, из которого вычерпали всю воду»,—подумал он. Он снова задремал, и негромкие голоса, звуки стрельбы и разрывов слились в однотонное гудение.

Но вот новое ощущение вошло в мозг Крымова, и ему померещилось, что он лежит в комнате с закрытыми ставнями и следит за пятном утреннего света на обоях. Пятно доползло до ребра стенного зеркала и раскрылось радугой. Сердце мальчика задрожало, человек с седыми висками, с висящим у пояса тяжелым пистолетом открыл глаза и оглянулся.

Посреди трубы в старенькой гимнастерке, в пилоточке с зеленой фронтовой звездочкой стоял, склонив голову, музыкант и играл на скрипке.

Вавилов, увидев, что Крымов проснулся, наклонился к нему и сказал:

— Это наш парикмахер, Рубинчик, ба-альшой специалист!

Иногда кто-нибудь бесцеремонно перебивал игру шутливым грубым словом, иногда кто-нибудь, заглушая музыканта, спрашивал: «Разрешите обратиться?»—рапортовал начальнику штаба, постукивала ложечка в жестяной кружке, кто-то протяжно зевнул: «Охо-хо-хо-хо...»—и стал взбивать сено.

Парикмахер внимательно следил, не мешает ли его игра командирам, готовый в любую минуту прервать ее.

Но почему Ян Кубелик, вспомнившийся Крымову в эти минуты, седой, в черном фраке, отступил, склонившись перед штабным парикмахером? Почему тонкий, дребезжащий голос скрипки, поющий незамысловатую, как мелкий ручеек, песенку, казалось, выражал в эти минуты сильней, чем Бах и Моцарт, всю просторную глубину человеческой души?

Снова в тысячный раз Крымов ощутил боль одиночества. Женя ушла от него...

Снова с горечью он подумал, что уход Жени выразил всю механику его жизни: он остался, но его не стало. И она ушла.

Снова он подумал, что надо сказать самому себе много страшного, беспощадно жестокого... полно робеть, прикрываться перчаткою...

Музыка, казалось, вызвала в нем понимание времени.

Время—прозрачная среда, в которой возникают, движутся, бесследно исчезают люди... Во времени возникают и исчезают массивы городов. Время приносит их и уносит.

Но в нем возникло совсем особое, другое понимание времени. То понимание, которое говорит: «Мое время... не наше время».

Время втекает в человека и в царство-государство, гнездится в них, и вот время уходит, исчезает, а человек, царство остаются... царство осталось, а его время ушло... человек есть, а время его исчезло. Где оно? Вот человек, он дышит, он мыслит, он плачет, а то единственное, особое, только с ним связанное время ушло, уплыло, утекло. И он остается.

Самое трудное—быть пасынком времени. Нет тяжелее участи пасынка, живущего не в свое время. Пасынков времени распознают сразу—в отделах кадров, в райкомах партии, в армейских политотделах, в редакциях, на улице... Время любит лишь тех, кого оно породило,—своих детей, своих героев, своих тружеников. Никогда, никогда не полюбит оно детей ушедшего времени, и женщины не любят героев ушедшего времени, и мачехи не любят чужих детей.

Вот таково время — все уходит, а оно остается. Все остается, одно время уходит. Как легко, бесшумно уходит время. Вчера еще ты был так

уверен, весел, силен, сын времени. А сегодня пришло другое время, но ты еще не понял этого.

Время, растерзанное в бою, возникло из фанерной скрипки парикмахера Рубинчика. Скрипка сообщала одним, что время их пришло, другим, что время их уходит.

«Ушло, ушло»,— подумал Крымов.

Он смотрел на спокойное, добродушное, большое лицо комиссара Вавилова. Вавилов прихлебывал из кружки чай, старательно, медленно жевал хлеб с колбасой, его непроницаемые глаза были повернуты к светлевшему в устье трубы пятну света.

Родимцев, зябко поднявши прикрытые шинелью плечи, со спокойным и ясным лицом, внимательно, в упор смотрел на музыканта. Рябоватый седой полковник, начальник артиллерии дивизии, наморщив лоб, отчего лицо его казалось недобрым, смотрел на лежащую перед ним карту, и лишь по грустным милым глазам его было видно, что карты он не видит, слушает. Бельский быстро писал донесение в штаб армии; он, казалось, был занят только делом, но писал он, склонив голову и повернув ухо в сторону скрипача. А поодаль сидели красноармейцы — связные, телефонисты, писари, и на их изнеможенных лицах, в их глазах было выражение серьезности, какое возникает на лице крестьянина, жующего хлеб.

Вдруг вспомнилась Крымову летняя ночь — большие темные глаза молодой казачки, ее жаркий шепот... Хороша все же жизнь!

Когда скрипач перестал играть, стало слышно тихое журчание — под деревянным настилом бежала вода, и Крымову показалось, что душа его — вот тот самый невидимый колодец, который стал пуст, сух, а теперь потихоньку вбирает в себя воду.

Полчаса спустя скрипач брил Крымова и со смешащей обычно посетителей парикмахерских преувеличенной серьезностью спрашивал, не беспокоит ли Крымова бритва, щупал ладонью — хорошо ли выбриты крымовские скулы. В угрюмом царстве земли и железа пронзительно странно, нелепо и грустно запахло одеколоном и пудрой.

Родимцев, прищурившись, оглядел попрысканного одеколоном и напудренного Крымова, удовлетворенно кивнул и сказал:

— Что ж, гостя побрил на совесть. Теперь меня давай обработай.

Темные большие глаза скрипача наполнились счастьем. Разглядывая голову Родимцева, он встряхнул беленькую салфеточку и произнес:

— Может быть, височки все-таки подправим, товарищ гвардии генерал-майор?

13

После пожара нефтехранилищ генерал-полковник Еременко собрался к Чуйкову в Сталинград.

Эта опасная поездка не имела никакого практического смысла.

Однако душевная, человеческая необходимость в ней была велика, и Еременко потерял три дня, ожидая переправы.

Спокойно выглядели светлые стены блиндажа в Красном Саду, приятна была тень яблонь во время утренних прогулок командующего.

Далекий грохот и огонь Сталинграда сливались с шумом листвы и с жалобой камыша, и в этом соединении было что-то непередаваемо тяжелое, командующий во время утренних прогулок кряхтел и матерился.

Утром Еременко сообщил Захарову о своем решении отправиться в Сталинград и велел ему принять на себя командование.

Он пошутил с официанткой, расстилавшей скатерть для завтрака, разрешил заместителю начальника штаба слетать на два дня в Саратов, он внял просьбе генерала Труфанова, командовавшего одной из степных армий, и обещал ему побомбить мощный артиллерийский узел румын. «Ладно, ладно, дам тебе дальнобойных самолетов»,— сказал он.

Адъютанты гадали, чем вызвано хорошее настроение командующего. Добрые вести от Чуйкова? Благоприятный разговор по телефону ВЧ? Письмо из дому?

Но все такие и подобные известия обычно не проходили мимо адъютантов — Москва не вызывала командующего, а вести от Чуйкова не были веселыми.

После завтрака генерал-полковник надел ватник и отправился на прогулку. Шагах в десяти от него шел адъютант Пархоменко. Командующий шел по-обычному неторопливо, несколько раз он почесывал ляжку и поглядывал в сторону Волги.

Еременко подошел к бойцам трудового батальона, рывшим котлован. Это были пожилые люди с темно-коричневыми от загара затылками. Лица их были угрюмы и невеселы. Работали они молча и сердито поглядывали на полнотелого человека в зеленой фуражке, в бездействии стоявшего на краю котлована.

Еременко спросил:

— Скажите-ка, ребята, кто из вас хуже всех работает?

Бойцам трудового батальона вопрос показался подходящим, им надоело махать лопатами. Бойцы все вместе покосились на мужика, вывернувшего карман и ссыпавшего на ладонь махорочную труху и хлебные крошки.

— Да, пожалуй, он,— сказали двое и оглянулись на остальных.

— Так,— серьезно произнес Еременко,— значит, этот. Вот самый лядачий.

Боец с достоинством вздохнул, глянул снизу на Еременко серьезными кроткими глазами и, видимо, решив, что вопрошавший интересуется всем этим не для дела, а просто так, для истории либо для пополнения образования, не стал вмешиваться в разговор.

Еременко спросил:

— А кто же из вас лучше всех работает?

И все показали на седого человека; поредевшие волосы не предохраняли его голову от загара, как не предохраняет землю от солнечных лучей чахлая трава.

— Трошников, вот он,— сказал один,— старается очень.

— Привык работать, ничего с собой поделать не может,— подтвердили остальные, как бы извиняясь за Трошникова.

Еременко полез в карман брюк, извлек сверкнувшие на солнце золотые часы и, с трудом нагнувшись, протянул их Трошникову.

Тот, не поняв, глядел на Еременко.

— Бери, это тебе награда,— сказал Еременко.

Продолжая глядеть на Трошникова, он сказал:

— Пархоменко, оформи награждение грамотой.

Он пошел дальше, слыша, как за спиной его загудело от возбужденных голосов, землекопы охали, смеялись невиданной удаче привычного к работе Трошникова.

Два дня ожидал командующий фронтом переправы. Связь с правым берегом в эти дни была почти порвана. Катеры, которым удавалось прорваться к Чуйкову, за считанные минуты пути получали по пятьдесят — семьдесят пробоин, подходили к берегу залитые кровью.

Еременко сердился, раздражался.

Начальство на шестьдесят второй переправе, слыша немецкую пальбу, страшилось не бомб и снарядов, а гнева командующего. Еременко казалось, что нерадивые майоры и нерасторопные капитаны виноваты в бесчинствах немецких минометов, пушек и авиации.

Ночью Еременко вышел из землянки и стоял на песчаном холмике близ воды.

Карта войны, лежавшая перед командующим фронтом в блиндаже в Красном Саду, здесь гремела, дымилась, дышала жизнью и смертью.

Казалось, он узнавал огненный пунктир прочерченного его рукой переднего края, узнавал толстые клинья паулюсовских прорывов к Волге, отмеченные его цветными карандашами узлы обороны и места скопления огневых средств. Но, глядя на карту, раскрытую на столе, он чувствовал себя в силе гнуть, двигать линию фронта, он мог заставить взреветь тяжелую артиллерию левобережья. Там чувствовал он себя хозяином, механиком.

Здесь совсем другое чувство охватило его... Зарево над Сталинградом, медленный гром в небе — все это потрясало своей огромной, не зависящей от командующего страстью и силой.

Среди грохота пальбы и разрывов со стороны заводов доносился чуть слышный протяжный звук: а-а-а-а-а...

В этом протяжном крике поднявшейся в контратаку сталинградской пехоты было нечто не только грозное, но и печальное, тоскливое.

— А-а-а-а-а,— разносилось над Волгой... Боевое «ура», пройдя над холодной ночной водой под звездами холодного осеннего неба, словно теряло горячность страсти, менялось, и в нем вдруг открывалось совсем другое существо — не задор, не лихость, а печаль души, словно прощающейся со всем дорогим, словно зовущей близких своих проснуться, поднять голову от подушки, послушать в последний раз голос отца, мужа, сына, брата...

Солдатская тоска сжала сердце генерал-полковника.

Война, которую командующий привык толкать, вдруг втянула его в себя, он стоял тут, на сыпучем песке, одинокий солдат, потрясенный огромностью огня и грома, стоял, как стояли тут, на берегу, тысячи и десятки тысяч солдат, чувствовал, что народная война больше, чем его умение, его власть и воля. Может быть, в этом ощущении и было то самое высшее, до чего суждено было подняться генералу Еременко в понимании войны.

Под утро Еременко переправился на правый берег. Предупрежденный по телефону Чуйков подошел к воде, следил за стремительным ходом бронекатера.

Еременко медленно сошел, прогибая своей тяжестью выброшенный на берег трап, неловко ступая по каменистому берегу, подошел к Чуйкову.

— Здравствуй, товарищ Чуйков,— сказал Еременко.

— Здравствуйте, товарищ генерал-полковник,— ответил Чуйков.

— Приехал посмотреть, как вы тут живете. Вроде ты не обгорел при нефтяном пожаре. Такой же лохматый. И не похудел даже. Кормим тебя все же неплохо.

— Где ж худеть, сижу день и ночь в блиндаже,— ответил Чуйков, и, так как ему показались обидными слова командующего, что кормят его неплохо, он сказал:— Что же это я гостя принимаю на берегу!

И, действительно, Еременко рассердился, что Чуйков назвал его сталинградским гостем. И когда Чуйков сказал: «Пожалуйте ко мне в хату», Еременко ответил: «Мне и тут хорошо, на свежем воздухе».

В это время заговорила из Заволжья громкоговорительная установка. Берег был освещен пожарами и ракетами, вспышками взрывов и казался пустынным. Свет то меркнул, то разгорался, секундами он вспыхивал с ослепительной белой силой. Еременко всматривался в береговой откос, изрытый ходами сообщения, блиндажами, в громоздившиеся вдоль воды груды камня, они выступали из тьмы и легко и быстро вновь уходили во тьму.

Огромный голос медленно, веско пел:

> Пусть ярость благородная вскипает, как волна,
> Идет война народная, священная война...

И так как людей на берегу и на откосе не было видно, и так как все кругом — и земля, и Волга, и небо — было освещено пламенем, казалось, что эту медленную песню поет сама война, поет без людей, помимо них катит пудовые слова.

Еременко чувствовал неловкость за свой интерес к открывшейся ему картине: в самом деле, он словно в гости приехал к сталинградскому хозяину. Он сердился, что Чуйков, видимо, понял душевную тревогу, заставившую его переправиться через Волгу, знал, как томился командующий фронтом, гуляя под шелест сухого камыша в Красном Саду.

Еременко стал спрашивать хозяина всей этой огненной беды о маневрировании резервами, о взаимодействии пехоты и артиллерии и о сосредоточении немцев в районе заводов. Он задавал вопросы, и Чуйков отвечал, как и полагается отвечать на вопросы старшего начальника.

Они помолчали. Чуйкову хотелось спросить: «Величайшая в истории оборона, но как же с наступлением все-таки?»

Но он не решился спрашивать, Еременко подумает, что не хватает у защитников Сталинграда терпения, просят снять тяжесть с плеч.

Вдруг Еременко спросил:

— Твой отец с матерью, кажется, в Тульской области, в деревне живут?

— В Тульской, товарищ командующий.

— Пишет старик тебе?

— Пишет, товарищ командующий. Работает еще.

Они поглядели друг на друга, стекла очков Еременко розовели от огня пожара.

Казалось, вот-вот начнется единственно нужный им обоим разговор о простой сути Сталинграда. Но Еременко сказал:

— Ты, верно, интересуешься вопросом, который всегда командующему фронтом задают,— насчет пополнений живой силой и боеприпасами?

Разговор, единственно имевший смысл в этот час, так и не состоялся.

Стоявший на гребне откоса часовой поглядывал вниз, и Чуйков, следя за свистом снаряда, поднял глаза и проговорил:

— Красноармеец, вероятно, думает: что за два чудака стоят там у воды?

Еременко посопел, ковырнул в носу.

Подошел момент, когда надо было прощаться. По неписаной морали начальник, стоящий под огнем, обычно уходит, лишь когда подчиненные начинают просить его об этом. Но безразличие Еременко к опасности было так полно и естественно, что эти правила не касались его.

Он рассеянно и одновременно зорко повернул голову следом за свистящим звуком пролетевшей мины.

— Ну что ж, Чуйков, пора мне ехать.

Чуйков стоял несколько мгновений на берегу, следя за уходящим катером,— пенный след за кормой напоминал ему белый платок, словно женщина, прощаясь, махала им.

Еременко, стоя на палубе, глядел на заволжский берег,— он волнообразно колебался в неясном свете, идущем от Сталинграда, а река, по которой прыгал катер, застыла, как каменная плита.

Еременко с досадой прошел от борта к борту. Десятки привычных мыслей возникли в его голове. Новые задачи стояли перед фронтом. Главным теперь было накапливание бронетанковых сил, порученная ему Ставкой подготовка удара на левом фланге. Ни слова он не сказал об этом Чуйкову.

А Чуйков вернулся в свой блиндаж, и автоматчик, стоявший у входа, и порученец в сенцах, и явившийся по вызову начальник штаба гурьевской дивизии — все, кто вскочил, заслышав тяжелую походку Чуйкова, увидели, что командарм расстроен. Да и было отчего.

Ведь тают, тают дивизии, ведь в смешении атак и контратак немецкие клинья неуклонно срезают драгоценные метры сталинградской земли. Ведь две свежие пехотные дивизии полного состава прибыли из германского тыла и сосредоточены в районе Тракторного завода, зловеще бездействуют.

Нет, не высказал Чуйков перед командующим фронтом всех своих опасений, тревог, мрачных мыслей.

Но ни тот, ни другой не знали, в чем была причина их неудовлетворенности этой встречей. Главным в их встрече было надделовое, то, что оба они не сумели вслух высказать.

14

Октябрьским утром майор Березкин проснулся, подумал о жене и дочери, о крупнокалиберных пулеметах, прислушался к ставшему за месяц его сталинградской жизни привычным грохоту, позвал автоматчика Глушкова и велел принести себе помыться.

— Холодная, как вы приказывали,— сказал Глушков, улыбаясь и переживая удовольствие, которое испытывал Березкин от утреннего умывания.

— А на Урале, где жена и дочка, уже снежок, наверное, выпал,— сказал Березкин.— не пишут они мне, вот, понимаешь...

— Напишут, товарищ майор,— сказал Глушков.

Пока Березкин вытирался, надевал гимнастерку, Глушков рассказывал ему о событиях, произошедших в утренние часы.

— По пищеблоку ударил «ванюшей», кладовщика убило, во втором батальоне помначштаба вышел оправиться, его в плечо осколком подранило; в саперном батальоне бойцы судака, глушенного бомбой, выловили, кило на пять, я ходил смотреть, комбату, товарищу капитану Мовшовичу, в подарок снесли. Заходил товарищ комиссар, велел, когда проснетесь, позвонить.

— Понятно,—сказал Березкин. Он выпил чашку чаю, поел студня из телячьих ножек, позвонил комиссару и начальнику штаба, сказал, что отправляется в батальоны, надел ватник и пошел к двери.

Глушков встряхнул полотенце, повесил его на гвоздик, пощупал гранату на боку, похлопал себя по карману—на месте ли кисет—и, взяв в углу автомат, пошел за командиром полка.

Березкин вышел из полутемного блиндажа и зажмурился от белого света. Ставшая за месяц знакомой картина лежала перед ним—глинистая осыпь, бурый откос весь в пятнах засаленных плащ-палаток, прикрывавших солдатские землянки, дымящие трубы самодельных печей. Наверху темнели заводские корпуса со снесенными крышами.

Левее, ближе к Волге, возвышались заводские трубы «Красного Октября», громоздились товарные вагоны, как ошалевшее стадо, сбившееся вокруг тела убитого вожака, лежавшего на боку паровоза. А еще дальше виднелось широкое кружево мертвых городских развалин, и осеннее небо просвечивало сквозь бреши окон тысячами голубых пятен.

Меж заводских цехов поднимался дым, мелькало пламя, и ясный воздух был полон то тягучим шелестом, то сухим, дробным тарахтением. Казалось, что заводы работают полным ходом.

Березкин внимательно оглядел свои триста метров земли, оборону полка,— она проходила среди домиков рабочего поселка. Внутреннее чувство помогало в путанице развалин, улочек ощутить, в каком доме варят кашу красноармейцы, в каком едят шпик и пьют шнапс немецкие автоматчики.

Березкин пригнул голову и ругнулся, прошелестела в воздухе мина.

На противоположном склоне оврага дым закрыл вход в один из блиндажей, и тотчас же звонко треснул разрыв. Из блиндажа выглянул начальник связи соседней дивизии — он был без кителя, в подтяжках. Едва он сделал шаг, как снова засвистело, и начальник связи поспешно отступил и прихлопнул дверь,—мина разорвалась метрах в десяти. В дверях блиндажа, расположенного на углу оврага и волжского откоса, стоял Батюк и наблюдал происходившее.

Когда начальник связи пытался шагнуть вперед, Батюк, гакая, кричал: «Огонь!»—и немец, как по заказу, пускал мину.

Батюк заметил Березкина и крикнул ему:

— Здорово, сосед!

Эта проходка по пустынной тропинке по существу своему была ужасным, смертным делом,—немцы, выспавшись и покушав фрюштюк, наблюдали за тропинкой с особым интересом, садили, не жалея припасов, по всякому. На одном из поворотов Березкин постоял у груды скрапа и, примерив глазом лукаво задумавшееся пространство, проговорил:

— Давай, Глушков, беги первый.

— Что вы, разве можно, тут снайпер у них,—сказал Глушков.

Перебегать первым опасное место считалось привилегией начальников—немцы обычно не успевали открыть огонь по первому бегущему.

Березкин оглянулся на немецкие дома, подмигнул Глушкову и побежал.

Когда он подбежал к насыпи, закрывавшей обзор из немецких домов, за спиной его четко чокнуло, щелкнуло—немец стрельнул разрывной пулей.

Березкин, стоя под насыпью, стал закуривать. Глушков побежал длинным, быстрым шагом. Очередь резанула ему под ноги, казалось, с земли взлетела стайка воробьев. Глушков метнулся в сторону, споткнулся, упал, вновь вскочил и подбежал к Березкину.

— Чуть не срезал,—сказал он и, отдышавшись, объяснил:—Я думал подгадать, он вас пропустил и с досады сигарету закуривать станет, а он, холера, видно, некурящий.

Глушков пощупал обкромсанную полу ватника и обматерил немца.

Когда они подошли к командному пункту батальона, Березкин спросил:

— Подранило, товарищ Глушков?

— Он мне каблук отгрыз, совсем раздел, подлец,—сказал Глушков.

Командный пункт батальона находился в подвале заводского магазина «Гастроном», и в сыром воздухе стоял запах квашеной капусты и яблок.

На столе горели два высоких светильника из снарядных гильз. Над дверью был прибит плакат: «Продавец и покупатель, будьте взаимно вежливы».

В подвале размещались штабы двух батальонов—стрелкового и саперного. Оба комбата, Подчуфаров и Мовшович, сидели за столом и завтракали. Открывая дверь, Березкин услышал оживленный голос Подчуфарова:

— Я разбавленный спиридон не люблю, по мне бы его вовсе не было.

Оба комбата поднялись, вытянулись. Начальник штаба спрятал под груду ручных гранат четвертинку водки, а повар заслонил своим телом судака, о котором минуту назад беседовал с ним Мовшович. Вестовой Подчуфарова, сидевший на корточках и собиравшийся поставить по указанию своего начальника на патефонный диск пластинку «Китайская серенада», вскочил так быстро, что успел лишь скинуть пластинку, а патефонный моторчик продолжал жужжать вхолостую: вестовой, глядя прямым и открытым взором, как и следовало боевому солдату, ловил уголком глаза злой взгляд Подчуфарова, когда проклятый патефон особенно трудолюбиво подвывал и курлыкал.

Оба комбата и остальные, причастные к завтраку, хорошо знали предрассудок начальников: старшие полагали—батальонные люди должны либо вести бой, либо глядеть в бинокль на противника, либо размышлять, склонившись над картой. Но ведь люди не могут двадцать четыре часа стрелять, говорить по телефону с ниже и выше стоящими,—надо и покушать.

Березкин покосился в сторону журчащего патефона и усмехнулся.

— Так,—сказал он и добавил:—Садитесь, товарищи, продолжайте.

Слова эти, возможно, имели обратный, а не прямой смысл, и на лице Подчуфарова появилось выражение грусти и раскаяния, а на лице Мовшовича, командовавшего отдельным саперным батальоном и потому непосредственно не подчиненного командиру полка, выражение одной лишь грусти, без раскаяния. Примерно так же разделились выражения лиц подчиненных им.

Березкин продолжал особо неприятным тоном:

— А где судак ваш на пять килограмм, товарищ Мовшович, о нем уж в дивизии все знают.

Мовшович с тем же выражением грусти сказал:

— Повар, покажите, пожалуйста, рыбу.

Повар, единственный находившийся при исполнении своих прямых обязанностей, прямодушно сказал:

— Товарищ капитан велел пофаршировать его по-еврейски; перец, лавровый лист есть, а вот хлеба белого нет, и хрену не будет.

— Так, понятно,—сказал Березкин,—фаршированную рыбу я в Бобруйске ел у одной Сары Ароновны, по правде говоря, не совсем понравилась.

И вдруг люди в подвале поняли, что командиру полка даже не приходило в голову сердиться.

Словно Березкин знал о том, что Подчуфаров отбивал ночных немцев, что под утро его присыпало землей и вестовой, наладчик «Китайской серенады», откапывал его и кричал: «Не сомневайтесь, товарищ капитан, выручу...»

Словно он знал, что Мовшович ползал с саперами по танкоопасной улочке и присыпал землей и битым кирпичом шахматный узор противотанковых мин...

Их молодость радовалась еще одному утру, можно еще раз поднять жестяную кружечку и сказать: «Эх, будь здоров, и тому подобное», и можно жевать капусту, дымить папироской...

Собственно, ничего не произошло — минутку хозяева подвала постояли перед старшим командиром, потом предложили ему покушать с ними, с удовольствием глядя, как командир полка ел капусту.

Березкин часто сравнивал сталинградское сражение с прошедшим годом войны, — видел он ее немало. Он понял, что выдерживает такое напряжение лишь потому, что в нем самом живут тишина и покой. И красноармейцы могли есть суп, чинить обувь, вести разговор о женах, о плохих и хороших начальниках, мастерить ложки в такие дни и часы, когда, казалось, люди способны испытывать лишь бешенство, ужас либо изнеможение. Он видел, что не имевшие в себе покойной душевной глубины долго не выдерживали, как бы отчаянны и безрассудны в бою они ни были. Робость, трусость казались Березкину временным состоянием, чем-то вроде простуды, которую можно вылечить.

Что такое храбрость и трусость, он твердо не знал. Однажды в начале войны начальство распекало Березкина за робость — он самочинно отвел полк из-под немецкого огня. А незадолго до Сталинграда Березкин приказал командиру батальона отвести людей на обратный скат высоты, чтобы их зря не обстреливали немецкие хулиганы — минометчики. Командир дивизии с упреком сказал:

— Что ж это, товарищ Березкин, а мне про вас говорили как человеке храбром, спокойном.

Березкин молчал, вздохнул, должно быть, говорившие ошиблись в нем.

Подчуфаров, ярко-рыжий, с яркими голубыми глазами, с трудом сдерживал свою привычку быстро, неожиданно смеяться и неожиданно сердиться. Мовшович, худой, с длинным веснушчатым лицом, с пятнами седых волос на темной голове, сипло отвечал на вопросы Березкина. Он вытащил блокнот и стал рисовать предложенную им новую схему минирования танкоопасных участков.

— Вырвите мне этот чертежик на память, — сказал Березкин, наклонился к столу и вполголоса произнес: — Меня вызывал командир дивизии. По данным армейской разведки, немцы уводят силы из городского района, сосредоточивают их против нас. Танков много. Понятно?

Березкин прислушался к близкому разрыву, потрясшему стены подвала, и улыбнулся.

— А у вас тут спокойно. В моем овраге за это время уже обязательно человека три побывали бы из штаба армии, разные комиссии все ходят.

В это время новый удар потряс здание, с потолка посыпались куски штукатурки.

— А ведь верно, спокойно, никто особенно не беспокоит, — сказал Подчуфаров.

— Вот в том-то и дело, что не беспокоят, — сказал Березкин. Он заговорил доверительно, вполголоса, искренно забывая, что он и есть начальство, забыв об этом от привычки быть подчиненным и непривычки быть начальством.

— Знаете, как начальство? Почему не наступаешь? Почему не занял высоту? Почему потери? Почему без потерь? Почему не доносишь? Почему спишь? Почему...

Березкин поднялся.

— Пойдемте, товарищ Подчуфаров, хочу вашу оборону посмотреть.

Пронзительная печаль была в этой улочке рабочего поселка, в обнажившихся внутренних стенах, обклеенных пестренькими обоями, во вспаханных танками садиках и огородах, в одиноких, кое-где уцелевших осенних георгинах, цветущих бог весть зачем.

Неожиданно Березкин сказал Подчуфарову:

— Вот, товарищ Подчуфаров, писем от жены нет. Нашел я ее в дороге, а теперь опять нет писем, знаю только, что на Урал с дочкой поехали.

— Напишут, товарищ майор, — сказал Подчуфаров.

В полуподвале двухэтажного дома, под заложенными кирпичом окнами лежали раненые, ожидающие ночной эвакуации. На полу стояло ведро с водой, кружка, меж окон напротив двери была прибита к стене картинка-открытка «Сватовство майора».

— Это тылы, — сказал Подчуфаров, — передний край дальше.

— Дойдем и до переднего края, — сказал Березкин.

Они прошли через переднюю в комнату с проваленным потолком, и чувство, которое испытывают люди, пришедшие из заводской конторы в двери цеха, охватило их. В воздухе стоял тревожный и перченый дух пороховых газов, под ногами скрипели пегие, выстрелянные патроны. В детской кремовой коляске были сложены противотанковые мины.

— Вот развалюшку у меня ночью немец забрал, — сказал Подчуфаров, подходя к окну. — До чего жалко, дом замечательный, окна на юго-запад. Весь мой левый край под огнем держит.

У заложенных кирпичом окон с узкими прорезями стоял станковый пулемет, пулеметчик без пилотки, с обвязанной пропыленным и задымленным бинтом головой заправлял новую ленту, а первый номер, обнажив белые зубы, сжевывал кусок колбасы, готовясь через полминуты снова стрелять.

Подошел командир роты, лейтенант. В кармашек его гимнастерки была вставлена белая астра.

— Орел, — улыбаясь, сказал Березкин.

— Вот хорошо, что вас вижу, товарищ майор, — сказал лейтенант, — как я вам ночью сказал, так и есть, опять они пошли на дом номер шесть дробь один. Ровно в девять начали, — и он посмотрел на часы.

— Здесь стоит командир полка, ему докладывайте.

— Виноват, не признал, — быстро козырнул лейтенант.

Шесть дней назад противник отрезал в районе полка несколько домов и начал по-немецки обстоятельно сжевывать их. Советская оборона гасла под развалинами, гасла вместе с жизнью оборонявшихся красноармейцев. Но в одном заводском доме с глубокими подвалами советская оборона продолжала держаться. Крепкие стены выдерживали удары, хотя и были во многих местах прошиблены снарядами и изгрызены минами. Немцы пытались сокрушить это здание с воздуха, и трижды самолеты-торпедоносцы пускали на него разрушительные торпеды. Вся угловая часть дома обрушилась. Но подвал под развалинами оказался цел, и оборонявшиеся, расчистив обломки, установили пулеметы, легкую пушку, минометы и не подпускали немцев. Дом этот был счастливо расположен — немцы не могли к нему найти скрытых подходов.

Командир роты, докладывавший Березкину, сказал:

— Пробовали ночью пробраться к ним — не вышло дело у нас. Одного убили, а двое раненные вернулись.

— Ложись! — жутким голосом закричал в это время красноармеец-наблюдатель, и несколько человек повалились плашмя на землю, а командир роты не договорил, взмахнул руками, как будто собираясь нырнуть, плюхнулся на пол.

Вой пронзительно вырос и вдруг обратился потрясающим землю и душу грохотом вонючих и душных разрывов. Толстый черный чурбак грохнулся на пол, подскочил, подкатился под ноги Березкина, и тот подумал, что полено, подброшенное силой взрыва, едва не ударило его по ноге. И вдруг он увидел — то был невзорвавшийся снаряд. Напряжение этой секунды было невыносимо.

Но снаряд не взорвался, и его черная тень, поглотившая небо и землю, заслонившая прошлое, обрубившая будущее, исчезла.

Командир роты поднялся на ноги.

— Вот это козюлька, — сказал чей-то расстроенный голос, а другой рассмеялся:

— Ну, я думал — все, накрылся.

Березкин утер пот, вдруг выступивший на лбу, поднял с полу белую астрочку, стряхнул с нее кирпичную пыль и, прикрепив ее к карману лейтенантской гимнастерки, сказал:

— Наверное, подарок... — И стал объяснять Подчуфарову: — Почему у вас все-таки спокойно? Начальство не ходит. Ведь начальство всегда чего-нибудь от тебя хочет: у тебя повар хороший, заберу у тебя повара. У тебя классный парикмахер или, там, портной — дай его мне. Калымщи-

ки! Ты хороший блиндаж себе отрыл — вылезай из него. У тебя хорошая квашеная капуста — пришли ее мне. — Он неожиданно спросил у лейтенанта: — А почему же двое вернулись, не дошли до окруженных?

— Подранило их, товарищ командир полка.

— Понятно.

— Вы счастливый, — сказал Подчуфаров, когда они, выйдя из дома, проходили по огородам, где среди желтой картофельной ботвы были вырыты окопы и землянки второй роты.

— Кто знает, счастливый ли я, — сказал Березкин и прыгнул на дно окопа. — Как в полевых условиях, — проговорил он таким тоном, каким говорят: «Как в курортных условиях».

— Земля лучше всего к войне приспособлена, — подтвердил Подчуфаров. — Привыкла. — Возвращаясь к разговору, начатому командиром полка, он добавил: — Не то что повара, случалось, и бабу начальство отбирало.

Весь окоп шумел, возбужденный перекличкой, трещал винтовочными выстрелами, короткими очередями автоматов и пулеметов.

— Командир роты убит, политрук Сошкин командует, — сказал Подчуфаров. — Вот его блиндаж.

— Ясно, ясно, — сказал Березкин, заглянув в полуоткрытую дверь блиндажа.

Возле пулеметов их нагнал краснолицый, с черными бровями политрук Сошкин и, непомерно громко выкрикивая отдельные слова, доложил, что рота ведет огонь по немцам с целью помешать их сосредоточению для атаки на дом шесть дробь один.

Березкин взял у него бинокль, вглядывался в короткие огоньки выстрелов, языкастое пламя из минометных жерл.

— Вон, второе окно на третьем этаже, там, мне кажется, снайпер засел.

И только он успел сказать эти слова, в окне, на которое указывал он, блеснул огонь, и пуля щебетнула, ударила в стенку окопа как раз между головой Березкина и головой Сошкина.

— Счастливый вы, — сказал Подчуфаров.

— Кто знает, счастливый ли я, — ответил Березкин.

Они прошли по окопу к местному ротному изобретению: противотанковое ружье было закреплено сошниками на тележном колесе.

— Своя ротная зенитка, — сказал сержант с пыльной щетиной и беспокойными глазами.

— Танк в ста метрах, у домика с зеленой крышей! — закричал учебным голосом Березкин.

Сержант быстро повернул колесо, и длинное дуло противотанкового ружья склонилось к земле.

— А у Дыркина один боец, — сказал Березкин, — к противотанковому ружью снайперский прицел приспособил и за день три пулемета сшиб.

Сержант пожал плечами.

— Дыркину хорошо, в цехах сидит.

Они пошли дальше по окопу, и Березкин, продолжая разговор, возникший в самом начале обхода, сказал:

— Посылочку я им собрал, очень хорошую. И вот, понимаете, не пишет жена. Нет ответа и нет. Я даже не знаю, дошла ли посылка до них. А может быть, заболели? Долго ли в эвакуации до беды.

Подчуфаров неожиданно вспомнил, как в давнее прошлое время в деревню возвращались плотники, ходившие на работу в Москву, приносили женам, старикам, детям подарки. Вот для них строй и тепло деревенской домашней жизни всегда значили больше, чем московский многолюдный грохот и ночные огни.

Через полчаса они вернулись на командный пункт батальона, но Березкин не стал заходить в подвал, а простился с Подчуфаровым на дворе.

— Оказывайте дому шесть дробь один всю возможную поддержку, — сказал он. — Попыток пройти к ним не делайте, это мы сделаем ночью силами полка. — После этого он сказал: — Теперь так... Не нравится мне ваше отношение к раненым. У вас на КП диваны, а раненые на полу. Теперь так. За свежим хлебом не прислали, люди едят сухари. Это два. Теперь так. Ваш политрук Сошкин в дымину пьяный был. Это три. Теперь так...

И Подчуфаров слушал, удивляясь, как это командир полка прошелся по обороне и все заметил... На помкомвзвода немецкие брюки... У командира первой роты две пары часов на руке.

Березкин сказал назидательно:

— Наступать немец будет. Ясно?

Он пошел к заводу, и Глушков, успевший набить каблук и зашить прореху на ватнике, спросил:

— Домой пошли?

Березкин, не ответив ему, сказал Подчуфарову:

— Позвоните комиссару полка, скажите ему, что я пошел к Дыркину, в третий цех, на завод. — И, подмигнув, прибавил: — Капустки мне пришлите, хороша. Как-никак и я начальство.

15

Писем от Толи не было... Утром Людмила Николаевна провожала мать и мужа на работу, Надю в школу. Первой уходила мать, работавшая химиком в лаборатории знаменитого казанского мыловаренного завода. Проходя мимо комнаты зятя, Александра Владимировна обычно повторяла шутку, услышанную ею от рабочих на заводе: «Хозяевам на работу к шести, а служащим к девяти».

За ней шла в школу Надя, вернее не шла, а убегала галопом, потому что не было возможности поднять ее вовремя с кровати, в последнюю минуту она вскакивала, хватала чулки, кофту, книги, тетради, завтракая, давилась чаем, а сбегая по лестнице, наматывала шарф и натягивала пальто.

Когда Виктор Павлович садился завтракать, чайник после ухода Нади уже остывал, и его приходилось наново разогревать.

Александра Владимировна сердилась, когда Надя говорила: «Скорей бы вырваться из этой чертовой дыры». Надя не знала, что Державин жил когда-то в Казани, что жили в ней Аксаков, Толстой, Ленин, Зинин, Лобачевский, что Максим Горький работал когда-то в казанской булочной.

— Какое старческое безразличие, — говорила Александра Владимировна, и странно было слышать этот упрек старухи, обращенный к девочке-подростку.

Людмила видела, что мать продолжала интересоваться людьми, новой работой. Одновременно с восхищением перед душевной силой матери в ней жило совсем другое чувство — как можно было в горе интересоваться гидрогенизацией жиров, казанскими улицами и музеями.

И однажды, когда Штрум сказал жене что-то по поводу душевной молодости Александры Владимировны, Людмила, не сдержавшись, ответила:

— Не молодость это у мамы, а старческий эгоизм.

— Бабушка не эгоистка, она народница, — сказала Надя и добавила: — Народники хорошие люди, но не очень умные.

Мнения свои Надя высказывала категорически и, вероятно, из-за всегдашнего недостатка времени в короткой форме. «Мура», — говорила она с большим количеством «р». Она следила за сводками Совинформбюро, была в курсе военных событий, вмешивалась в разговоры о политике. После летней поездки в колхоз Надя объясняла матери причины плохой производительности колхозного труда.

Своих школьных отметок она матери не показывала и лишь однажды растерянно сообщила:

— Знаешь, мне влепили четверку за поведение. Представляешь, математичка погнала меня из класса. Я, выходя, рявкнула «гуд бай!» — все так и грохнули.

Как многие дети из обеспеченных семей, до войны не знавших забот о материальных и кухонных делах, Надя в эвакуационное время много говорила о пайках, достоинствах и недостатках распределителей, знала преимущества постного масла перед коровьим, сильные и слабые стороны продельной крупы, выгоды кускового сахара перед песком.

— Знаешь что? — говорила она матери. — Я решила: давай мне с се-

годняшнего дня чай с медом вместо чая со сгущенкой. По-моему, выгодней для меня, а тебе безразлично.

Иногда Надя становилась угрюма, с презрительной усмешкой говорила грубости старшим. Однажды она в присутствии матери сказала отцу:

— Ты дурак,— сказала с такой злобой, что Штрум растерялся.

Иногда мать видела, как, читая книгу, Надя плачет. Она себя считала существом отсталым, неудачливым, обреченным прожить тусклую, тяжелую жизнь.

— Дружить со мной никто не хочет, я глупа, никому не интересна,— сказала она однажды за столом.— Замуж меня никто не возьмет, я кончу аптекарские курсы и уеду в деревню.

— В глухих деревнях аптек нет,— сказала Александра Владимировна.

— Касаемо замужества твой прогноз чрезмерно мрачен,— сказал Штрум.— Ты похорошела за последнее время.

— Плевать,— сказала Надя и злобно посмотрела на отца.

А ночью мать видела, как Надя, держа книжку в высунутой из-под одеяла голой, тонкой руке, читала стихи.

Однажды, принеся из академического распределителя сумку с двумя килограммами сливочного масла и большим пакетом риса, Надя сказала:

— Люди, и я в том числе, сволочи и подлецы, пользуются всем этим. И папа подло обменивает талант на сливочное масло. Как будто больным, малообразованным людям и слабеньким детям жить надо впроголодь оттого, что они не знают физики или не могут выполнить триста процентов плана... Лопать масло могут избранные.

А за ужином она вызывающе сказала:

— Мама, дай-ка мне двойной мед и масло, я ведь утром проспала.

Надя во многом походила на отца. Людмила Николаевна замечала, что Виктора Павловича особенно раздражают в дочери именно те черты, которыми она походила на него.

Однажды Надя, точно повторяя отцовскую интонацию, сказала о Постоеве:

— Жук, бездарность, ловчила!

Штрум возмутился:

— Как ты, недоучившаяся школьница, смеешь так говорить об академике?

Но Людмила помнила, что Виктор, будучи студентом, о многих академических знаменитостях говорил: «Ничтожество, бездарность, трепанг, карьерист!»

Людмила Николаевна понимала, что Наде живется нелегко, очень запутанный, одинокий и тяжелый у нее характер.

После ухода Нади пил чай Виктор Павлович. Скосив глаза, он смотрел в книгу, глотал, не прожевывая, делал глупое удивленное лицо, нащупывал пальцами стакан, не отрывая глаз от книги, говорил: «Налей мне, если можно, погорячей». Она знала все его жесты: то он начинал чесать голову, то выпячивал губу, то, сделав кривую рожу, ковырял в зубах,— и она говорила:

— Господи, Витя, когда уж ты будешь зубы лечить?

Она знала, что он чесался и выпячивал губу, думая о своей работе, а вовсе не потому, что у него чесалась голова или свербило в носу. Знала, что если она скажет: «Витя, ты даже не слышишь, что я тебе говорю», он, продолжая косить глаза в сторону книги, скажет: «Я все слышу, могу повторить: «Когда уж ты, Витя, будешь зубы лечить»,— и опять удивится, глотнет, шизофренически накуксится, и все это будет означать, что он, просматривая работу знакомого физика, кое в чем согласен с ним, а кое в чем не согласен. Потом Виктор Павлович долго будет сидеть неподвижно, потом начнет кивать головой, как-то покорно, по-старчески тоскливо,— такое выражение лица и глаз, вероятно, бывает у людей, страдающих опухолью мозга. И опять Людмила Николаевна будет знать: Штрум думает о матери.

И, когда он пил чай, думал о своей работе, кряхтел, охваченный тоской, Людмила Николаевна смотрела на глаза, которые она целовала, на курчавые волосы, которые она перебирала, на губы, целовавшие ее, на ресницы, брови, на руки с маленькими, несильными пальцами, на которых она обрезала ногти, говоря: «Ох, неряха ты мой».

Она знала о нем все — его чтение детских книг в постели перед сном, его лицо, когда он шел чистить зубы, его звонкий, чуть дрожащий голос, когда он в парадном костюме начал свой доклад о нейтронном излучении. Она знала, что он любит украинский борщ с фасолью, знала, как он тихонько стонет во сне, переворачиваясь с боку на бок. Она знала, как он быстро снашивает каблук левого ботинка и грязнит рукава сорочек; знала, что он любит спать на двух подушках; знала его тайный страх при переходе городских площадей, знала запах его кожи, форму дырок на его носках. Она знала, как он напевает, когда голоден и ждет обеда, какой формы ногти на больших пальцах его ног, знала уменьшительное имя, которым называла его в двухлетнем возрасте мать; знала его шаркающую походку; знала имена мальчишек, дравшихся с ним, когда он учился в старшем приготовительном классе. Она знала его насмешливость, привычку дразнить Толю, Надю, товарищей. Даже теперь, когда он был почти всегда в тяжелом настроении, Штрум дразнил ее тем, что близкий ей человек, Марья Ивановна Соколова, мало читала и однажды в разговоре спутала Бальзака с Флобером.

Дразнить Людмилу он умел мастерски, она всегда раздражалась. И теперь она сердито, всерьез возражала ему, защищая свою подругу:

— Ты всегда насмехаешься над теми, кто мне близок. У Машеньки безошибочный вкус, ей и не надо много читать, она всегда чувствует книгу.

— Конечно, конечно,— говорил он.— Она уверена, что «Макс и Мориц» написал Анатоль Франс.

Она знала его любовь к музыке, его политические взгляды. Она видела его однажды плачущим, видела, как он в бешенстве порвал на себе рубаху и, запутавшись в кальсонах, на одной ноге поскакал к ней, подняв кулак, готовый ударить. Она видела его жесткую, смелую прямоту, его вдохновение; видела его декламирующим стихи; видела его пьющим слабительное.

Она чувствовала, что муж сейчас обижен на нее, хотя в отношениях их, казалось, ничего не изменилось. Но изменение было, и выражалось оно в одном — он перестал говорить с ней о своей работе. Он говорил с ней о письмах от знакомых, о продовольственных и промтоварных лимитах. Он говорил иногда и о делах в институте, в лаборатории, про обсуждение плана работ, рассказывал о сотрудниках: Савостьянов пришел на работу после ночной выпивки и уснул, лаборантки варили картошку под тягой, Марков готовит новую серию опытов.

Но о своей работе, о той внутренней, о которой он говорил во всем мире с одной лишь Людмилой,— он перестал говорить.

Он как-то жаловался Людмиле Николаевне, что, читая даже близким друзьям записи своих, не доведенных до конца размышлений, он испытывал на следующий день неприятное чувство,— работа ему кажется поблекшей, ему тяжело касаться ее.

Единственный человек, которому он выворачивал свои сомнения, читал отрывочные записи, фантастические и самонадеянные предположения, не испытывая после никакого осадка, была Людмила Николаевна.

Теперь он перестал говорить с ней.

Теперь, тоскуя, он находил облегчение в том, что обвинял Людмилу. Он постоянно и неотступно думал о матери. Он думал о том, о чем никогда не думал и о чем его заставил думать фашизм,— о своем еврействе, о том, что мать его еврейка.

Он в душе упрекал Людмилу за то, что она холодно относилась к его матери. Однажды он сказал ей:

— Если б ты сумела наладить с мамой отношения, она бы жила с нами в Москве.

А она перебирала в уме все грубое и несправедливое, что совершил Виктор Павлович по отношению к Толе, и, конечно, ей было что вспомнить.

Сердце ее ожесточалось, так несправедлив он был к пасынку, столько видел он в Толе плохого, так трудно прощал ему недостатки. А Наде

отец прощал и грубость, и лень, и неряшливость, и нежелание помочь матери в домашних делах.

Она думала о матери Виктора Павловича — судьба ее ужасна. Но как мог Виктор требовать от Людмилы дружбы к Анне Семеновне — ведь Анна Семеновна нехорошо относилась к Толе. Каждое ее письмо, каждый ее приезд в Москву были из-за этого невыносимы Людмиле. Надя, Надя, Надя... У Нади глаза Виктора... Надя рассеянна, Надя остроумна, Надя задумчива. Нежность, любовь Анны Семеновны к сыну соединялась с любовью и нежностью к внучке. А ведь Толя не держал вилку так, как держал ее Виктор Павлович.

И странно, в последнее время она чаще, чем прежде, вспоминала Толиного отца, своего первого мужа. Ей хотелось разыскать его родных, его старшую сестру, и они радовались бы глазам Толи, сестра Абарчука узнавала бы в Толиных глазах, искривленном большом пальце, широком носе — глаза, руки, нос своего брата.

И так же, как она не хотела вспомнить Виктору Павловичу все хорошее в его отношении к Толе, она прощала Абарчуку все плохое, даже то, что он бросил ее с грудным ребенком, запретил дать Толе фамилию Абарчук.

Утром Людмила Николаевна оставалась дома одна. Она ждала этого часа, близкие мешали ей. Все события в мире, война, судьба сестер, работа мужа, Надин характер, здоровье матери, ее жалость к раненым, боль о погибших в немецком плену, — все рождалось ее болью о сыне, ее тревогой о нем.

Она чувствовала, что совсем из иной руды выплавляются чувства матери, мужа, дочери. Их привязанность и любовь к Толе казались ей неглубокими. Для нее мир был в Толе, для них Толя был лишь частью мира.

Шли дни, шли недели, письма от Толи не было.

Каждый день радио передавало сводки Совинформбюро, каждый день газеты были полны войной. Советские войска отступали. В сводках и газетах писалось об артиллерии. Толя служил в артиллерии. Письма от Толи не было.

Ей казалось: один человек по-настоящему понимал ее тоску — Марья Ивановна, жена Соколова.

Людмила Николаевна не любила дружить с профессорскими женами, ее раздражали разговоры о научных успехах мужей, платьях, домашних работницах. Но, вероятно, потому, что мягкий характер застенчивой Марьи Ивановны был противоположен ее характеру, и потому, что ее трогало отношение Марьи Ивановны к Толе, она очень привязалась к Марье Ивановне.

С ней Людмила говорила о Толе свободней, чем с мужем и матерью, и каждый раз ей становилось спокойней, легче на душе. И хотя Марья Ивановна почти каждый день заходила к Штрумам, Людмила Николаевна удивлялась, чего ж это так давно не приходит ее подруга, поглядывала в окно, не видно ли худенькой фигуры Марьи Ивановны, ее милого лица.

А писем от Толи не было.

16

Александра Владимировна, Людмила и Надя сидели на кухне. Время от времени Надя подкладывала в печь смятые листы ученической тетрадки, и угасавший красный свет осветлялся, печь заполнялась ворохом недолговечного пламени. Александра Владимировна, искоса поглядывая на дочь, сказала:

— Я вчера заходила к одной лаборантке на дом, господи, какая теснота, нищета, голодуха, мы тут, как цари; собрались соседи, зашел разговор, кто что больше любил до войны: одна говорит — телятину, другая — рассольник. А девочка этой лаборантки говорит: «А я больше всего любила отбой».

Людмила Николаевна молчала, а Надя проговорила:

— Бабушка, у вас здесь уже образовалось больше миллиона знакомых.

— А у тебя нникого.

— Ну и очень хорошо, — сказала Людмила Николаевна. — Витя стал часто ходить к Соколову. Там собирается всякий сброд, и я не понимаю, как Витя и Соколов могут целыми часами болтать с этими людьми... Как им не надоедает толочь языками табачок. И как не жалеют Марью Ивановну, ей нужен покой, а при них не прилечь, не посидеть, да еще дымят вовсю.

— Каримов, татарин, мне нравится, — сказала Александра Владимировна.

— Противный тип.

— Мама в меня, ей никто не нравится, — сказала Надя, — вот только Марья Ивановна.

— Удивительный вы народ, — сказала Александра Владимировна, — у вас есть какая-то своя московская среда, которую вы с собой привезли. В поездах, в клубе, в театре, — все это не ваш круг, а ваши — это те, что с вами в одном месте дачи построили, это и у Жени я наблюдала... Есть ничтожные признаки, по которым вы определяете людей своего круга: «Ах, она ничтожество, не любит Блока, а он примитив, не понимает Пикассо... Ах, она ему подарила хрустальиую вазу. Это безвкусно...» Вот Виктор демократ, ему плевать на все это декадентство.

— Чепуха, — сказала Людмила. — При чем тут дачи! Есть мещане с дачами и без дач, и не надо с ними встречаться, противно.

Александра Владимировна замечала, что дочь все чаще раздражается против нее.

Людмила Николаевна давала мужу советы, делала замечания Наде, выговаривала ей за проступки и прощала ей проступки, баловала ее и отказывала в баловстве, и ощущала, что у матери свое отношение к ее действиям. Александра Владимировна не высказывала этого своего отношения, но оно существовало. Случалось, что Штрум переглядывался с тещей и в глазах его появлялось выражение насмешливого понимания, словно он предварительно обсуждал странности Людмилиного характера с Александрой Владимировной. И тут не имело значения, обсуждали они или не обсуждали, а дело было в том, что появилась в семье новая сила, изменившая одним своим присутствием привычные отношения.

Виктор Павлович однажды сказал Людмиле, что на ее месте уступил бы матери главенство, пусть чувствует себя хозяйкой, а не гостьей.

Людмиле Николаевне слова мужа показались неискренними, ей даже подумалось, что он хочет подчеркнуть свое особенное, сердечное отношение к ее матери и этим невольно напоминает о холодном отношении Людмилы к Анне Семеновне.

Смешно и стыдно было бы признаться ему в этом, она иногда к детям ревновала его, особенно к Наде. Но сейчас это не была ревность. Как признаться даже самой себе в том, что мать, потерявшая кров, нашедшая приют в ее доме, раздражает ее и тяготит. Да и странным было это раздражение, оно ведь существовало рядом с любовью, рядом с готовностью отдать Александре Владимировне, если понадобится, свое последнее платье, поделиться последним куском хлеба.

А Александра Владимировна вдруг чувствовала, что ей хочется то беспричинно заплакать, то умереть, то не прийти вечером домой и остаться ночевать на полу у сослуживицы, то вдруг собраться и уехать в сторону Сталинграда, разыскивать Сережу, Веру, Степана Федоровича.

Александра Владимировна большей частью одобряла поступки и высказывания зятя, а Людмила почти всегда не одобряла его. Надя заметила это и говорила отцу:

— Пойди пожалуйся бабушке, что мама тебя обижает.

Вот и теперь Александра Владимировна сказала:

— Вы живете, как совы. А Виктор нормальный человек.

— Все это слова, — сказала, морщась, Людмила. — А придет день отъезда в Москву — и вы с Виктором будете счастливы.

Александра Владимировна вдруг сказала:

— Знаешь что, милая моя, когда придет день возвращения в Москву, я не поеду с вами, а останусь здесь, мне в Москве в твоем доме места нет. Понятно тебе? Уговорю Женю сюда перебраться либо к ней соберусь в Куйбышев.

То был трудный миг в отношениях матери и дочери. Все, что лежа-

ло тяжелого на душе у Александры Владимировны, было высказано в ее отказе ехать в Москву. Все, что собралось тяжелого на душе у Людмилы Николаевны, стало от этого явным, как будто бы произнесенным. Но Людмила Николаевна обиделась, словно она ни в чем не была виновата перед матерью.

А Александра Владимировна глядела на страдающее лицо Людмилы и чувствовала себя виноватой. По ночам Александра Владимировна чаще всего думала о Сереже, — то вспоминала его вспышки, споры, то представляла себе его в военной форме, его глаза, вероятно, стали еще больше, он ведь похудел, щеки ввалились. Особое чувство вызывал в ней Сережа — сын ее несчастного сына, которого она любила, казалось, больше всех на свете... Она говорила Людмиле:

— Не мучься ты так о Толе, поверь, что я беспокоюсь о нем не меньше тебя.

Что-то было фальшивое, оскорбляющее ее любовь к дочери в этих словах — не так уж она беспокоилась о Толе. Вот и сейчас обе, прямые до жестокости, испугались своей прямоты и отказывались от нее.

— «Правда хорошо, а любовь лучше», новая пьеса Островского, — произнесла Надя, и Александра Владимировна неприязненно, даже с каким-то испугом посмотрела на девчонку-десятиклассницу, сумевшую разобраться в том, в чем она сама еще не разобралась.

Вскоре пришел Виктор Павлович. Он открыл дверь своим ключом и внезапно появился на кухне.

— Приятная неожиданность, — сказала Надя. — Мы считали, что ты застрянешь допоздна у Соколовых.

— А-а, все уже дома, все у печки, очень рад, чудесно, чудесно, — произнес он, протянул руку к печному огню.

— Вытри нос, — сказала Людмила. — Что же чудесного, я не пойму?

Надя прыснула и сказала, подражая материнской интонации:

— Ну, вытри нос, тебе ведь русским языком говорят.

— Надя, Надя, — предостерегающе сказала Людмила Николаевна: она ни с кем не делила свое право воспитывать мужа.

Виктор Павлович произнес:

— Да, да, очень холодный ветер.

Он пошел в комнату, и через открытую дверь видно было, как он сел за стол.

— Папа опять пишет на переплете книги, — проговорила Надя.

— Не твое дело, — сказала Людмила Николаевна и стала объяснять матери: — Почему он так обрадовался, — все дома? У него псих, беспокоится, если кого-нибудь нет дома. А сейчас он чего-то там недодумал и обрадовался, не надо будет отвлекаться беспокойствами.

— Тише, ведь действительно ему мешаем, — сказала Александра Владимировна.

— Наоборот, — сказала Надя, — говоришь громко, он не обращает внимания, а если говорить шепотом, он явится и спросит: «Что это вы там шепчетесь?»

— Надя, ты говоришь об отце, как экскурсовод, который рассказывает об инстинктах животных.

Они одновременно рассмеялись, переглянулись.

— Мама, как вы могли так обидеть меня? — сказала Людмила Николаевна.

Мать молча погладила ее по голове.

Потом они ужинали на кухне. Виктору Павловичу казалось — какой-то особой прелестью обладало в этот вечер кухонное тепло.

То, что составляло основу его жизни, продолжалось. Мысль о неожиданном объяснении противоречивых опытов, накопленных лабораторией, неотступно занимала его последнее время.

Сидя за кухонным столом, он испытывал странное счастливое нетерпение, — пальцы рук сводило от сдерживаемого желания взяться за карандаш.

— Изумительная сегодня гречневая каша, — сказал он, стуча ложкой в пустой тарелке.

— Это намек? — спросила Людмила Николаевна.

Пододвигая жене тарелку, он спросил:

— Люда, ты помнишь, конечно, гипотезу Проута?

Людмила Николаевна, недоумевая, подняла ложку.

— Это о происхождении элементов, — сказала Александра Владимировна.

— Ах, ну помню, — проговорила Людмила, — все элементы из водорода. Но при чем тут каша?

— Каша? — переспросил Виктор Павлович. — А вот с Проутом произошла такая история: он высказал правильную гипотезу в большей мере потому, что в его время существовали грубые ошибки в определениях атомных весов. Если бы при нем определили атомные веса с точностью, какой достигли Дюма и Стас, он бы не решился предположить, что атомные веса элементов кратны водороду. Оказался прав потому, что ошибался.

— А при чем тут все же каша? — спросила Надя.

— Каша? — переспросил удивленно Штрум и, вспомнив, сказал: — Каша ни при чем... В этой каше трудно разобраться, понадобилось сто лет, чтобы разобраться.

— Это тема вашей лекции сегодняшней? — спросила Александра Владимировна.

— Нет, пустое, я ведь и лекций не читаю, ни к селу, ни к городу.

Он поймал взгляд жены и почувствовал: она понимала — интерес к работе вновь будоражил его.

— Как жизнь? — спросил Штрум. — Приходила к тебе Марья Ивановна? Читала тебе, небось, «Мадам Бовари», сочинение Бальзака?

— А ну тебя, — сказала Людмила Николаевна.

Ночью Людмила Николаевна ждала, что муж заговорит с ней о своей работе. Но он молчал, и она ни о чем не спросила его.

17

Какими наивными представились Штруму идеи физиков в середине девятнадцатого века, взгляды Гельмгольца, сводившего задачи физической науки к изучению сил притяжения и отталкивания, зависящих от одного лишь расстояния.

Силовое поле — душа материи! Единство, объединяющее волну энергии и материальную корпускулу... зернистость света... ливень ли он светлых капель или молниеносная волна?

Квантовая теория поставила на место законов, управляющих физическими индивидуальностями, новые законы — законы вероятностей; законы особой статистики, отбросившей понятие индивидуальности, признающей лишь совокупности. Физики прошлого века напоминали Штруму людей с нафабренными усами, в костюмах со стоячими крахмальными воротниками и с твердыми манжетами, столпившихся вокруг бильярдного стола. Глубокомысленные мужи, вооруженные линейками и часами-хронометрами, хмуря густые брови, измеряют скорости и ускорения, определяют массы упругих шаров, заполняющих мировое зеленое суконное пространство.

Но пространство, измеренное металлическими стержнями и линейками, время, отмеренное совершеннейшими часами, вдруг стали искривляться, растягиваться и сплющиваться. Их незыблемость оказалась не фундаментом науки, а решетками и стенами ее тюрьмы. Пришла пора страшного суда, тысячелетние истины были объявлены заблуждениями. В старинных предрассудках, ошибках, неточностях, словно в коконах, столетиями спала истина.

Мир стал неевклидовым, его геометрическая природа формировалась массами и их скоростями.

С нараставшей стремительностью шло научное движение в мире, освобожденном Эйнштейном от оков абсолютного времени и пространства.

Два потока — один, стремящийся вместе со вселенными, второй, стремящийся проникнуть в атомное ядро, — разбегаясь, не терялись один для другого, хотя один бежал в мире парсеков, другой мерился миллимикронами. Чем глубже уходили физики в недра атома, тем ясней становились для них законы, определяющие свечение звезд. Красное смещение по лучу зрения в спектрах далеких галактик породило представление о разбегающихся в бесконечном пространстве вселенных. Но стоило предпо-

честь конечное чечевицеобразное, искривленное скоростями и массами пространство, и можно было представить себе, что расширением охвачено само пространство, увлекающее за собой Галактики.

Штрум не сомневался: нет в мире человека счастливей ученого... Иногда — утром, по дороге в институт, и во время вечерней прогулки, и вот сегодня ночью, когда он думал о своей работе, — его охватывало чувство счастья, смирения и восторга.

Силы, наполняющие Вселенную тихим светом звезд, высвобождались при превращении водорода в гелий...

За два года до войны два молодых немца расщепили нейтронами тяжелые атомные ядра, и советские физики в своих исследованиях, придя другими путями к сходным результатам, вдруг ощутили то, что сто тысяч лет назад испытал пещерный человек, зажигая свой первый костер...

Конечно, в двадцатом веке главное направление определяет физика... Вот так же, как в 1942 году направлением главного удара для всех фронтов мировой войны стал Сталинград.

Но следом, вплотную, по пятам, шли за Штрумом сомнения, страдание, неверие.

18

«Витя, я уверена, мое письмо дойдет до тебя, хотя я за линией фронта и за колючей проволокой еврейского гетто. Твой ответ я никогда не получу, меня не будет. Я хочу, чтобы ты знал о моих последних днях, с этой мыслью мне легче уйти из жизни.

Людей, Витя, трудно понять по-настоящему... Седьмого июля немцы ворвались в город. В городском саду радио передавало последние известия, я шла из поликлиники после приема больных и остановилась послушать, дикторша читала по-украински статью о боях. Я услышала отдаленную стрельбу, потом через сад побежали люди, я пошла к дому и все удивлялась, как это пропустила сигнал воздушной тревоги. И вдруг я увидела танк, и кто-то крикнул: «Немцы прорвались!»

Я сказала: «Не сейте панику»; накануне я заходила к секретарю горсовета, спросила его об отъезде, он рассердился: «Об этом рано говорить, мы даже списков не составляли». Словом, это были немцы. Всю ночь соседи ходили друг к другу, спокойней всех были малые дети да я. Решила — что будет со всеми, то будет и со мной. Вначале я ужаснулась, поняла, что никогда тебя не увижу, и мне страстно захотелось еще раз посмотреть на тебя, поцеловать твой лоб, глаза, а потом я подумала — ведь счастье, что ты в безопасности.

Под утро я заснула и, когда проснулась, почувствовала страшную тоску. Я была в своей комнате, в своей постели, но ощутила себя на чужбине, затерянная, одна.

Этим же утром мне напомнили забытое за годы Советской власти, что я еврейка. Немцы ехали на грузовике и кричали: «Juden kaput!»

А затем мне напомнили об этом некоторые мои соседи. Жена дворника стояла под моим окном и говорила соседке: «Слава богу, жидам конец». Откуда это? Сын ее женат на еврейке, и старуха ездила к сыну в гости, рассказывала мне о внуках.

Соседка моя, вдова, у нее девочка 6 лет, Аленушка, синие, чудные глаза, я тебе писала о ней когда-то, зашла ко мне и сказала: «Анна Семеновна, попрошу вас к вечеру убрать вещи, я переберусь в вашу комнату». «Хорошо, я тогда перееду в вашу». «Нет, вы переберетесь в каморку за кухней».

Я отказалась, там ни окна, ни печки.

Я пошла в поликлинику, а когда вернулась, оказалось: дверь в мою комнату взломали, мои вещи свалили в каморке. Соседка мне сказала: «Я оставила у себя диван, он все равно не влезет в вашу новую комнатку».

Удивительно, она кончила техникум, и покойный муж ее был славный и тихий человек, бухгалтер в Укопспилке. «Вы вне закона», — сказала она таким тоном, словно ей это очень выгодно. А ее Аленушка сидела у меня весь вечер, и я ей рассказывала сказки. Это было мое новоселье, и она не хотела идти спать, мать ее унесла на руках. А затем,

Витенька, поликлинику нашу вновь открыли, а меня и еще одного врача-еврея уволили. Я попросила деньги за проработанный месяц, но новый заведующий мне сказал: «Пусть вам Сталин платит за то, что вы заработали при Советской власти, напишите ему в Москву». Санитарка Маруся обняла меня и тихонько запричитала: «Господи, боже мой, что с вами будет, что с вами всеми будет». И доктор Ткачев пожал мне руку. Я не знаю, что тяжелей — злорадство или жалостливые взгляды, которыми глядят на подыхающую шелудивую кошку. Не думала я, что придется мне все это пережить.

Многие люди поразили меня. И не только темные, озлобленные, безграмотные. Вот старик педагог, пенсионер, ему 75 лет, он всегда спрашивал о тебе, просил передать привет, говорил о тебе: «Он наша гордость». А в эти дни проклятые, встретив меня, не поздоровался, отвернулся. А потом мне рассказывали, он на собрании в комендатуре говорил: «Воздух очистился, не пахнет чесноком». Зачем ему это — ведь эти слова его пачкают. И на том же собрании сколько клеветы на евреев было... Но, Витенька, конечно, не все пошли на это собрание. Многие отказались. И, знаешь, в моем сознании с царских времен антисемитизм связан с квасным патриотизмом людей из «Союза Михаила Архангела». А здесь я увидела, — те, что кричат об избавлении России от евреев, унижаются перед немцами, по-лакейски жалки, готовы продать Россию за тридцать немецких сребреников. А темные люди из пригорода захватывают квартиры, одеяла, платья; такие, вероятно, убивали врачей во время холерных бунтов. А есть душевно вялые люди, они поддакивают всему дурному, лишь бы их не заподозрили в несогласии с властями.

Ко мне беспрерывно прибегают знакомые с новостями, глаза у всех безумные, люди как в бреду. Появилось странное выражение: «перепрятывать вещи». Кажется, что у соседа надежней. Перепрятывание вещей напоминает мне игру.

Вскоре объявили о переселении евреев, разрешили взять с собой 15 килограммов вещей. На стенах домов висели желтенькие объявленьица: «Всем жильцам предлагается переселиться в район Старого города не позднее шести часов вечера 15 июля 1941 года». Не переселившимся — расстрел.

Ну вот, Витенька, собралась и я. Взяла я с собой подушку, немного белья, чашечку, которую ты мне когда-то подарил, ложку, нож, две тарелки. Много ли человеку нужно? Взяла несколько медицинских инструментов. Взяла твои письма, фотографии покойной мамы и дяди Давида, и ту, где ты с папой снят, томик Пушкина, «Lettres de mon moulin», томик Мопассана, где «Une vie», словарик, взяла Чехова, где «Скучная история» и «Архиерей», — вот и, оказалось, заполнила всю свою корзинку. Сколько я под этой крышей тебе писем написала, сколько часов ночью проплакала, теперь уж скажу тебе, о своем одиночестве.

Простилась с домом, с садиком, посидела несколько минут под деревом, простилась с соседями. Странно устроены некоторые люди. Две соседки при мне стали спорить о том, кто возьмет себе стулья, кто письменный столик, а стала с ними прощаться, обе заплакали. Попросила соседей Басанько, если после войны ты приедешь узнать обо мне, пусть расскажут поподробней — и мне обещали. Тронула меня собачонка, дворняжка Тобик, — последний вечер как-то особенно ласкалась ко мне.

Если приедешь, ты ее покорми за хорошее отношение к старой жидовке.

Когда я собралась в путь и думала, как мне дотащить корзину до Старого города, неожиданно пришел мой пациент Щукин, угрюмый и, мне казалось, черствый человек. Он взялся понести мои вещи, дал мне триста рублей и сказал, что будет раз в неделю приносить мне хлеб к ограде. Он работает в типографии, на фронт его не взяли по болезни глаз. До войны он лечился у меня, и, если бы мне предложили перечислить людей с отзывчивой, чистой душой, я назвала бы десятки имен, но не его. Знаешь, Витенька, после его прихода я снова почувствовала себя человеком, значит, ко мне не только дворовая собака может относиться по-человечески.

Он рассказал мне — в городской типографии печатается приказ: евреям запрещено ходить по тротуарам, они должны носить на груди жел-

тую лату в виде шестиконечной звезды, они не имеют права пользоваться транспортом, банями, посещать амбулатории, ходить в кино, запрещается покупать масло, яйца, молоко, ягоды, белый хлеб, мясо, все овощи, исключая картошку; покупки на базаре разрешается делать только после шести вечера (когда крестьяне уезжают с базара). Старый город будет обнесен колючей проволокой, и выход за проволоку запрещен, можно только под конвоем на принудительные работы. При обнаружении еврея в русском доме хозяину — расстрел, как за укрытие партизана.

Тесть Щукина, старик крестьянин, приехал из соседнего местечка Чуднова и видел своими глазами, что всех местных евреев с узлами и чемоданами погнали в лес, и оттуда в течение всего дня доносились выстрелы и дикие крики, ни один человек не вернулся. А немцы, стоявшие на квартире у тестя, приехали поздно вечером — пьяные и еще пили до утра, пели и при старике делили между собой брошки, кольца, браслеты. Не знаю, случайный ли это произвол или предвестие ждущей и нас судьбы?

Как печален был мой путь, сыночек, в средневековое гетто. Я шла по городу, в котором проработала 20 лет. Сперва мы шли по пустынной Свечной улице. Но когда мы вышли на Никольскую, я увидела сотни людей, шедших в это проклятое гетто. Улица стала белой от узлов, от подушек. Больных вели под руки. Парализованного отца доктора Маргулиса несли на одеяле. Один молодой человек нес на руках старуху, а за ним шли жена и дети, нагруженные узлами. Заведующий магазином бакалеи Гордон, толстый, с одышкой, шел в пальто с меховым воротником, а по лицу его тек пот. Поразил меня один молодой человек: он шел без вещей, подняв голову, держа перед собой раскрытую книгу, с надменным и спокойным лицом. Но сколько рядом было безумных, полных ужаса.

Шли мы по мостовой, а на тротуаре стояли люди и смотрели.

Одно время я шла с Маргулисами и слышала сочувственные вздохи женщин. А над Гордоном в зимнем пальто смеялись, хотя, поверь, он был ужасен, не смешон. Видела много знакомых лиц. Одни слегка кивали мне, прощаясь, другие отворачивались. Мне кажется, в этой толпе равнодушных глаз не было; были любопытные, были безжалостные, но несколько раз я видела заплаканные глаза.

Я посмотрела — две толпы, евреи в пальто, шапках, женщины — в теплых платках, а вторая толпа на тротуаре одета по-летнему. Светлые кофточки, мужчины без пиджаков, некоторые в вышитых украинских рубахах. Мне показалось, что для евреев, идущих по улице, уже и солнце отказалось светить, они идут среди декабрьской ночной стужи.

У входа в гетто я простилась с моим спутником, он мне показал место у проволочного заграждения, где мы будем встречаться.

Знаешь, Витенька, что я испытала, попав за проволоку? Я думала, что почувствую ужас. Но, представь, в этом загоне для скота мне стало легче на душе. Не думай, не потому, что у меня рабская душа. Нет. Нет. Вокруг меня были люди одной судьбы, и в гетто я не должна, как лошадь, ходить по мостовой, и нет взоров злобы, и знакомые люди смотрят мне в глаза и не избегают со мной встречи. В этом загоне все носят печать, поставленную на нас фашистами, и поэтому здесь не так жжет мою душу эта печать. Здесь я себя почувствовала не бесправным скотом, а несчастным человеком. От этого мне стало легче.

Я поселилась вместе со своим коллегой, доктором-терапевтом Шперлингом, в мазаном домике из двух комнатушек. У Шперлингов две взрослые дочери и сын, мальчик лет двенадцати. Я подолгу смотрю на его худенькое личико и печальные большие глаза; его зовут Юра, а я раза два называла его Витей, и он меня поправлял: «Я Юра, а не Витя».

Как различны характеры людей! Шперлинг в свои пятьдесят восемь лет полон энергии. Он раздобыл матрацы, керосин, подводу дров. Ночью внесли в домик мешок муки и полмешка фасоли. Он радуется всякому своему успеху, как молодожен. Вчера он развешивал коврики. «Ничего, ничего, все переживем, — повторяет он. — Главное, запастись продуктами и дровами».

Он сказал мне, что в гетто следует устроить школу. Он даже предложил мне давать Юре уроки французского языка и платить за урок тарелкой супа. Я согласилась.

Жена Шперлинга, толстая Фанни Борисовна, вздыхает: «Все погибло, мы погибли», — но при этом следит, чтобы старшая дочь Люба, доброе и милое существо, не дала кому-нибудь горсть фасоли или ломтик хлеба. А младшая, любимица матери, Аля — истинное исчадие ада: властная, подозрительная, скупая; она кричит на отца, на сестру. Перед войной она приехала погостить из Москвы и застряла.

Боже мой, какая нужда вокруг! Если бы те, кто говорит о богатстве евреев и о том, что у них всегда накоплено на черный день, посмотрели на наш Старый город! Вот он и пришел, черный день, чернее не бывает. Ведь в Старом городе не только переселенные с 15 килограммами багажа, здесь всегда жили ремесленники — старики, рабочие, санитарки. В какой ужасной тесноте жили они и живут. Как едят! Посмотрел бы ты на эти полуразваленные, вросшие в землю хибарки.

Витенька, здесь я вижу много плохих людей — жадных, хитрых, даже готовых на предательство. Есть тут один страшный человек, Эпштейн, попавший к нам из какого-то польского городка, — он носит повязку на рукаве и ходит с немцами на обыски, участвует в допросах, пьянствует с украинскими полицаями, и они посылают его по домам вымогать водку, деньги, продукты. Я раза два видела его — рослый, красивый, в франтовском кремовом костюме, и даже желтая звезда, пришитая к его пиджаку, выглядит, как желтая хризантема.

Но я хочу тебе сказать и о другом. Я никогда не чувствовала себя еврейкой, с детских лет я росла в среде русских подруг, я любила больше всех поэтов Пушкина, Некрасова, и пьеса, на которой я плакала вместе со всем зрительным залом, съездом русских земских врачей, была «Дядя Ваня» со Станиславским. А когда-то, Витенька, когда я была четырнадцатилетней девочкой, наша семья собралась эмигрировать в Южную Америку. И я сказала папе: «Не поеду никуда из России, лучше утоплюсь». И не уехала.

А вот в эти ужасные дни мое сердце наполнилось материнской нежностью к еврейскому народу. Раньше я не знала этой любви. Она напоминает мне мою любовь к тебе, дорогой сынок.

Я хожу к больным на дом. В крошечные комнатки втиснуты десятки людей: полуслепые старики, грудные дети, беременные. Я привыкла в человеческих глазах искать симптомы болезней — глаукомы, катаракты. Я теперь не могу так смотреть в глаза людям — в глазах я вижу лишь отражение души. Хорошей души, Витенька! Печальной и доброй, усмехающейся и обреченной, побежденной насилием и в то же время торжествующей над насилием. Сильной, Витя, души!

Если бы ты видел, с каким вниманием старики и старухи расспрашивают меня о тебе. Как сердечно утешают меня люди, которым я ни на что не жалуюсь, люди, чье положение ужасней моего.

Мне иногда кажется, что не я хожу к больным, а, наоборот, народный добрый врач лечит мою душу. А как трогательно вручают мне за лечение кусок хлеба, луковку, горсть фасоли.

Поверь, Витенька, это не плата за визиты! Когда пожилой рабочий пожимает мне руку и вкладывает в сумочку две-три картофелины и говорит: «Ну, ну, доктор, я вас прошу», у меня слезы выступают на глазах. Что-то в этом такое есть чистое, отеческое, доброе, не могу словами передать тебе это.

Я не хочу утешать тебя тем, что легко жила это время, ты удивляйся, как мое сердце не разорвалось от боли. Но не мучься мыслью, что я голодала, я за все это время ни разу не была голодна. И еще — я не чувствовала себя одинокой.

Что сказать тебе о людях? Люди поражают меня хорошим и плохим. Они необычайно разные, хотя все переживают одну судьбу. Но, представь себе, если во время грозы большинство старается спрятаться от ливня, это еще не значит, что все люди одинаковы. Да и прячется от дождя каждый по-своему.

Доктор Шперлинг уверен, что преследования евреев временные, пока война. Таких, как он, немало, и я вижу, чем больше в людях оптимизма, тем они мелочней, тем эгоистичней. Если во время обеда приходит кто-нибудь, Аля и Фанни Борисовна немедленно прячут еду.

Ко мне Шперлинги относятся хорошо, тем более, что я ем мало и приношу продуктов больше, чем потребляю. Но я решила уйти от них, они мне неприятны. Подыскиваю себе уголок. Чем больше печали в человеке, чем меньше он надеется выжить, тем он шире, добрее, лучше.

Беднота, жестянщики, портняги, обреченные на гибель, куда благородней, шире и умней, чем те, кто ухитрились запасти кое-какие продукты. Молоденькие учительницы, чудак — старый учитель и шахматист Шпильберг, тихие библиотекарши, инженер Рейвич, который беспомощней ребенка и мечтает вооружить гетто самодельными гранатами, что за чудные, непрактичные, милые, грустные и добрые люди.

Здесь я вижу, что надежда почти никогда не связана с разумом, она бессмысленна, я думаю, ее родил инстинкт.

Люди, Витя, живут так, как будто впереди долгие годы. Нельзя понять, глупо это или умно, просто так оно есть. И я подчинилась этому закону. Здесь пришли две женщины из местечка и рассказывают то же, что рассказывал мне мой друг. Немцы в округе уничтожают всех евреев, не щадя детей, стариков. Приезжают на машинах немцы и полицаи и берут несколько десятков мужчин на полевые работы, они копают рвы, а затем, через два-три дня немцы гонят еврейское население к этим рвам и расстреливают всех поголовно. Всюду в местечках вокруг нашего города вырастают эти еврейские курганы.

В соседнем доме живет девушка из Польши. Она рассказывает, что там убийства идут постоянно, евреев вырезают всех до единого, и евреи сохранились лишь в нескольких гетто — в Варшаве, в Лодзи, Радоме. И когда я все это обдумала, для меня стало совершенно ясно, что нас здесь собрали не для того, чтобы сохранить, как зубров в Беловежской Пуще, а для убоя. По плану дойдет и до нас очередь через неделю, две. Но, представь, понимая это, я продолжаю лечить больных и говорю: «Если будете систематически промывать лекарством глаза, то через две-три недели выздоровеете». Я наблюдаю старика, которому можно будет через полгода-год снять катаракту.

Я задаю Юре уроки французского языка, огорчаюсь его неправильному произношению.

А тут же немцы, врываясь в гетто, грабят, часовые, развлекаясь, стреляют из-за проволоки в детей, и все новые, новые люди подтверждают, что наша судьба может решиться в любой день.

Вот так оно происходит — люди продолжают жить. У нас тут даже недавно была свадьба. Слухи рождаются десятками. То, задыхаясь от радости, сосед сообщает, что наши войска перешли в наступление и немцы бегут. То вдруг рождается слух, что Советское правительство и Черчилль предъявили немцам ультиматум, и Гитлер приказал не убивать евреев. То сообщают, что евреев будут обменивать на немецких военнопленных.

Оказывается, нигде нет столько надежд, как в гетто. Мир полон событий, и все события, смысл их, причина, всегда одни — спасение евреев. Какое богатство надежды!

А источник этих надежд один — жизненный инстинкт, без всякой логики сопротивляющийся страшной необходимости погибнуть нам всем без следа. И вот смотрю и не верю: неужели все мы — приговоренные, ждущие казни? Парикмахеры, сапожники, портные, врачи, печники — все работают. Открылся даже маленький родильный дом, вернее, подобие такого дома. Сохнет белье, идет стирка, готовится обед, дети ходят с 1 сентября в школу, и матери расспрашивают учителей об отметках ребят.

Старик Шпильберг отдал в переплет несколько книг. Аля Шперлинг занимается по утрам физкультурой, а перед сном наворачивает волосы на папильотки, ссорится с отцом, требуя себе какие-то два летних отреза.

И я с утра до ночи занята — хожу к больным, даю уроки, штопаю, стираю, готовлюсь к зиме, подшиваю вату под осеннее пальто. Я слушаю рассказы о карах, обрушившихся на евреев, — знакомую, жену юрисконсульта, избили до потери сознания за покупку утиного яйца для ребенка, мальчику, сыну провизора Сироты, прострелили плечо, когда он пробовал пролезть под проволокой и достать закатившийся мяч. А потом снова слухи, слухи, слухи.

Вот и не слухи. Сегодня немцы угнали восемьдесят молодых мужчин на работы, якобы копать картошку, и некоторые люди радовались — сумеют принести немного картошки для родных. Но я поняла, о какой картошке идет речь.

Ночь в гетто — особое время, Витя. Знаешь, друг мой, я всегда приучала тебя говорить мне правду, сын должен всегда говорить матери правду. Но ведь и мать должна говорить сыну правду. Не думай, Витенька, что твоя мама сильный человек. Я — слабая. Я боюсь боли и трушу, садясь в зубоврачебное кресло. В детстве я боялась грома, боялась темноты. Старухой я боялась болезней, одиночества, боялась, что, заболев, не смогу работать, сделаюсь обузой для тебя и ты мне дашь это почувствовать. Я боялась войны. Теперь по ночам, Витя, меня охватывает ужас, от которого леденеет сердце. Меня ждет гибель. Мне хочется звать тебя на помощь.

Когда-то ты ребенком прибегал ко мне, ища защиты. И теперь в минуты слабости мне хочется спрятать свою голову на твоих коленях, чтобы ты, умный, сильный, прикрыл меня, защитил. Я не только сильна духом, Витя, я и слаба. Часто думаю о самоубийстве, но я не знаю, слабость, или сила, или бессмысленная надежда удерживает меня.

Но хватит. Я засыпаю и вижу сны. Часто вижу покойную маму, разговариваю с ней. Сегодня во сне ночью видела Сашеньку Шапошникову, когда вместе жили в Париже. Но тебя ни разу не видела во сне, хотя всегда думаю о тебе, даже в минуты ужасного волнения. Просыпаюсь, и вдруг этот потолок, и я вспоминаю, что на нашей земле немцы, я прокаженная, и мне кажется, что я не проснулась, а, наоборот, заснула и вижу сон.

Но проходит несколько минут, я слышу, как Аля спорит с Любой, чья очередь отправиться к колодцу, слышу разговоры о том, что ночью на соседней улице немцы проломили голову старику.

Ко мне пришла знакомая, студентка педтехникума, и позвала к больному. Оказалось, она скрывает лейтенанта, раненного в плечо, с обожженным глазом. Милый, измученный юноша с волжской, окающей речью. Он ночью пробрался за проволоку и нашел приют в гетто. Глаз у него оказался поврежден несильно, я сумела приостановить нагноение. Он много рассказывал о боях, о бегстве наших войск, навел на меня тоску. Хочет отдохнуть и пойти через линию фронта. С ним пойдут несколько юношей, один из них был моим учеником. Ох, Витенька, если б я могла пойти с ними! Я так радовалась, оказывая помощь этому парню, мне казалось, вот и я участвую в войне с фашизмом.

Ему принесли картошки, хлеба, фасоли, а какая-то бабушка связала ему шерстяные носки.

Сегодня день наполнен драматизмом. Накануне Аля через свою русскую знакомую достала паспорт умершей в больнице молодой русской девушки. Ночью Аля уйдет. И сегодня мы узнали от знакомого крестьянина, проезжавшего мимо ограды гетто, что евреи, посланные копать картошку, роют глубокие рвы в четырех верстах от города, возле аэродрома, по дороге на Романовку. Запомни, Витя, это название, там ты найдешь братскую могилу, где будет лежать твоя мать.

Даже Шперлинг понял все, весь день бледен, губы дрожат, растерянно спрашивает меня: «Есть ли надежда, что специалистов оставят в живых?» Действительно, рассказывают, в некоторых местечках лучших портных, сапожников и врачей не подвергли казни.

И все же вечером Шперлинг позвал старика печника, и тот сделал тайник в стене для муки и соли. И я вечером с Юрой читала «Lettres de mon moulin». Помнишь, мы читали вслух мой любимый рассказ «Les vieux» и переглянулись с тобой, рассмеялись, и у обоих слезы были на глазах. Потом я задала Юре уроки на послезавтра. Так нужно. Но какое щемящее чувство у меня было, когда я смотрела на печальное личико моего ученика, на его пальцы, записывающие в тетрадку номера заданных ему параграфов грамматики.

И сколько этих детей: чудные глаза, темные кудрявые волосы, среди них есть, наверное, будущие ученые, физики, медицинские профессора, музыканты, может быть, поэты.

Я смотрю, как они бегут по утрам в школу, не по-детски серьезные, с расширенными трагическими глазами. А иногда они начинают возиться, дерутся, хохочут, и от этого на душе не веселей, а ужас охватывает.

Говорят, что дети наше будущее, но что скажешь об этих детях? Им не стать музыкантами, сапожниками, закройщиками. И я ясно сегодня ночью представила себе, как весь этот шумный мир бородатых, озабоченных папаш, ворчливых бабушек, создательниц медовых пряников, «гусиных шеек», мир свадебных обычаев, поговорок, субботних праздников уйдет навек в землю, и после войны жизнь снова зашумит, а нас не будет, мы исчезнем, как исчезли ацтеки.

Крестьянин, который привез весть о подготовке могил, рассказывает, что его жена ночью плакала, причитала: «Они и шьют, и сапожники, и кожу выделывают, и часы чинят, и лекарства в аптеке продают... Что ж это будет, когда их всех поубивают?»

И так ясно я увидела, как, проходя мимо развалин, кто-нибудь скажет: «Помнишь, тут жили когда-то евреи, печник Борух; в субботний вечер его старуха сидела на скамейке, а возле нее играли дети». А второй собеседник скажет: «А вон под той старой грушей-кислицей обычно сидела докторша, забыл ее фамилию, я у нее когда-то лечил глаза, после работы она всегда выносила плетеный стул и сидела с книжкой». Так оно будет, Витя.

Как будто страшное дуновение прошло по лицам, все чувствовали, что приближается срок.

Витенька, я хочу сказать тебе... нет, не то, не то.

Витенька, я заканчиваю свое письмо и отнесу его к ограде гетто и передам своему другу. Это письмо нелегко оборвать, оно — мой последний разговор с тобой, и, переправив письмо, я окончательно ухожу от тебя, ты уже никогда не узнаешь о последних моих часах. Это наше самое последнее расставание. Что скажу я тебе, прощаясь, перед вечной разлукой? В эти дни, как и всю жизнь, ты был моей радостью. По ночам я вспоминала тебя, твою детскую одежду, твои первые книжки, вспоминала твое первое письмо, первый школьный день, все, все вспоминала от первых дней твоей жизни до последней весточки от тебя, телеграммы, полученной 30 июня. Я закрывала глаза, и мне казалось — ты заслоиил меня от надвигающегося ужаса, мой друг. А когда я вспоминала, что происходит вокруг, я радовалась, что ты не возле меня — пусть ужасная судьба минет тебя.

Витя, я всегда была одинока. В бессонные ночи я плакала от тоски. Ведь никто не знал этого. Моим утешением была мысль о том, что я расскажу тебе о своей жизни. Расскажу, почему мы разошлись с твоим папой, почему такие долгие годы я жила одна. И я часто думала, как Витя удивится, узнав, что мама его делала ошибки, безумствовала, ревновала, что ее ревновали, была такой, как все молодые. Но моя судьба закончить жизнь одиноко, не поделившись с тобой. Иногда мне казалось, что я не должна жить вдали от тебя, слишком я тебя любила, думала, что любовь дает мне право быть с тобой на старости. Иногда мне казалось, что я не должна жить вместе с тобой, слишком я тебя любила.

Ну, enfin... Будь всегда счастлив с теми, кого ты любишь, кто окружает тебя, кто стал тебе ближе матери. Прости меня.

С улицы слышен плач женщин, ругань полицейских, а я смотрю на эти страницы, и мне кажется, что я защищена от страшного мира, полного страдания.

Как закончить мне письмо? Где взять силы, сынок? Есть ли человеческие слова, способные выразить мою любовь к тебе? Целую тебя, твои глаза, твой лоб, волосы.

Помни, что всегда в дни счастья и в день горя материнская любовь с тобой, ее никто не в силах убить.

Витенька... Вот и последняя строка последнего маминого письма к тебе. Живи, живи, живи вечно... Мама».

19

Никогда до войны Штрум не думал о том, что он еврей, что мать его еврейка. Никогда мать не говорила с ним об этом — ни в детстве, ни в годы студенчества. Никогда за время учения в Московском университете ни один студент, профессор, руководитель семинара не заговорил с ним об этом.

Никогда до войны в Институте, в Академии наук не пришлось ему слышать разговоры об этом.

Никогда, ни разу не возникало в нем желания говорить об этом с Надей — объяснять ей, что мать у нее русская, а отец еврей.

Век Эйнштейна и Планка оказался веком Гитлера. Гестапо и научный Ренессанс рождены одним временем. Как человечен девятнадцатый век, век наивной физики, по сравнению с двадцатым веком — двадцатый век убил его мать. Есть ужасное сходство в принципах фашизма с принципами современной физики.

Фашизм отказался от понятия отдельной индивидуальности, от понятия «человек» и оперирует огромными совокупностями. Современная физика говорит о больших и меньших вероятиях явлений в тех или иных совокупностях физических индивидуумов. А разве фашизм в своей ужасной механике не основывается на законе квантовой политики, политической вероятности?

Фашизм пришел к идее уничтожения целых слоев населения, национальных и расовых объединений на основе того, что вероятность скрытого и явного противодействия в этих слоях и прослойках выше, чем в других группах или слоях. Механика вероятностей и человеческих совокупностей.

Но нет, конечно! Фашизм потому и погибнет, что законы атомов и булыжников он вздумал применить к человеку.

Фашизм и человек не могут сосуществовать. Когда побеждает фашизм, перестает существовать человек, остаются лишь внутренне преображенные, человекообразные существа. Но когда побеждает человек, наделенный разумом и добротой, фашизм погибает, и смирившиеся вновь становятся людьми.

Не признание ли это чепыжинских мыслей о квашне, против которых он спорил этим летом? Время разговора с Чепыжиным представлялось ему бесконечно далеким, казалось, десятилетия лежали между московским летним вечером и сегодняшним днем.

Казалось, что другой человек, не Штрум шел по Трубной площади, волнуясь, слушал, горячо, самоуверенно спорил.

Мать... Маруся... Толя...

Бывали минуты, когда наука представлялась ему обманом, мешающим увидеть безумие и жестокость жизни.

Быть может, наука не случайно стала спутницей страшного века, она союзник его. Как одиноко чувствовал он себя. Не с кем было ему делиться своими мыслями. Чепыжин был далеко. Постоеву все это странно и неинтересно.

Соколов склонен к мистике, к какой-то странной религиозной покорности перед кесаревой жестокостью, несправедливостью.

В лаборатории у него работали двое превосходных ученых — физик-экспериментатор Марков и забулдыга, умница Савостьянов. Но заговори Штрум с ними обо всем этом, они бы сочли его психопатом.

Он вынимал из стола письмо матери и вновь читал его.

«Витя, я уверена, мое письмо дойдет до тебя, хотя я за линией фронта и за колючей проволокой еврейского гетто... Где взять силы, сынок?..»

И холодное лезвие вновь ударяло его по горлу...

20

Людмила Николаевна вынула из почтового ящика воинское письмо.

Большими шагами она вошла в комнату и, поднеся конверт к свету, оторвала край грубой конвертной бумаги.

На миг ей представилось, что из конверта посыпятся фотографии Толи, — крошечный, когда еще голова не держалась, голый на подушке с задранными медвежьими ножками, с оттопыренными губами.

Непонятным образом, казалось, не вчитываясь в слова, а впитывая, вбирая красивым почерком неинтеллигентного грамотея написанные строки, она поняла: жив, жизнь!

Она прочитала о том, что Толя тяжело ранен в грудь и в бок, потерял много крови, слаб, сам не может писать, четыре недели температу-

рит... Но счастливые слезы застилали ей глаза, так велико было мгновение назад отчаяние.

Она вышла на лестницу, прочла первые строки письма и успокоенная пошла в дровяной сарай. Там, в холодном сумраке, она прочла середину и конец письма и подумала, что письмо — предсмертное прощание с ней.

Людмила Николаевна стала укладывать дрова в мешок. И хотя доктор, у которого она лечилась в московском Гагаринском переулке в поликлинике ЦЕКУБУ, велел ей не подымать свыше трех килограммов и делать лишь медленные, плавные движения, Людмила Николаевна, по-крестьянски закряхтев, взвалила себе на плечи мешок, полный сырых поленьев, махом поднялась на второй этаж. Она опустила мешок на пол, и посуда на столе вздрогнула, зазвенела.

Людмила надела пальто, накинула на голову платок и пошла на улицу.

Люди проходили мимо, потом оглядывались.

Она перешла улицу, трамвай резко зазвонил, и вагоновожатая погрозила ей кулаком.

Если свернуть направо, то переулком можно пройти к заводу, где работает мать.

Если Толя погибнет, то отцу его это не будет известно, — в каком лагере искать его, может быть, давно умер...

Людмила Николаевна пошла в институт к Виктору Павловичу. Проходя мимо домика Соколовых, она вошла во двор, постучала в окно, но занавеска осталась спущенной, — Марьи Ивановны не было дома.

— Виктор Павлович только что прошел к себе, — сказал ей кто-то, и она поблагодарила, хотя не поняла, кто говорил с ней, — знакомый, незнакомый, мужчина, женщина, — и пошла по лабораторному залу, где, как всегда, казалось, мало кто занимался делом. Обычно, так кажется, в лаборатории мужчины либо болтают, либо, покуривая, смотрят в книгу, а женщины всегда заняты: кипятят в колбах чай, смывают растворителем маникюр, вяжут.

Она замечала мелочи, десятки мелочей, бумагу, из которой лаборант сворачивал папиросу.

В кабинете Виктора Павловича ее шумно приветствовали, и Соколов быстро подошел к ней, почти подбежал, размахивая большим белым конвертом, и сказал:

— Нас обнадеживают, есть план, перспектива реэвакуации в Москву, со всеми манатками и аппаратурой, с семьями. Неплохо, а? Правда, еще сроки не указаны совершенно. Но все же!

Его оживленное лицо, глаза показались ей ненавистны. Неужели и Марья Ивановна так же радостно подбежала бы к ней? Нет, нет. Марья Ивановна сразу бы все поняла, все прочла бы на ее лице.

Знай она, что увидит столько счастливых лиц, она, конечно, не пошла бы к Виктору. И Виктор обрадован, и его радость вечером придет в дом, — и Надя будет счастлива, они уедут из ненавистной Казани. Стоят ли все люди, сколько их есть, молодой крови, которой куплена эта радость?

Она с упреком подняла глаза на мужа.

И в ее мрачные глаза посмотрели его глаза — понимающие, полные тревоги.

Когда они остались одни, он ей сказал, что сразу же, лишь она вошла, понял — случилось несчастье.

Он прочитал письмо и повторил:

— Ну что же делать, боже мой, что же делать.

Виктор Павлович надел пальто, и они пошли к выходу.

— Я не приду уже сегодня, — сказал он Соколову, стоявшему рядом с новым, недавно назначенным начальником отдела кадров Дубенковым, круглоголовым высоким человеком в широком модном пиджаке, узком для его широких плеч.

Штрум, на мгновение выпустив руку Людмилы, вполголоса сказал Дубенкову:

— Мы хотели начать составлять списки московские, но сегодня не смогу, я потом объясню.

— К чему беспокоиться, Виктор Павлович, — баском сказал Дубенков. — Спешить пока некуда. Это планирование на будущее, я возьму на себя всю черновую работу.

Соколов махнул рукой, закивал головой, и Штрум понял, что он догадался о постигшем Штрума новом горе.

Холодный ветер носился по улицам, подымая пыль, то закручивал ее веревочкой, то вдруг швырял, рассыпал, как черную негодную крупу. Неумолимая суровость была в этой стуже, в костяном постукивании ветвей, в ледяной синеве трамвайных рельсов.

Жена повернула к нему лицо, помолодевшее от страдания, осунувшееся, озябшее, пристально, просяще всматривалась в Виктора Павловича.

Когда-то у них была молодая кошка, она в свои первые роды не могла родить котенка, умирая, она подползла к Штруму и кричала, смотрела на него широко раскрытыми светлыми глазами. Но кого же просить, кого молить в этом огромном пустом небе, на этой безжалостной пыльной земле?

— Вот госпиталь, в котором я работала, — проговорила она.

— Люда, — вдруг сказал он, — зайди в госпиталь, ведь тут тебе расшифруют полевую почту. Как это раньше не пришло в голову!

Он видел, как Людмила Николаевна поднялась по ступенькам, стала объясняться с вахтером.

Штрум заходил за угол, снова возвращался к подъезду госпиталя. Прохожие бежали мимо с сетками-авоськами, со стеклянными банками, в которых в сером супе плавали серые макаронины и картофелины.

— Витя, — окликнула его жена.

Он по ее голосу понял, что она овладела собой.

— Значит, так, — сказала она. — Это в Саратове. Оказывается, заместитель главного врача там был недавно. Он мне записал улицу и номер дома.

Сразу возникло множество дел, вопросов — когда идет пароход, как достать билет, нужно собрать вещи, продукты, надо занять денег, надо достать какую-нибудь командировку.

Уехала Людмила Николаевна без вещей и продуктов, почти без денег, на палубу прошла, не имея билета, в общей давке и суете, поднявшейся при посадке.

Увезла она лишь память о прощании с матерью, мужем, Надей в темный осенний вечер. Зашумели у бортов черные волны, низовой ветер ударил, завыл, подхватил брызги речной воды.

21

Секретарь обкома одной из оккупированных немцами областей Украины Дементий Трифонович Гетманов был назначен комиссаром формировавшегося на Урале танкового корпуса.

Прежде чем выехать на место службы, Гетманов на «Дугласе» слетал в Уфу, где находилась в эвакуации его семья.

Товарищи, уфимские работники, заботливо относились к его семье: бытовые и жилищные условия оказались неплохими. Жена Гетманова, Галина Терентьевна, до войны отличавшаяся из-за дурного обмена веществ полнотой, не похудела, даже несколько поправилась в эвакуации. Две дочери и маленький, еще не ходивший в школу сын выглядели здоровыми.

Гетманов провел в Уфе пять дней. Перед отъездом к нему зашли проститься близкие люди: младший брат жены, зам. управделами Украинского совнаркома, старый товарищ Гетманова, киевлянин Машук, работник органов безопасности, и свояк Дементия Трифоновича, ответственный работник отдела пропаганды украинского ЦК Сагайдак.

Сагайдак приехал в одиннадцатом часу, когда дети уже легли спать, и разговор шел вполголоса. Гетманов сказал:

— А не выпить ли нам, товарищи, московской горилки по глотку?

Все в Гетманове по отдельности было большим — седеющая вихрастая голова-башка, широкий, обширный лоб, богатый мясом нос, ладони, пальцы, плечи, толстая мощная шея. Но сам он, соединение больших

и массивных частей, был небольшого роста. И странно, что в его большом лице особенно привлекали и запоминались маленькие глаза: они были узкими, едва видимые из-под набухших век. Цвет их был неясный — не определишь, чего в них больше: серого или голубого. Но заключалось в них много пронзительного, живого, мощная проницательность.

Галина Терентьевна, легко подняв свое грузное тело, вышла из комнаты, и мужчины притихли, как это часто бывает и в деревенской избе и в городском обществе, когда на столе должно появиться вино. Вскоре Галина Терентьевна вернулась, неся поднос. Казалось удивительным, как ее толстые руки сумели за короткие минуты пооткрывать столько консервных банок, собрать посуду.

Машук оглядел стены, завешенные украинскими плахтами, посмотрел на широкую тахту, на гостеприимные бутылки и консервные банки, сказал:

— А я помню эту тахту в вашей квартире, Галина Терентьевна, и молодец же вы, что сумели ее вывезти, определенный оргталант у вас.

— Ты учти, — сказал Гетманов, — когда эвакуировались, меня дома уже не было — все сама!

— Не бросать же ее, земляки, немцам, — сказала Галина Терентьевна. — И Дима так привык к ней, придет с бюро обкома и сразу на тахту, материалы читает.

— Как же, читает! Спит, — сказал Сагайдак.

Она снова ушла на кухню, и Машук плутовски сказал вполголоса, обращаясь к Гетманову:

— Ох, и представляю я себе докторшу, военврача, с которым наш Дементий Трифонович познакомится.

— Да, уж он даст жизни, — сказал Сагайдак.

Гетманов отмахнулся:

— Бросьте, что вы — инвалид?

— Как же, — сказал Машук, — а кто в Кисловодске в три часа ночи в палату возвращался?

Гости захохотали, и Гетманов мельком, но пристально поглядел на брата жены.

Вошла Галина Терентьевна и, оглядев смеющихся мужчин, проговорила:

— Только жена вышла, а они уж моего бедного Диму черт знает чему учат.

Гетманов стал разливать водку в рюмки, и все стали озабоченно выбирать закуску.

Гетманов, поглядев на портрет Сталина, висевший на стене, поднял рюмку и сказал:

— Что ж, товарищи, первый тост за нашего отца, пускай он нам будет здоров.

Сказал он эти слова немного грубоватым, товарищеским голосом. В этом простецком тоне суть состояла в том, что всем было известно величие Сталина, но собравшиеся за столом люди пили за него, прежде всего любя в нем простого, скромного и чуткого человека. И Сталин на портрете, сощурившись, оглядывая стол и богатую грудь Галины Терентьевны, казалось, говорил: «Вот, ребята, я раскурю трубочку и подсяду к вам поближе».

— И верно, хай наш батько живет, — сказал брат хозяйки, Николай Терентьевич. — Что б мы все без него делали?

Он оглянулся на Сагайдака, придерживая возле рта рюмку, не скажет ли тот чего-нибудь, но Сагайдак посмотрел на портрет: «О чем же, отец, еще говорить, ты все знаешь», и выпил. Все выпили.

Дементий Трифонович Гетманов был родом из Ливен Воронежской области, но у него имелись долгие связи с украинскими товарищами, так как он много лет вел партийную работу на Украине. Его связи с Киевом были упрочены женитьбой на Галине Терентьевне, — ее многочисленные родственники занимали видные места в партийном и советском аппарате на Украине.

Жизнь Дементия Трифоновича была довольно бедна внешними событиями. Он не участвовал в гражданской войне. Его не преследовали жандармы, и царский суд его никогда не высылал в Сибирь. Доклады на

конференциях и съездах он обычно читал по рукописи. Читал он хорошо, без запинок, с выражением, хотя писал доклады не сам. Правда, читать их было легко, их печатали крупным шрифтом, через два интервала, и имя Сталина выделено на них было особым красным шрифтом. Он был когда-то толковым, дисциплинированным пареньком, хотел учиться в механическом институте, но его мобилизовали на работу в органы безопасности, и вскоре он стал личным охранником секретаря крайкома. Потом его отметили и послали на партийную учебу, а затем он был взят на работу в партийный аппарат — сперва в организационно-инструкторский отдел крайкома, потом в Управление кадров Центрального Комитета. Через год он стал инструктором отдела руководящих кадров. А вскоре после тридцать седьмого года он сделался секретарем обкома партии, как говорили, — хозяином области.

Слово его могло решить судьбу заведующего университетской кафедры, инженера, директора банка, председателя профессионального союза, крестьянского коллективного хозяйства, театральной постановки.

Доверие партии! Гетманов знал великое значение этих слов. Партия доверяла ему! Весь его жизненный труд, где не было ни великих книг, ни знаменитых открытий, ни выигранных сражений, был трудом огромным, упорным, целеустремленным, особым, всегда напряженным, бессонным. Главный и высший смысл этого труда состоял в том, что возникал он по требованию партии и во имя интересов партии. Главная и высшая награда за этот труд состояла в одном — в доверии партии.

Духом партийности, интересами партии должны были проникаться его решения в любых обстоятельствах, шла ли речь о судьбе ребенка, которого определяют в детдом, о реорганизации кафедры биологии в университете, о выселении из помещения, принадлежащего библиотеке, артели, производящей пластмассовые изделия. Духом партийности должно быть проникнуто отношение руководителя к делу, к книге, к картине, и поэтому, как ни трудно это, он должен не колеблясь отказаться от привычного дела, от любимой книги, если интересы партии приходят в противоречие с его личными симпатиями. Но Гетманов знал: существовала более высокая степень партийности; ее суть была в том, что человек вообще не имеет ни склонностей, ни симпатий, могущих вступать в противоречие с духом партийности, — все близкое и дорогое для партийного руководителя потому и близко ему, потому только и дорого ему, что оно выражает дух партийности.

Подчас жестоки, суровы бывали жертвы, которые приносил Гетманов во имя духа партийности. Тут уж нет ни земляков, ни учителей, которым с юности обязан многим, тут уж не должно считаться ни с любовью, ни с жалостью. Здесь не должны тревожить такие слова, как «отвернулся», «не поддержал», «погубил», «предал»... Но дух партийности проявляется в том, что жертва как раз-то и не нужна — не нужна потому, что личные чувства — любовь, дружба, землячество — естественно, не могут сохраняться, если они противоречат духу партийности.

Незаметен труд людей, обладающих доверием партии. Но огромен этот труд — нужно и ум и душу тратить щедро, без остатка. Сила партийного руководителя не требовала таланта ученого, дарования писателя. Она оказывалась над талантом, над дарованием. Руководящее, решающее слово Гетманова жадно слушали сотни людей, обладающих даром исследования, пения, писания книг, хотя Гетманов не только не умел петь, играть на рояле, создавать театральные постановки, но и не умел со вкусом и глубиной понимать произведения науки, поэзии, музыки, живописи... Сила его решающего слова заключалась в том, что партия доверила ему свои интересы в области культуры и искусства.

Таким количеством власти, каким обладал он, секретарь областной партийной организации, вряд ли мог обладать народный трибун, мыслитель.

Гетманову казалось, что самая глубокая суть понятия «доверие партии» выражалась в мнении, чувстве, отношении Сталина. В его доверии к своим соратникам, наркомам, маршалам и была суть партийной линии.

Гости говорили главным образом о новой военной работе, предстоящей Гетманову. Они понимали, что Гетманов мог рассчитывать на большее назначение, люди с его партийным положением обычно, переходя на

военную работу, становились членами Военных советов армий, а иногда даже и фронтов.

Гетманов, получив назначение на корпус, встревожился и огорчился, узнавал через одного из своих друзей, члена Оргбюро ЦК, нет ли против него наверху недовольства. Но, казалось, ничего тревожного не имелось.

Тогда Гетманов, утешая себя, стал находить хорошие стороны в своем назначении — ведь танковым войскам предстоит решать судьбу войны, им предстоит выступить на решающих направлениях. В танковый корпус пошлют не каждого, скорей пошлют членом Военного совета в захудалую армию на второстепенный участок, чем в танковый корпус. Этим партия выразила ему доверие. Но все же он был огорчен: очень ему нравилось, надев форму и глядя в зеркало, произносить:

— Член Военного совета армии, бригадный комиссар Гетманов.

Почему-то наибольшее раздражение вызывал в нем командир корпуса полковник Новиков. Он еще ни разу не видел полковника, но все, что Гетманов знал и узнавал о нем, не нравилось ему.

Друзья, сидевшие с ним за столом, понимали его настроение, и все, что говорили они о его новом назначении, было приятно ему.

Сагайдак сказал, что корпус вероятней всего пошлют под Сталинград, что командующего Сталинградским фронтом генерала Еременко, товарищ Сталин знает со времен гражданской войны, еще по Первой конной армии, и часто говорит с ним по телефону ВЧ, а когда тот бывает в Москве, товарищ Сталин принимает его. Недавно командующий был на даче у товарища Сталина под Москвой, и беседа товарища Сталина с ним длилась два часа. Хорошо воевать под командованием человека, к которому с таким доверием относится товарищ Сталин.

Потом говорили, что Никита Сергеевич помнит Гетманова по работе на Украине и что большой удачей для Гетманова будет попасть на тот фронт, где Никита Сергеевич член Военного совета.

— Не случайно, — сказал Николай Терентьевич, — в Сталинград товарищ Сталин послал Никиту Сергеевича, фронт решающий, кого же послать?

Галина Терентьевна задорно сказала:

— А моего Дементия Трифоновича случайно, что ли, товарищ Сталин посылает в танковый корпус?

— Да уж, — сказал прямодушно Гетманов, — мне попасть на корпус — это вроде из первых секретарей обкома дорасти до секретаря райкома. Радость небольшая.

— Нет, нет, — серьезно сказал Сагайдак. — В этом назначении выражено доверие партии. Райком, да не простой, не сельский, а Магнитогорский, Днепродзержинский. Корпус, да не простой — танковый!

Машук сказал, что командира корпуса, куда комиссаром едет Гетманов, недавно назначили, он раньше не командовал соединениями. Об этом ему сказал работник фронтового особого отдела, приезжавший недавно в Уфу.

— Он мне еще вот что говорил, — сказал Машук и, сам себя перебивая, добавил: — Да что вам рассказывать, Дементий Трифонович, вы-то о нем, наверное, больше знаете, чем он сам о себе знает.

Гетманов узко сощурил и без того узкие, пронзительные, умные глаза, пошевелил мясистыми ноздрями и сказал:

— Ну уж больше.

Машук едва заметно усмехнулся, и все сидевшие за столом заметили его усмешку. Странное, удивительное дело, хоть приходился он шуряком и свояком семье Гетмановых и хоть был Машук при семейных встречах скромным, милым, любящим шутку человеком, а все же чувствовали Гетмановы какое-то напряжение, слушая его мягкий, вкрадчивый голос, глядя на темные, спокойные глаза и бледное, длинное лицо. И сам Гетманов, чувствуя это, не удивлялся, он понимал силу, стоящую за Машуком, знавшим что-то такое, чего и Гетманов подчас не знал.

— И что за человек? — спросил Сагайдак.

Гетманов снисходительно ответил:

— Да вот такой, выдвиженец военного времени, до войны ничем особым он не отличался.

— В номенклатуре не был? — сказал, улыбаясь, брат хозяйки.

— Ну, номенклатура. — Гетманов помахал рукой. — Но человек полезный, танкист, говорят, хороший. Начальником штаба корпуса — генерал Неудобнов. Я с ним на восемнадцатом съезде партии познакомился. Мужик толковый.

Машук сказал:

— Неудобнов, Илларион Иннокентьевич? Еще бы. Я у него работать начинал, потом судьба развела. Перед войной я с ним у Лаврентия Павловича в приемной встретился.

— Ну, развела, — улыбаясь, сказал Сагайдак. — Ты подходи диалектически, ищи тождество и единство, а не противоположность.

Машук сказал:

— По-чудачному все во время войны, полковник какой-то в комкоры, а Неудобнов к нему в подчинение идет!

— Военного опыта нет. Приходится считаться, — сказал Гетманов.

А Машук все удивлялся:

— Шутка, Неудобнов, да от одного его слова что зависело! Член партии с дореволюционным стажем, огромный опыт военной и государственной работы! Одно время думали, что он членом коллегии будет.

Остальные гости поддержали его.

Их сочувствие Гетманову сейчас было удобно выразить в соболезнованиях Неудобнову.

— Да, напутала война, скорей бы кончалась, — сказал брат хозяйки.

Гетманов поднял руку с растопыренными пальцами в сторону Сагайдака и сказал:

— Вы знали Крымова, московский, делал в Киеве доклад о международном положении на лекторской группе ЦК?

— Перед войной приезжал? Загибщика этого? В Коминтерне когда-то работал?

— Точно, он. Вот этот мой комкор собрался жениться на его бывшей жене.

Новость почему-то всех насмешила, хотя никто не знал ни бывшей жены Крымова, ни комкора, который собирался на ней жениться.

Машук сказал:

— Да, шуряк недаром первую закалку получил у нас в органах. И уж про женитьбу знает.

— Хватка есть, скажем прямо, — проговорил Николай Терентьевич.

— А как же... Верховное Главнокомандование ротозеев не жалует.

— Да, уж наш Гетманов не ротозей, — проговорил Сагайдак.

Машук сказал серьезно и буднично, словно перенесся в свой служебный кабинет:

— Крымова этого, еще когда он приезжал в Киев, помню, неясный. Понатыкано у него связей и с правыми и с троцкистами с самых давних времен. А разобраться-то, верно...

Он говорил просто и откровенно, казалось, так же просто, как мог говорить о своей работе директор трикотажной фабрики или преподаватель техникума. Но все понимали, что простота и свобода, с которой он говорил, были лишь кажущиеся, — он, как никто, знал, о чем можно, а о чем нельзя говорить. А Гетманов, сам любивший ошеломить собеседника смелостью, простотой и искренностью, хорошо знал о сокровенной глубине, молчавшей под поверхностью живого, непосредственного разговора.

Сагайдак, который бывал обычно занятей, озабоченней и серьезней других гостей, не хотел расставаться с легким настроением и весело объяснил Гетманову:

— Его и кинула жена, как недостаточно проверенного.

— Хорошо бы, если потому, — сказал Гетманов. — Но мне подобытся, что этот мой комкор женится на совершенно чуждом человеке.

— Ну и пусть, мне бы твои заботы, — сказала Галина Терентьевна. — Главное, чтобы любили друг друга.

— Любовь, конечно, основное — это все знают и помнят, — сказал Гетманов, — но, кроме того, есть еще вещи, которые некоторые советские люди забывают.

— Вот это верно, — сказал Машук, — а забывать нам ничего не положено.

— А потом удивляются, почему ЦК не утвердил, почему то, почему не то. А сами не дорожат доверием.

Вдруг Галина Терентьевна удивленно, нараспев произнесла:

— Странно даже слушать ваш разговор, и как будто войны нет, а только и заботы — на ком этот комкор женится, и кто бывший муж у его будущей жены. Ты с кем это, Дима, собрался воевать?

Она насмешливо посмотрела на мужчин, и красивые карие глаза ее казались чем-то похожи на узенькие глаза мужа, — должно быть, проницательностью и походили.

Грустным голосом Сагайдак проговорил:

— Да где там, про войну забыть... Отовсюду наши братья и сыны на войну идут — от последней колхозной хаты до Кремля. Война — и великая, и отечественная.

— У товарища Сталина — Василий, сын, летчик-истребитель, потом у товарища Микояна сын воюет в авиации, у Лаврентия Павловича, я слышал, сын тоже на фронте, только не знаю, какой род войск. Потом Тимур Фрунзе лейтенант, кажется, в пехоте... Потом у этой, у Долорес Ибаррури, сын под Сталинградом погиб.

— У товарища Сталина два сына на фронте, — сказал брат хозяйки. — Второй, Яков, артиллерийской батареей командовал. Вернее, он первый, Васька — младший, Яков — старший. Несчастный парень, в плен попал.

Он примолк, почувствовав, что коснулся предмета, о котором, по мнению старших товарищей, говорить не следует.

Желая смять молчание, Николай Терентьевич сказал прямодушно и беспечно:

— Между прочим, немцы кидают до конца лживые листовки, будто Яков Сталин дает им охотно показания.

Но пустота вокруг него стала еще неприятней. Он заговорил о том, о чем не следовало упоминать ни в шутку, ни всерьез, о чем полагалось молчать. Вздумай кто-либо возмутиться слухами об отношениях Иосифа Виссарионовича с женой, этот искренний опровергатель слухов совершил бы не меньшую оплошность, чем распространитель слухов, — самый разговор был недопустим.

Гетманов, вдруг повернувшись к жене, сказал:

— Сердце мое там, где дело взял в свои руки товарищ Сталин, да еще так крепко взял, там уж пусть немцы волнуются.

А Николай Терентьевич ловил взгляд Гетманова своим виноватым взглядом.

Но, конечно, не вздорные люди сидели за столом, не для того они встретились, чтобы из произошедшей неловкости создавать серьезную историю — дело.

Сагайдак проговорил с добродушной и товарищеской интонацией, поддерживая перед Гетмановым Николая Терентьевича:

— Вот это правильно, а мы давайте будем волноваться, чтобы глупостей не натворить на своем участке.

— И чтобы не болтать лишнего, — добавил Гетманов.

В том, что он почти прямо сказал свой упрек, а не промолчал, было выражено прощение Николаю Терентьевичу, и Сагайдак и Машук одобрительно кивнули.

Николай Терентьевич знал, что этот пустой, оплошный случай забудется, но знал, что забудется он не до конца. Когда-нибудь вдруг зайдет разговор о кадрах, о выдвижении, об особо ответственном поручении, и при имени Николая Терентьевича и Гетманов, и Сагайдак, и Машук закивают, но при этом чуть-чуть улыбнутся и на вопрос дотошного собеседника скажут: «Чуток, может быть, легкомыслен», — и покажут чуток на кончике мизинца.

В глубине души все понимали, что не так уж врут немцы насчет Якова. Но именно поэтому не следовало касаться этой темы.

Особенно хорошо разбирался в таких делах Сагайдак. Он долгое время работал в газете, сперва заведовал отделом информации, потом сельскохозяйственным отделом, затем около двух лет был редактором республиканской газеты. Он считал, что главная цель его газеты — воспитывать читателя, а не давать без разбору хаотическую информацию о самых различных, часто случайных, событиях. Если редактор Сагайдак считал целесообразным пройти мимо какого-либо события, замолчать жестокий недород, идейно не выдержанную поэму, формалистическую картину, падеж скота, землетрясение, гибель линкора, не видеть силы океанской волны, внезапно смывшей с земли тысячи людей, либо огромного пожара на шахте, — события эти не имели для него значения, казалось ему, не должны были занимать умы читателей, журналистов и писателей. Иногда ему надо было по-особому объяснить то или иное событие в жизни — случалось, что объяснение это бывало поразительно смелым, необычным, противоречило житейским представлениям. Ему казалось, что его редакторская сила, опыт, умение и выражались в том, что он умел доводить до сознания читателей нужные, служащие воспитательной цели взгляды.

Когда во время проведения сплошной коллективизации возникли грубые перегибы, Сагайдак до появления статьи Сталина «Головокружение от успехов» писал, что голод в период сплошной коллективизации произошел оттого, что кулаки назло закапывали зерно, назло не ели хлеба и от этого опухали, назло государству умирали целыми деревнями, с малыми ребятами, стариками и старухами.

И тут же помещал материалы о том, что в колхозных яслях детей ежедневно кормят куриным бульоном, пирожками и рисовыми котлетами. А дети сохли и опухали.

Началась война, одна из самых жестоких и страшных войн, выпавших России за 1000 лет ее жизни. И вот на протяжении особо жестоких испытаний первых недель, месяцев войны ее истребительный огонь поставил на первое место реальное, истинное, роковое течение событий, война определяла все судьбы, даже судьбы партии. Эта роковая пора миновала. И тотчас драматург Корнейчук объяснил в своей пьесе «Фронт», что неудачи войны были связаны с глупыми генералами, не умевшими выполнять указания Высшего, никогда не ошибавшегося командования.

В этот вечер не одному Николаю Терентьевичу суждено было пережить неприятные минуты. Машук, перелистывая большой альбом в кожаном переплете, на толстые картонные страницы которого были наклеены фотографии, вдруг так выразительно поднял брови, что все невольно потянулись к альбому. На фотографии был заснят Гетманов в своем довоенном обкомовском кабинете, — он сидел за просторным, как степь, письменным столом в гимнастерке полувоенного образца, а над ним висел портрет Сталина, такой огромный, какой может быть только в кабинете секретаря обкома. Лицо Сталина на портрете было размалевано цветными карандашами, к подбородку была пририсована синяя эспаньолка, на ушах висели голубые серьги.

— Ну что за мальчишка! — воскликнул Гетманов и даже по-бабьи как-то всплеснул руками.

Галина Терентьевна расстроилась, повторяла, оглядывая гостей:

— И ведь, знаете, вчера перед сном говорит: «Я дядю Сталина люблю, как папу».

— То ж детская шалость, — сказал Сагайдак.

— Нет, это не шалость, это злостное хулиганство, — вздохнул Гетманов.

Он посмотрел на Машука пытливыми глазами. И оба они в эту минуту вспомнили один и тот же довоенный случай, — племянник их земляка, студент-политехник, в общежитии стрельнул из духового ружья по портрету Сталина.

Они знали, что болван студент дурил, не имел никаких политических, террористических целей. Земляк, славный человек, директор МТС, просил Гетманова выручить племянника.

Гетманов после заседания бюро обкома заговорил с Машуком об этом деле.

Машук сказал:

— Дементий Трифонович, ведь мы не дети — виноват, не виноват, какое это имеет значение... А вот если прекращу это дело, завтра в Москву, может быть, самому Лаврентию Павловичу сообщат: либерально Машук отнесся к тому, что стреляют по портрету великого Сталина. Сегодня я в этом кабинете, а завтра — я лагерная пыль. Хотите на себя взять ответственность? И о вас скажут: сегодня по портрету, а завтра не

по портрету, а Гетманову чем-то этот парень симпатичен или поступок этот ему нравится? А? Возьмете на себя?

Через месяц или два Гетманов спросил у Машука:

— Ну как там тот стрелок?

Машук, глядя на него спокойными глазами, ответил:

— Не стоит о нем спрашивать, оказалось, мерзавец, кулацкий выродок, признался на следствии.

И сейчас Гетманов, пытливо глядя на Машука, повторил:

— Нет, не шалость это.

— Да ну уж, — проговорил Машук, — парню пятый год, возраст все же учитывать надо.

Сагайдак с такой душевностью, что все ощутили теплоту его слов, сказал:

— Прямо вам скажу, у меня не хватает силы быть принципиальным к детям... Надо бы, но не хватает духу. Я смотрю: были бы здоровы...

Все сочувственно посмотрели на Сагайдака. Он был несчастным отцом. Старший сын его, Виталий, еще учась в девятом классе, вел нехорошую жизнь, однажды его задержала милиция за участие в ресторанном дебоше, и отцу пришлось звонить заместителю наркома внутренних дел, тушить скандальную историю, в которой участвовали сыновья видных людей — генералов, академиков, дочь писателя, дочь наркома земледелия. Во время войны молодой Сагайдак захотел пойти в армию добровольцем, и отец устроил его в двухлетнее артиллерийское училище. Виталия оттуда исключили за недисциплинированность и пригрозили отправить с маршевой ротой на фронт.

Теперь молодой Сагайдак уже месяц учился в минометном училище, и никаких происшествий с ним не случалось — отец и мать радовались и надеялись, но в душе у них жила тревога.

Второй сын Сагайдака, Игорь, в двухлетнем возрасте болел детским параличом, и последствия этой болезни превратили его в калеку — он передвигался на костылях, сухие тонкие ножки его были бессильны. Игорек не мог учиться в школе, учителя приходили к нему на дом, учился он охотно и старательно.

Не было светила-невропатолога не только на Украине, но и в Москве, Ленинграде, Томске, с которым бы не советовались Сагайдаки об Игорьке. Не было нового заграничного лекарства, которого не добыл бы Сагайдак через торгпредства либо посольства. Он знал: за чрезмерность родительской любви его можно и должно упрекать. Но он одновременно знал, что грех его не смертный грех. Ведь и он, сталкиваясь с сильным отцовским чувством у некоторых областных работников, учитывал, что люди нового типа особо глубоко любят своих детей. Он знал — и ему простится знахарка, доставленная из Одессы на самолете к Игорьку, и травка, прибывшая в Киев фельдъегерским пакетом от какого-то священного дальневосточного деда.

— Наши вожди особые люди, — проговорил Сагайдак, — я не говорю о товарище Сталине, тут уж вообще не о чем говорить, но и ближайшие помощники его... Они умеют и в этом вопросе всегда ставить партию выше отцовского чувства.

— Да, они понимают: не с каждого спросишь такое, — сказал Гетманов и намекнул о суровости, которую проявил один из секретарей ЦК к своему проштрафившемуся сыну.

Разговор о детях пошел по-новому, задушевно и просто.

Казалось, вся внутренняя сила этих людей, вся их способность радоваться связаны лишь с тем, румяны ли их Танечки и Виталики, хорошие ли отметки приносят из школы, благополучно ли переходят с курса на курс их Владимиры и Людмилы.

Галина Терентьевна заговорила о своих дочерях:

— Светлана до четырех лет была плохого здоровья, — колиты, колиты, извелась девочка. А вылечили ее только одним — тертыми сырыми яблоками.

Гетманов проговорил:

— Сегодня перед школой она мне сказала: «Час с Зоей в классе называют генеральские дочки». А Зоя, нахалка, смеется: «Подумаешь, большая честь — генеральская дочь! У нас в классе маршальская дочь — это действительно!»

— Видите, — весело сказал Сагайдак, — на них не угодишь. Игорь днями мне заявил: «Третий секретарь — подумаешь, не велика птица».

Микола тоже мог рассказать о своих детях много смешного и веселого, но он знал, что ему не положено рассказывать о сметливости своих ребят, когда говорят о сметливости сагайдаковского Игоря и гетмановских дочерей.

Машук задумчиво сказал:

— У наших батьков в деревне с детьми просто было.

— А все равно любили детей, — сказал брат хозяйки.

— Любили, конечно, любили, но и драли, меня по крайней мере.

Гетманов проговорил:

— Вспомнил я, как покойный отец в пятнадцатом году на войну шел. Не шутите, он у меня до унтер-офицера дослужился, два Георгия имел. Мать собирала его, положила в мешок портянки, фуфайку, яичек крутых положила, хлебца, а мы с сестрой лежим на нарах и смотрим, как он на рассвете сидит в последний раз за столом. Наносил в кадушку, что в сенях стояла, воды, дров нарубил. Мать все вспоминала потом.

Он посмотрел на часы и сказал:

— Ого...

— Значит, завтра, — сказал Сагайдак и поднялся.

— В семь часов самолет.

— С гражданского? — спросил Машук.

Гетманов кивнул.

— Это лучше, — сказал Николай Терентьевич и тоже поднялся, — а то до военного пятнадцать километров.

— Какое это может иметь значение для солдата, — сказал Гетманов.

Они стали прощаться, снова зашумели, засмеялись, обнялись, а уж в коридоре, когда гости стояли в пальто и шапках, Гетманов проговорил:

— Ко всему солдат может привыкнуть, солдат дымом греется, солдат шилом бреется. Но вот жить в разлуке с детьми, к этому солдат привыкнуть не может.

И по голосу его, по выражению лица, по тому, как смотрели на него уходившие, видно было, что тут уж не шутят.

22

Ночью Дементий Трифонович, одетый в военную форму, писал, сидя за столом. Жена в халате сидела подле него, следила за его рукой. Он сложил письмо и сказал:

— Это заведующему крайздравом, если понадобится тебе спецлечение и выезд на консультацию. Пропуск брат тебе устроит, а он только даст направление.

— А доверенность на получение лимита ты написал? — спросила жена.

— Это не нужно, — ответил он, — позвони управляющему делами в обком, а еще лучше прямо самому Пузиченко, он сделает.

Он перебрал пачку написанных писем, доверенностей, записок и сказал:

— Ну, как будто все.

Они помолчали.

— Боюсь я за тебя, мой коханый, — сказала она. — Ведь на войну идешь.

Он встал, проговорил:

— Береги себя, детей береги. Коньяк в чемодан положила?

Она сказала:

— Положила, положила. Помнишь, года два назад ты так же на рассвете дописывал мне доверенности, улетал в Кисловодск?

— Теперь в Кисловодске немцы, — сказал он.

Гетманов прошелся по комнате, прислушался:

— Спят?

— Конечно, спят, — сказала Галина Терентьевна.

Они прошли в комнату к детям. Странно было, как эти две полные,

массивные фигуры бесшумно движутся в полутьме. На белом полотне подушек темнели головы спящих детей. Гетманов вслушался в их дыхание.

Он прижал ладонь к груди, чтобы не потревожить спящих гулкими ударами сердца. Здесь, в полумраке, он ощущал щемящее и пронзительное чувство нежности, тревоги, жалости к детям. Страстно хотелось обнять сына, дочерей, поцеловать их заспанные лица. Здесь ощущал он беспомощную нежность, нерассуждающую любовь, и здесь он терялся, стоял смущенный, слабый.

Его не пугали и не волновали мысли о предстоящей новой для него работе. Ему часто приходилось браться за новую работу, он легко находил ту правильную линию, которая и была главной линией. Он знал — и в танковом корпусе он сумеет осуществить эту линию.

Но здесь как связать железную суровость, непоколебимость с нежностью, с любовью, не знающей ни закона, ни линии.

Он оглянулся на жену. Она стояла, по-деревенски подперев щеку ладонью. В полумраке лицо ее казалось похудевшим, молодым, такой была она, когда они в первый раз после женитьбы поехали к морю, жили в санатории «Украина» над самым береговым обрывом.

Под окном деликатно прогудел автомобиль — это пришла обкомовская машина. Гетманов снова повернулся к детям и развел руками, в этом жесте выражалась его беспомощность перед чувством, с которым не мог он совладать.

В коридоре он после прощальных слов и поцелуев надел полушубок, папаху, стоял, выжидая, пока водитель машины вынесет чемоданы.

— Ну вот, — сказал он и вдруг снял с головы папаху, шагнул к жене, снова обнял ее. И в этом новом, последнем прощании, когда сквозь полуоткрытую дверь, смешиваясь с домашним теплом, входил сырой и холодный уличный воздух, когда шершавая, дубленая шкура полушубка прикоснулась к душистому шелку халата, оба они ощутили, что их жизнь, казавшаяся единой, вдруг раскололась, и тоска ожгла их сердца.

23

Евгения Николаевна Шапошникова поселилась в Куйбышеве у старушки-немки Женни Генриховны Генрихсон, в давние времена служившей воспитательницей в доме Шапошниковых.

Странным казалось Евгении Николаевне после Сталинграда очутиться в тихой комнатке рядом со старухой, все удивлявшейся, что маленькая девочка с двумя косами стала взрослой женщиной.

Жила Женни Генриховна в полутемной комнатке, когда-то отведенной для прислуги в большой купеческой квартире. Теперь в каждой комнате жила семья, и каждая комната делилась с помощью ширмочек, занавесок, ковров, диванных спинок на уголки и закуты, где спали, обедали, принимали гостей, где медицинская сестра делала уколы парализованному старику.

Кухня по вечерам гудела голосами жильцов.

Евгении Николаевне нравилась эта кухня с прокопченными сводами, красно-черный огонь керосинок.

Среди белья, сохнувшего на веревках, шумели жильцы в халатах, ватниках, гимнастерках, сверкали ножи. Клубили пар стиральщицы, склонясь над корытами и тазами. Просторная плита никогда не топилась, ее обложенные кафелем бока холодно белели, как снежные склоны потухшего в прошлую геологическую эпоху вулкана.

В квартире жила семья ушедшего на фронт рабочего-грузчика, врач-гинеколог, инженер с номерного завода, мать-одиночка — кассир из распределителя, вдова убитого на фронте парикмахера, комендант почтамта, а в самой большой комнате, бывшей гостиной, жил директор поликлиники.

Квартира была обширна, как город, и в ней даже имелся свой квартирный сумасшедший — тихий старичок с глазами милого доброго щенка.

Жили люди тесно, но разобщенно, не очень дружно, обижаясь, мирясь, утаивая друг от друга свою жизнь и тут же шумно и щедро делясь с соседями всеми обстоятельствами своей жизни.

Евгении Николаевне хотелось нарисовать не предметы, не жильцов, а чувство, которое вызывали они в ней.

Это чувство было сложно и многотрудно, казалось, и великий художник не смог бы выразить его. Оно возникало от соединения могущественной военной силы народа и государства с этой темной кухней, нищетой, сплетнями, мелочностью, соединения разящей военной стали с кухонными кастрюлями, картофельной шелухой.

Выражение этого чувства ломало линию, искажало очертания, выливалось в какую-то внешне бессмысленную связь расколотых образов и световых пятен.

Старушка Генрихсон была существом робким, кротким и услужливым. Она носила черное платье с белым воротничком, ее щеки были постоянно румяны, хотя она всегда ходила полуголодная.

В ее голове жили воспоминания о выходках первоклассницы Людмилы, о смешных словах, которые говорила маленькая Маруся, о том, как двухлетний Митя входил в столовую в передничке и, всплескивая руками, кричал: «Бабедать, бабедать!»

Ныне Женни Генриховна служила в семье женщины — зубного врача приходящей домработницей, ухаживала за больной матерью хозяйки. Хозяйка ее выезжала на пять-шесть дней в район по путевкам горздрава, и тогда Женни Генриховна ночевала в ее доме, чтобы помогать беспомощной старухе, едва передвигавшей ноги после недавнего инсульта.

В ней совершенно отсутствовало чувство собственности, она все время извинялась перед Евгенией Николаевной, просила у нее разрешения открыть форточку в связи с эволюциями ее старого трехцветного кота. Главные ее интересы и волнения были связаны с котом — как бы не обидели его соседи.

Сосед по квартире, инженер Драгин, начальник цеха, со злой насмешкой смотрел на ее морщинистое лицо, на девственно стройный, иссушенный стан, на ее пенсне, висевшее на черном шнурочке. Его плебейская натура возмущалась тем, что старуха осталась предана воспоминаниям прошлого и с идиотски блаженной улыбкой рассказывала, как она возила своих дореволюционных воспитанников гулять в карете, как сопровождала «мадам» в Венецию, Париж и Вену. Многие из «крошек», взлелеянных ею, стали деникинцами, врангелевцами, были убиты красными ребятами, но старушку интересовали лишь воспоминания о скарлатине, дифтерии, колитах, которыми страдали малыши.

Евгения Николаевна говорила Драгину:

— Более незлобивого, безответного человека я не встречала. Поверьте, она добрей всех, кто живет в этой квартире.

Драгин пристально, по-мужски откровенно и нахально вглядываясь в глаза Евгении Николаевны, отвечал:

— Пой, ласточка, пой. Продались вы, товарищ Шапошникова, немцам за жилплощадь.

Женни Генриховна, видимо, не любила здоровых детей. О своем самом хилом воспитаннике, сыне еврея-фабриканта, она особенно часто рассказывала Евгении Николаевне, хранила его рисунки, тетрадки и начинала плакать каждый раз, когда рассказ доходил до того места, где описывалась смерть этого тихого ребенка.

У Шапошниковых она жила много лет назад, но помнила все детские имена и прозвища и заплакала, узнав о смерти Маруси; она все писала каракулями письмо Александре Владимировне в Казань, но никак не могла его закончить.

Щучью икру она называла «кавиар» и рассказывала Жене, как ее дореволюционные воспитанники получали на завтрак чашку крепкого бульона и ломтик оленины.

Свой паек она скармливала коту, которого звала: «Мое дорогое, серебряное дитя». Кот в ней души не чаял и, будучи грубой, угрюмой скотиной, завидя старуху, внутренне преображался, становился ласков, весел.

Драгин все спрашивал ее, как она относится к Гитлеру: «Что, небось рады?», но хитрая старушка объявила себя антифашисткой и звала фюрера людоедом.

Ко всему была она совершенно никчемна — не умела стирать, варить,

а когда шла в магазин, то обязательно при покупке спичек продавец впопыхах срезал с ее карточки месячное довольствие сахара или мяса.

Современные дети совсем не походили на ее воспитанников того времени, которое она называла «мирным». Все изменилось, даже игры — девочки «мирного» времени играли в серсо, лакированными палочками со шнурком бросали резиновое диаболо, играли вялым раскрашенным мячом, который носили в белой сеточке — авоське. А нынешние играли в волейбол, плавали саженками, а зимой в лыжных штанах играли в хоккей, кричали и свистели.

Они знали больше Женни Генриховны об алиментах, абортах, мошеннически приобретенных и прикрепленных рабочих карточках, о старших лейтенантах и подполковниках, привозивших с фронта жиры и консервы чужим женам.

Евгения Николаевна любила, когда старая немка вспоминала об ее детских годах, ее отце, о брате Дмитрии, которого Женни Генриховна особенно хорошо помнила, — он при ней болел коклюшем и дифтеритом.

Однажды Женни Генриховна сказала:

— Мне вспоминаются мои последние хозяева в семнадцатом году. Мосье был товарищем министра финансов — он ходил по столовой и говорил: «Все погибло, имения жгут, фабрики остановились, валюта рухнула, сейфы ограблены». И вот, как теперь у вас, вся семья распалась. Мосье, мадам и мадемуазель уехали в Швецию, мой воспитанник пошел добровольцем к генералу Корнилову, мадам плакала: «Целые дни мы прощаемся, пришел конец».

Евгения Николаевна печально улыбнулась и ничего не ответила.

Однажды вечером явился участковый и вручил Женни Генриховне повестку. Старая немка надела шляпку с белым цветком, попросила Женечку покормить кота — она отправилась в милицию, а оттуда на работу к мамаше зубного врача, обещала вернуться через день. Когда Евгения Николаевна пришла с работы, она застала в комнате разор, соседи ей сказали, что Женни Генриховну забрала милиция.

Евгения Николаевна пошла узнавать о ней. В милиции ей сказали, что старуха уезжает с эшелоном немцев на север.

Через день пришли участковый и управдом, забрали опечатанную корзину, полную старого тряпья, пожелтевших фотографий и пожелтевших писем.

Женя пошла в НКВД, чтобы узнать, как передать старушке теплый платок. Человек в окошке спросил Женю:

— А вы кто, немка?

— Нет, я русская.

— Идите домой. Не беспокойте людей справками.

— Я ведь о зимних вещах.

— Вам ясно? — спросил человек в окошечке таким тихим голосом, что Евгения Николаевна испугалась.

В этот же вечер она слышала разговор жильцов на кухне — они говорили о ней.

Один голос сказал:

— Все же некрасиво она поступила.

Второй голос ответил:

— А по-моему, умница. Сперва одну ногу поставила, потом сообщила о старухе куда надо, выперла ее и теперь хозяйка комнаты.

Мужской голос сказал:

— Какая комната: комнатушка.

Четвертый голос сказал:

— Да, такая не пропадет, и с такой не пропадешь.

Печальной оказалась судьба кота. Он сидел сонный, подавленный на кухне в то время, как люди спорили, куда его девать.

— К черту этого немца, — говорили женщины.

Драгин неожиданно объявил, что готов участвовать в кормежке кота. Но кот недолго прожил без Женни Генриховны — одна из соседок то ли случайно, то ли с досады ошпарила его кипятком, и он умер.

24

Евгении Николаевне нравилась ее одинокая жизнь в Куйбышеве.

Никогда, пожалуй, она не была так свободна, как сейчас. Ощущение легкости и свободы возникло у нее, несмотря на тяжесть жизни. Долгое время, пока не удалось ей прописаться, она не получала карточек и ела один раз в день в столовой по обеденным талонам. С утра она думала о часе, когда войдет в столовку и ей дадут тарелку супа.

Она в эту пору мало думала о Новикове. О Крымове она думала чаще и больше, почти постоянно, но внутренняя, сердечная светосила этих мыслей была невелика.

Память о Новикове вспыхивала и исчезала, не томила.

Но однажды на улице она издали увидела высокого военного в длинной шинели, и ей на мгновение показалось, что это Новиков. Ей стало трудно дышать, ноги ослабели, она растерялась от счастливого чувства, охватившего ее. Через минуту она поняла, что обозналась, и сразу же забыла свое волнение.

А ночью она внезапно проснулась и подумала:

«Почему он не пишет, ведь он знает адрес?»

Она жила одна, возле не было ни Крымова, ни Новикова, ни родных. И ей казалось, что в этом свободном одиночестве и есть счастье. Но ей это только казалось.

В Куйбышеве в это время находились многие московские наркоматы, учреждения, редакции московских газет. Это была временная, эвакуированная из Москвы столица, с дипломатическим корпусом, с балетом Большого театра, со знаменитыми писателями, с московскими конферансье, с иностранными журналистами.

Все эти тысячи московских людей ютились в комнатушках, в номерах гостиниц, в общежитиях и занимались обычными для себя делами — заведующие отделами, начальники управлений и главных управлений, наркомы руководили подведомственными им людьми и народным хозяйством, чрезвычайные и полномочные послы ездили на роскошных машинах на приемы к руководителям советской внешней политики; Уланова, Лемешев, Михайлов радовали зрителей балета и оперы; господин Шапиро — представитель агентства «Юнайтед Пресс», задавал на пресс-конференциях каверзные вопросы начальнику Совинформбюро Соломону Абрамовичу Лозовскому; писатели писали заметки для отечественных и зарубежных газет и радио; журналисты писали на военные темы по материалам, собранным в госпиталях.

Но быт московских людей стал здесь совершенно иным — леди Крипс, жена чрезвычайного и полномочного посла Великобритании, уходя после ужина, который она получала по талону в гостиничном ресторане, заворачивала недоеденный хлеб и кусочки сахара в газетную бумагу, уносила с собой в номер; представители мировых газетных агентств ходили на базар, толкаясь среди раненых, длинно обсуждали качество самосада, крутя пробные самокрутки, либо стояли, переминаясь с ноги на ногу, в очереди к бане; писатели, знаменитые хлебосольством, обсуждали мировые вопросы, судьбы литературы за рюмкой самогона, закусывали пайковым хлебом.

Огромные учреждения втискивались в тесные куйбышевские этажи; руководители главных советских газет принимали посетителей за столами, на которых в послеслужебное время дети готовили уроки, а женщины занимались шитьем.

В этой смеси государственной громады с эвакуационной богемой было нечто привлекательное.

Евгении Николаевне пришлось пережить много волнений в связи с пропиской.

Начальник конструкторского бюро, в котором она начала работать, подполковник Ризин, высокий мужчина с тихим, журчащим голосом, с первых же дней стал вздыхать об ответственности начальника, принявшего работника с неоформленной пропиской. Ризин велел ей пойти в милицию, выдал справку о зачислении на работу.

Сотрудник районного отделения милиции взял у Евгении Николаевны паспорт и справки, велел прийти за ответом через три дня.

В назначенный день Евгения Николаевна вошла в полутемный коридор, где сидели ожидавшие приема люди с тем особым выражением лица, какое бывает лишь у пришедших в милицию по поводу паспортных и прописочных дел. Она подошла к окошечку. Женская рука с ногтями, покрытыми черно-красным лаком, протянула ей паспорт, спокойный голос сказал ей:

— Вам отказано.

Она заняла очередь, чтобы поговорить с начальником паспортного стола. Люди в очереди разговаривали шепотом, оглядываясь на проходивших по коридору служащих девиц с накрашенными губами, одетых в ватники и сапоги. Поскрипывая сапогами, неторопливо прошел человек в демисезонном пальто и в кепке, с выглядывавшим из-под кашне воротом военной гимнастерки, открыл ключиком то ли английский, то ли французский замок в двери — это был Гришин, начальник паспортного стола. Начался прием. Евгения Николаевна заметила, что люди, дождавшись своей очереди, не радовались, как это обычно бывает после долгого ожидания, а, подходя к двери, озирались, словно собираясь в последнюю минуту бежать.

За время ожидания Евгения Николаевна наслушалась рассказов о дочерях, которых не прописали у матерей, о парализованной, которой было отказано в прописке у брата, о женщине, приехавшей ухаживать за инвалидом войны и не получившей прописки.

Евгения Николаевна вошла в кабинет Гришина. Он молча указал ей на стул, посмотрел ее бумаги, сказал:

— Вам ведь отказано, чего же вы хотите?

— Товарищ Гришин, — проговорила она, и голос ее дрожал. — Поймите, ведь все это время мне не выдают карточек.

Он смотрел на нее неморгающими глазами, его широкое молодое лицо выражало задумчивое равнодушие.

— Товарищ Гришин, — проговорила она, и голос ее дрожал. — Подумайте сами, как получается. В Куйбышеве есть улица имени Шапошникова. Это мой отец, он один из зачинателей революционного движения в Самаре, а дочери его вы отказываете в прописке.

Спокойные глаза смотрели на нее: он слушал то, что она говорила.

— Вызов нужен, — сказал он. — Без вызова не пропишу.

— Я ведь работаю в военном учреждении, — сказала Женя.

— По вашим справкам этого не видно.

— А это поможет?

Он неохотно ответил:

— Возможно.

Утром Евгения Николаевна, придя на работу, сказала Ризину, что ей отказано в прописке. Он развел руками, зажурчал:

— Ах, дурачье, неужели не понимают, что вы для нас с первых дней стали необходимым работником, что вы выполняете работу оборонного характера.

— Вот-вот, — сказала Женя. — Он сказал, что надо справку о том, что наше учреждение подведомственно Наркомату обороны. Очень прошу вас, напишите, я вечером пойду с ней в милицию.

Через некоторое время Ризин подошел к Жене и виноватым голосом сказал:

— Надо, чтобы органы милиции прислали запрос. Без запроса мне запрещено писать подобную справку.

Вечером она пошла в милицию и, высидев в очереди, ненавидя себя за искательную улыбку, стала просить Гришина запросить справку у Ризина.

— Никаких запросов я не собираюсь писать, — сказал Гришин.

Ризин, услышав об отказе Гришина, заохал, проговорил задумчиво:

— Знаете что, попросите его, пусть хотя бы по телефону меня запросит.

На следующий вечер Жене предстояла встреча с московским литератором Лимоновым, когда-то знавшим ее отца. Сразу же после работы она пошла в милицию, стала просить у сидевших в очереди, чтобы ей разрешили зайти к начальнику паспортного стола «буквально на минуточку», лишь задать вопрос. Люди пожимали плечами, отводили глаза. Она с обидой сказала:

— Ах так, ну что ж, кто последний?

В этот день милицейские впечатления Жени были особенно тяжелыми. У женщины с отечными ногами в комнате у начальника паспортного стола сделался припадок, она громко вскрикивала: «Я вас умоляю, я вас умоляю». Безрукий ругался у Гришина в комнате матерными словами, следующий за ним тоже шумел, донеслись его слова: «Не уйду». Но ушел он очень быстро. Во время этого шума одного лишь Гришина не было слышно, он ни разу не повысил голоса, казалось, его не было — люди одни сами по себе кричали, грозились.

Она просидела в очереди полтора часа и снова, ненавидя свое ласковое лицо и свое торопливое «большое спасибо», ответившие на малый кивок: «Садитесь», стала просить Гришина позвонить по телефону ее начальнику, — Ризин сперва сомневался, имеет ли он право дать справку без письменного запроса за номером и печатью, но потом согласился, — он напишет справку, указав: «В ответ на ваш устный запрос от такого-то числа такого-то месяца».

Евгения Николаевна положила перед Гришиным заранее заготовленную бумажку, где крупным выпуклым почерком она написала номер телефона, имя, отчество Ризина, его звание, его должность, а мелким почерком, в скобках: «Обеденный перерыв от и до». Но Гришин не взглянул на бумажку, положенную перед ним, сказал:

— Никаких запросов я делать не буду.

— Но почему же? — спросила она.

— Не положено.

— Подполковник Ризин говорит, что без запроса, хотя бы устного, он не имеет права давать справки.

— Раз не имеет права, пусть не пишет.

— Но как же мне быть?

— А я почем знаю.

Женя терялась от его спокойствия, если б он сердился, раздражался ее бестолковостью, казалось, было бы легче. А он сидел, повернувшись вполоборота, не шевельнув веком, никуда не спешил.

Мужчины, разговаривая с Евгенией Николаевной, всегда замечали, что она красива, она всегда ощущала это. Но Гришин смотрел на нее так же, как на старух со слезящимися глазами и на инвалидов, — входя в его комнату, она уже не была человеком, молодой женщиной, лишь носителем просьбы.

Она терялась от своей слабости, от огромности его железобетонной силы. Евгения Николаевна шла по улице, спешила, опоздав к Лимонову больше чем на час, но, спеша, она уже не радовалась предстоящей встрече. Она ощущала запах милицейского коридора, в глазах ее стояли лица ожидавших, портрет Сталина, освещенный тусклым электричеством, и рядом Гришин. Гришин, спокойный, простой, вобравший в свою смертную душу всесилие государственного гранита.

Лимонов, толстый и высокий, большеголовый, с молодыми юношескими кудрями вокруг большой лысины, встретил ее радостно.

— А я боялся, что вы не придете, — говорил он, помогая снять Жене пальто.

Он стал расспрашивать ее об Александре Владимировне:

— Ваша мама еще со студенческих времен для меня стала образцом русской женщины с мужественной душой. Я о ней всегда в книгах пишу, то есть не собственно о ней, а вообще, словом, вы понимаете.

Понизив голос и оглянувшись на дверь, он спросил:

— Слышно ли что-нибудь о Дмитрии?

Потом они заговорили о живописи и вдвоем стали ругать Репина. Лимонов принялся жарить яичницу на электроплитке, сказал, что он лучший специалист по омлетам в стране, — повар из ресторана «Националь» учился у него.

— Ну как? — с тревогой спросил он, угощая Женю, и, вздохнув, добавил: — Грешен, люблю пожрать.

Как велик был гнет милицейских впечатлений! Придя в теплую, полную книг и журналов комнату Лимонова, куда вскоре пришли еще двое

пожилых остроумных, любящих искусство людей, она все время холодеющим сердцем чувствовала Гришина.

Но велика сила свободного, умного слова, и Женя минутами забывала о Гришине, о тоскливых лицах в очереди. Казалось, ничего нет в жизни, кроме разговоров о Рублеве, о Пикассо, о стихах Ахматовой и Пастернака, драмах Булгакова.

Она вышла на улицу и сразу же забыла умные разговоры.

Гришин, Гришин... В квартире никто не говорил с ней о том, прописана ли она, никто не требовал предъявления паспорта с штампом о прописке. Но уже несколько дней ей казалось, что за ней следит старшая по квартире Глафира Дмитриевна, длинноносая, всегда ласковая, юркая женщина с вкрадчивым, беспредельно фальшивым голосом. Каждый раз сталкиваясь с Глафирой Дмитриевной и глядя в ее темные, одновременно ласковые и угрюмые глаза, Женя пугалась. Ей казалось, что в ее отсутствие Глафира Дмитриевна с подобранным ключом забирается к ней в комнату, роется в ее бумагах, снимает копии с ее заявлений в милицию, читает письма.

Евгения Николаевна старалась бесшумно открывать дверь, ходила по коридору на цыпочках, боясь встретить старшую по квартире. Вот-вот та скажет ей: «Что это вы нарушаете законы, а я за вас отвечать должна?»

Утром Евгения Николаевна вошла в кабинет к Ризину, рассказала ему о своей очередной неудаче в паспортном столе.

— Помогите мне достать билет на пароход до Казани, а то меня, вероятно, погонят на торфоразработки за нарушение паспортного режима.

Она больше не просила его о справке, говорила насмешливо, зло.

Большой красивый человек с тихим голосом смотрел на нее, стыдясь своей робости. Она постоянно чувствовала на себе его тоскующий, нежный взгляд, он оглядывал ее плечи, ноги, шею, затылок, и она плечами, затылком чувствовала этот настойчивый, восхищенный взгляд. Но сила закона, определяющего движения исходящих и входящих бумаг, видимо, была нешуточная сила.

Днем Ризин подошел к Жене и молча положил на чертежный лист заветную справку.

Женя так же молча посмотрела на него, и слезы выступили на ее глазах.

— Я запросил через секретную часть, — сказал Ризин, — но не надеялся и вдруг получил санкцию начальника.

Сотрудники поздравляли ее, говорили: «Наконец-то кончились ваши мучения».

Она пошла в милицию. Люди в очереди кивали ей, некоторые стали ей знакомы, спрашивали: «Ну как?..»

Несколько голосов произнесли: «Пройдите без очереди... у вас ведь минутное дело, чего же опять ждать два часа».

Конторский стол, несгораемый шкаф, грубо раскрашенный под дерево коричневыми разводами, не показались ей такими угрюмыми, казенными.

Гришин смотрел, как торопливые пальцы Жени положили перед ним нужную бумагу, едва заметно, удовлетворенно кивнул:

— Ну что ж, оставьте паспорт, справки, через три дня в приемные часы получите документы в регистратуре.

Голос его звучал по-обычному, но светлые глаза Гришина, показалось Жене, приветливо улыбнулись.

Она шла к дому и думала, что Гришин оказался таким же человеком, как все, — смог сделать хорошее и улыбнулся. Он оказался не бессердечен — и ей стало неловко за все то плохое, что она думала о начальнике паспортного стола.

Через три дня большая женская рука с черно-красными лакированными ногтями протянула ей из окошечка паспорт с аккуратно вложенными в него бумагами. Женя прочла четким почерком написанную резолюцию: «В прописке отказать, как не имеющей отношения к данной жилплощади».

— Сукин сын, — громко сказала Женя и, не имея силы сдержаться, продолжала: — Издеватель, бездушный мучитель!

Она говорила громко, потрясая в воздухе непрописанным паспортом, обращаясь к сидевшим в очереди людям, хотела их поддержки, но видела, как они отворачивались от нее. Дух бунтовщицы вспыхнул на миг в ней, дух отчаяния и бешенства. Вот так же кричали иногда обезумевшие от отчаяния женщины в очередях тридцать седьмого года, стоя за справками об осужденных без права переписки в полутемном зале Бутырской тюрьмы, на Матросской Тишине, в Сокольниках.

Милиционер, стоявший в коридоре, взял Женю за локоть, стал толкать ее к двери.

— Пустите меня, не трогайте! — И она вырвала руку, оттолкнула его от себя.

— Гражданка, — сипло сказал он, — прекратите, не вынуждайте на десять лет!

Ей показалось, что в глазах милиционера мелькнуло сочувственное, жалостливое выражение.

Она быстро пошла к выходу. По улице, толкая ее, шли люди, все они были прописаны, имели прикрепленные к распределителям карточки...

Ночью ей снился пожар, она наклонилась над лежащим раненым человеком, уткнувшимся лицом в землю, пыталась тащить его и понимала, хотя не видела его лица, что это Крымов.

Она проснулась измученная, подавленная.

«Хоть бы скорей он приехал, — подумала она, одеваясь, бормотала: — Помоги мне, помоги мне».

И ей страстно, до боли захотелось увидеть не Крымова, которого ночью спасала, а Новикова, таким, каким видела его летом в Сталинграде.

Эта бесправная жизнь без прописки, без карточек, в вечном страхе перед дворником, управдомом, старшей по квартире Глафирой Дмитриевной была тяжела, невыносимо мучила. Женя пробиралась на кухню, когда все спали, утром старалась умываться до того, как проснутся жильцы. А когда жильцы с ней заговаривали, голос у нее становился какой-то противно ласковый, не свой, как у баптистки.

Днем Женя написала заявление об уходе со службы.

Она слышала, что после отказа в паспортном отделе является участковый и берет подписку о выезде из Куйбышева в трехдневный срок. В тексте подписки говорилось: «Лица, виновные в нарушении паспортного режима, подлежат...» Женя не хотела «подлежать...». Она примирилась с тем, что ей нужно выбыть из Куйбышева. Сразу стало спокойней на душе, мысль о Гришине, о Глафире Дмитриевне, о ее мягких, как гнилые маслины, глазах перестала томить, пугать. Она отказалась от беззакония, подчинилась закону.

Когда она написала заявление и собиралась нести его Ризину, ее позвали к телефону — звонил Лимонов.

Он спросил ее, свободна ли она завтра вечером, приехал человек из Ташкента и очень смешно рассказывает о тамошней жизни, привез Лимонову привет от Алексея Толстого. Снова пахнуло на нее другой жизнью.

Женя, хотя не собиралась делать этого, рассказала Лимонову о своих делах с пропиской.

Он слушал ее, не перебивая, потом сказал:

— Вот история, даже любопытно: у папы собственная улица в Куйбышеве, а дочку вышибают, отказывают в прописке. Занятно. Занятно.

Он подумал немного и сказал:

— Вот что, Евгения Николаевна, вы свое заявление сегодня не подавайте, я вечером буду на совещании у секретаря обкома и расскажу о вашем деле.

Женя поблагодарила, но подумала, что Лимонов забудет о ней тут же, положив телефонную трубку. Но все же заявление она Ризину не подала, а лишь спросила, сможет ли он через штаб Военного округа достать ей билет на пароход до Казани.

— Это-то проще простого, — сказал Ризин и развел руками. — Беда с органами милиции. Да что поделаешь, Куйбышев на особом режиме, у них есть спецуказание.

Он спросил ее:

— Вы свободны сегодня вечером?

— Нет, занята, — сердито ответила Женя.

Она шла домой и думала, что скоро увидит мать, сестру, Виктора Павловича, Надю, что в Казани ей будет лучше, чем в Куйбышеве. Она удивлялась, почему так огорчалась, замирала от страха, входя в милицию. Отказали — и наплевать... А если Новиков пришлет письмо, можно ведь попросить соседей — перешлют в Казань.

Утром, едва она пришла на работу, ее вызвали к телефону, и чей-то любезный голос попросил ее зайти в паспортный стол городской милиции оформить прописку.

25

У Жени завязалось знакомство с одним из жильцов квартиры — Шаргородским. Когда Шаргородский резко поворачивался, казалось, большая, седая алебастровая голова его сорвется с тонкой шеи и с грохотом упадет на пол. Женя заметила, что бледная кожа на лице старика отливала мягкой голубизной. Это соединение голубизны кожи и холодной голубизны глаз очень занимало Женю; старик происходил из высокого дворянства, и ее смешила мысль о том, что старика нужно рисовать голубым.

Владимир Андреевич Шаргородский до войны жил хуже, чем во время войны. Сейчас у него появилась кое-какая работа. Совинформбюро заказывало ему заметки о Дмитрии Донском, Суворове, Ушакове, о традициях русского офицерства, о поэтах девятнадцатого века — Тютчеве, Баратынском...

Владимир Андреевич сказал Жене, что по материнской линии он родня стариннейшему, более древнему, чем Романовы, княжескому роду.

Юношей он служил в губернском земстве и проповедовал среди помещичьих сыновей, сельских учителей и молодых священников совершеннейшее вольтерьянство и чаадаевщину.

Владимир Андреевич рассказал Жене о своем разговоре с губернским предводителем дворянства — это было сорок четыре года назад. «Вы, представитель одного из старинных родов России, взялись доказывать мужикам, что ведете происхождение от обезьяны. Мужик вас спросит — а великие князья? А наследник цесаревич? А государыня? А сам государь?..»

Владимир Андреевич продолжал смущать умы, и дело кончилось тем, что его выслали в Ташкент. Спустя год его простили, и он уехал в Швейцарию. Там он встретился со многими революционными деятелями — чудаковатого князя знали и большевики, и меньшевики, и эсеры, и анархисты. Он ходил на диспуты и вечеринки, с некоторыми был приятен, но ни с кем не соглашался. В ту пору он дружил со студентом-евреем, чернобородым буидовцем Липецом.

Незадолго до первой мировой войны он вернулся в Россию и поселился у себя в имении, изредка печатал статьи на исторические и литературные темы в «Нижегородском Листке».

Хозяйством он не занимался, имением правила его мать.

Шаргородский оказался единственный помещик, имение которого не тронули крестьяне. Комбед даже выделил ему подводу дров и выдал сорок головок капусты. Владимир Андреевич сидел в единственной отапливаемой и застекленной комнате дома, читал и писал стихи. Одно стихотворение он прочел Жене. Оно называлось «Россия»:

Безумная беспечность
На все четыре стороны.
Равнина. Бесконечность.
Кричат зловеще вороны.

Разгул. Пожары. Скрытность.
Тупое безразличие.
И всюду самобытность
И жуткое величие.

Читал он, бережно произнося слова и расставляя точки, запятые, высоко поднимая свои длинные брови, отчего, однако, его просторный лоб не казался меньше.

В 1926 году Шаргородский вздумал читать лекции по истории русской литературы, опровергал Демьяна Бедного и прославлял Фета, выступал на дискуссиях о красоте и правде жизни, которые были тогда модны, он объявил себя противником всякого государства, объявил марксизм ограниченным учением, говорил о трагической судьбе русской души, договорился и доспорился до того, что на казенный счет вновь уехал в Ташкент. Там жил он, удивляясь силе географических аргументов в теоретическом споре, и лишь в конце 1933 года получил разрешение переехать в Самару, к своей старшей сестре Елене Андреевне. Она умерла незадолго до войны.

К себе в комнату Шаргородский не приглашал никогда. Но однажды Женя заглянула в княжьи покои: груды книг и старых газет высились холмами по углам, старинные кресла громоздились друг на дружке почти до самого потолка, портреты в золоченых рамах стояли на полу. На крытом красным бархатом диване лежало смятое, с вылезающими комьями ваты одеяло.

Это был человек мягкий, беспомощный в делах практической жизни. О таких людях принято говорить — детской души человек, ангельской доброты. Но он мог равнодушно пройти, бормоча свои любимые стихи, мимо голодного ребенка либо оборванной старухи, протягивающей руку за куском хлеба.

Слушая Шаргородского, Женя часто вспоминала своего первого мужа, уж очень не походил старый поклонник Фета и Владимира Соловьева на коминтерновца Крымова.

Ее поражало, что Крымов, равнодушный к прелести русского пейзажа и русской сказки, фетовского и тютчевского стиха, был таким же русским человеком, как старик Шаргородский. Все, что с юности было дорого Крымову в русской жизни, имена, без которых не мыслил он себе России, все это было безразлично, а иногда и враждебно Шаргородскому.

Для Шаргородского Фет был богом, и прежде всего русским богом. И так же божественны были для него сказки о Финисте Ясном Соколе, «Сомнение» Глинки. И как ни восхищался он Данте, тот для него был лишен божественности русской музыки, русской поэзии.

А Крымов не делал различия между Добролюбовым и Лассалем, Чернышевским и Энгельсом. Для него Маркс был выше всех русских гениев, для него героическая симфония Бетховена безраздельно торжествовала над русской музыкой. Пожалуй, лишь Некрасов был для него исключением, первым в мире поэтом. Минутами Евгении Николаевне казалось, что Шаргородский помогает ей понять не только Крымова, но и судьбу ее отношений с Николаем Григорьевичем.

Жене нравилось разговаривать с Шаргородским. Обычно разговор начинался с тревожных сводок, потом Шаргородский пускался в рассуждения о судьбе России.

— Русское дворянство, — говорил он, — виновато перед Россией, Евгения Николаевна, но оно умело ее любить. В ту, первую войну нам ничего не простили, каждое лычко поставили в строку, — и наших дураков, и оболтусов, и сонных обжор, и Распутина, и полковника Мясоедова, и липовые аллеи, и беспечность, и черные избы, и лапти... Шесть сыновей моей сестры погибли в Галиции, в Восточной Пруссии, мой брат, старый, больной человек, был убит в бою, но им история не зачла этого... А надо бы.

Часто Женя слушала его совершенно не схожие с современными рассуждения о литературе. Фета он ставил выше Пушкина и Тютчева. Фета он знал так, как, конечно, не знал его ни один человек в России, да, вероятно, и сам Фет под конец жизни не помнил о себе всего того, что знал о нем Владимир Андреевич.

Льва Толстого он считал слишком реальным и, признавая в нем поэзию, не ценил его. Тургенева он ценил, но считал его талант недостаточно глубоким. В русской прозе ему больше всего нравились Гоголь и Лесков.

Он считал, что первыми погубителями русской поэзии были Белинский и Чернышевский.

Он сказал Жене, что, кроме русской поэзии, он любит три вещи, все на букву «с» — сахар, солнце и сон.

— Неужели я умру, не увидев ни одного своего стихотворения напечатанным? — спрашивал он.

Как-то, возвращаясь со службы, Евгения Николаевна встретила Лимонова. Он шел по улице в раскрытом зимнем пальто, с болтающимся на шее ярким клетчатым кашне, опираясь на суковатую палку. Странно выглядел среди куйбышевской толпы этот массивный человек в боярской бобровой шапке.

Лимонов проводил Женю до дома. Она пригласила его зайти, выпить чаю, он внимательно посмотрел на нее и сказал: «Ну что ж, спасибо, вообще-то с вас пол-литра полагается за прописку», — тяжело дыша, стал взбираться по лестнице.

Лимонов вошел в маленькую Женину комнату и сказал: «Да-а, телесам моим тут тесно, авось мыслям будет просторно».

Он вдруг заговорил с ней каким-то не совсем натуральным голосом, начал объяснять свою теорию любви, любовных отношений.

— Авитаминоз, духовный авитаминоз! — с одышкой говорил он. — Понимаете, вот такой могучий голод, как у быков, коров, оленей, жаждущих соли. То, чего во мне нет, то, чего нет в моих близких, в моей жене, я ищу в предмете своей любви. Жена — причина авитаминоза! И мужчина жаждет найти в своей возлюбленной то, чего годами, десятилетиями не находил в своей жене. Понятно вам?

Он взял ее за руку и стал гладить ее ладонь, потом стал гладить ее по плечу, коснулся шеи, затылка.

— Вы понимаете меня? — вкрадчиво спрашивал он. — Очень просто ведь. Духовный авитаминоз!

Женя смеющимися и смущенными глазами глядела, как большая белая рука с полированными ногтями пропутешествовала с ее плеча на грудь, и сказала:

— Видимо, авитаминоз бывает не только духовный, но и физический. — И поучающим голосом преподавательницы первого класса добавила: — Лапать меня не надо, право же, не надо.

Он оторопело посмотрел на нее и, вместо того чтобы смутиться, стал смеяться. И она стала смеяться вместе с ним.

Они пили чай и говорили о художнике Сарьяне. В дверь постучал старик Шаргородский.

Оказалось, Лимонов знал имя Шаргородского по чьим-то рукописным записками и из чьих-то хранящихся в архиве писем. Шаргородский книг Лимонова не читал, но слышал его фамилию, она обычно упоминалась при газетных перечислениях пишущих на военно-исторические темы.

Они заговорили, заволновались, обрадовались, ощутив общность, и в разговоре их замелькали имена Соловьева, Мережковского, Розанова, Гиппиус, Белого, Бердяева, Устрялова, Бальмонта, Милюкова, Евреинова, Ремизова, Вячеслава Иванова.

Женя подумала, что два этих человека словно подняли со дна затонувший мир книг, картин, философских систем, театральных постановок...

А Лимонов вдруг вслух повторил ее мысль:

— Мы с вами словно Атлантиду со дна моря подняли.

Шаргородский грустно кивнул:

— Да, да, но вы лишь исследователь русской Атлантиды, а я житель ее, вместе с ней опустился на океанское дно.

— Что ж, — сказал Лимонов, — война кое-кого подняла из Атлантиды на поверхность.

— Да, оказалось, — проговорил Шаргородский, — что создатели Коминтерна в час войны ничего лучшего не придумали, как повторить: священная русская земля.

Он улыбнулся.

— Подождите, война кончится победой, и тогда интернационалисты объявят: «Наша матушка-Россия всему свету голова».

Странная вещь, Евгения Николаевна ощущала, что они говорят так оживленно, многословно, остроумно не только потому, что обрадовались встрече, нашли близкую им обоим тему. Она понимала, что оба они — и совсем старый и очень пожилой — все время ощущают, что она слушает их, она нравилась им. Как это все же странно. И странно то, что ей это совершенно безразлично, и даже смешно, и в то же время совсем небезразлично, а приятно.

Женя смотрела на них и думала: «А ведь понять себя невозможно... Почему мне так больно за прошлую жизнь, почему мне так жалко Крымова, почему я неотступно думаю о нем?»

И так же, как когда-то ей казались чужими коминтерновские немцы и англичане Крымова, сейчас она с тоской и враждебностью слушала Шаргородского, когда он насмешливо заговорил о коминтерновцах. Тут и лимоновская теория авитаминоза не поможет разобраться. Да и нет в этих делах теории.

И вдруг ей показалось, что она все время думает и тревожится о Крымове лишь потому, что тоскует по другому человеку, о котором, казалось, почти совсем не вспоминает.

«Да неужели я действительно его люблю?» — удивилась она.

26

Ночью небо над Волгой очистилось от туч. Медленно плыли под звездами холмы, расколотые густой тьмой оврагов.

Изредка проносились метеоры, и Людмила Николаевна беззвучно произносила: «Пусть Толя останется жив».

Это было ее единственное желание, больше она ничего не хотела от неба.

Одно время, еще учась на физмате, она работала вычислительницей в Астрономическом институте. Тогда она узнала, что метеоры движутся потоками, встречающими Землю в разные месяцы, — персеиды, ориониды, кажется, еще геминиды, леониды. Она уже забыла, какой поток метеоров встречается с Землей в октябре, в ноябре... Но пусть Толя будет жив!

Виктор упрекал ее в том, что она не любит помогать людям, плохо относится к его родным. Он считает — захоти Людмила, Анна Семеновна жила бы с ними и не осталась бы на Украине.

Когда двоюродного брата Виктора выпустили из лагеря и направляли в ссылку, она не хотела пустить его ночевать, боялась, что об этом узнает домоуправление. Она знала: мать помнит, что Людмила жила в Гаспре, когда отец умирал, и Людмила не прервала отдыха, приехала в Москву на второй день после похорон.

Мать иногда говорила с ней о Дмитрии, ужасалась тому, что произошло с ним.

«Он был мальчиком правдивым, таким он оставался всю жизнь. И вдруг шпионаж, подготовка убийства Кагановича и Ворошилова... Дикая, страшная ложь, кому она нужна? Кому нужно губить искренних, честных?..»

Однажды она сказала матери: «Не можешь ты полностью ручаться за Митю. Невинных не сажают». И сейчас ей вспомнился взгляд, которым посмотрела на нее мать.

Как-то она сказала матери о жене Дмитрия:

— Я ее всю жизнь терпеть не могла, скажу тебе откровенно, я и теперь ее терпеть не могу.

И сейчас ей вспомнился ответ матери.

— Да ты понимаешь, что это все значит: сажать жену на десять лет за недонесение на мужа!

Потом ей вспомнилось, она как-то принесла домой щенка, найденного на улице, и Виктор не хотел взять этого щенка, и она крикнула ему:

— Жестокий ты человек!

А он ответил ей:

— Ах, Люда, я не хочу, чтобы ты была молода и красива, я одного хочу, чтобы у тебя было доброе сердце не только к кошкам и собакам.

Сейчас, сидя на палубе, она вспоминала, впервые не любя себя, не желая обвинять других, горькие слова, которые ей пришлось выслушать в своей жизни... Когда-то муж, смеясь, сказал по телефону: «С тех пор, как мы взяли котенка, я слышу ласковый голос жены».

Мать ей как-то сказала: «Люда, как это ты можешь отказывать нищим, ведь подумай: голодный просит у тебя, у сытой...»

Но она не была скупой. Она любила гостей, ее обеды были знамениты среди знакомых.

Никто не видел, как она плакала, сидя ночью на палубе. Пусть, пусть она черства, она забыла все, что учила, она ни к чему не пригодна, она никому уже не может нравиться, растолстела, волосы серые от седины, и высокое давление, муж ее не любит, поэтому она и кажется ему бессердечной. Но лишь бы Толя был жив! Она готова все признать, покаяться во всем плохом, что ей приписывают близкие, — только бы он был жив!

Почему она все время вспоминает своего первого мужа? Где он, как найти его? Почему она не написала его сестре в Ростов, теперь-то не напишешь — немцы. Сестра бы ему сообщила о Толе.

Шум пароходной машины, подрагивания палубы, всплеск воды, мерцание звезд в небе — все смешалось и слилось, и Людмила Николаевна задремала.

Приближалось время рассвета. Туман колыхался над Волгой, и казалось, все живое утонуло в нем. И вдруг взошло солнце — словно взрыв надежды! Небо отразилось в воде, и темная осенняя вода задышала, и солнце словно вскрикивало на речной волне. Береговой откос был круто просолен ночным морозом, и как-то особенно весело смотрели среди инея рыжие деревья. Налетал ветер, исчез туман, мир стал стеклянный, пронзительно прозрачный, и не было тепла ни в ясном солнце, ни в синеве воды и неба.

Земля была огромна, и даже лес на ней стоял без края, видны были и начало его и конец, а земля все длилась, тянулась.

И таким же огромным и вечным, как земля, было горе.

Она видела ехавших в Куйбышев в каютах первого класса наркоматовских руководителей, в бекешах защитного цвета, в шапках из серого полковничьего каракуля. В каютах второго класса ехали ответственные жены, ответственные тещи, по чину обмундированные, словно имелась особая форма для жен, своя для тещ и свекровей. Жены — в меховых шубках, с белыми пуховыми платками, тещи и матери — в синих суконных шубах с черными каракулевыми воротниками, с коричневыми платками. С ними ехали дети со скучными недовольными глазами. Через окна кают видны были продукты, следовавшие вместе с этими пассажирами, — опытный глаз Людмилы легко определял содержимое мешков; в кошелках, в запаянных банках, темных больших бутылках с засургученными горлышками плыли вниз по Волге мед, топленое масло. По отрывкам разговоров гулявших по палубе классных пассажиров ясно было, что их всех занимает и волнует идущий из Куйбышева московский поезд.

Людмиле казалось, что женщины безразлично смотрят на красноармейцев и лейтенантов, сидящих в коридорах, точно у них не было на войне сыновей и братьев.

Когда передавали утреннее сообщение «От Советского Информбюро», они не стояли под рупором вместе с красноармейцами, пароходными матросами, щурясь заспанными глазами на громкоговоритель, пробирались по своим делам.

От матросов Людмила узнала, что весь пароход был дан для семей ответственных работников, возвращающихся через Куйбышев в Москву, и что в Казани по приказу военных властей на него произвели посадку воинских команд и гражданских лиц. Законные пассажиры устроили скандал, отказывались пустить военных, звонили по телефону уполномоченному Государственного Комитета Обороны.

Нечто непередаваемо странное было в виноватых лицах красноармейцев, едущих под Сталинград и чувствующих, что они стесняли законных пассажиров.

Людмиле Николаевне казались невыносимыми эти спокойные женские глаза. Бабушки подзывали внуков и, продолжая разговор, привычным движением совали во внучачьи рты печенье. А когда из расположенной на носу каюты вышла на палубу прогуливать двух мальчиков приземистая старуха в шубе из колонка, женщины торопливо кланялись ей, улыбались, а на лицах государственных мужей появлялось ласковое и беспокойное выражение.

Объяви сейчас радио об открытии второго фронта, о том, что прорвана блокада Ленинграда, никто из них не дрогнет, но скажет им кто-либо, что в московском поезде отменен международный вагон, и все события войны будут поглощены великими страстями мягких и жестких плацкарт.

Удивительно! Ведь Людмила Николаевна своим обмундированием — серой каракулевой шубой, пуховым платком — походила на пассажиров первого и второго класса. Ведь недавно и она переживала плацкартные страсти, возмущалась, что Виктору Павловичу для поездки в Москву не дали билета в мягкий вагон.

Она рассказала лейтенанту-артиллеристу, что ее сын, лейтенант-артиллерист, лежит с тяжелыми ранениями в саратовском госпитале. Она говорила с больной старухой о Марусе и о Вере, о свекрови, пропавшей на оккупированной территории. Ее горе было такое же, как горе, вздыхавшее на этой палубе, горе, которое всегда находило свою дорогу от госпиталей, от фронтовых могил к деревенским избам, к стоящему на безымянном пустыре безномерному бараку.

Уходя из дома, она не взяла с собой кружку, не взяла хлеба; казалось, что она всю дорогу не будет ни есть, ни пить.

Но на пароходе с самого утра ей мучительно захотелось есть, и Людмила поняла, что ей круто придется. На второй день пути красноармейцы, сговорившись с кочегарами, сварили в машинном отделении суп с пшеном, позвали Людмилу и ей налили в котелок супа.

Людмила сидела на пустом ящике и хлебала из чужого котелка чужой ложкой обжигающий суп.

— Хорош супчик! — сказал ей один из кашеваров и, так как Людмила Николаевна молчала, задорно спросил ее: — А не так разве, не наваристый?

Именно в этом требовании похвалы, обращенном к человеку, которого красноармеец накормил, и ощущалась простодушная широта.

Она помогла бойцу заправить пружину в неисправный автомат, чего не мог сделать даже старшина с орденом Красной Звезды.

Людмила Николаевна, прислушиваясь к спору лейтенантов-артиллеристов, взяла карандаш и помогла им вывести тригонометрическую формулу.

После этого случая лейтенант, звавший ее «гражданочкой», неожиданно спросил, как ее зовут по имени и отчеству. А ночью Людмила Николаевна ходила по палубе.

Река дышала ледяным холодом, из тьмы налетал низовой, безжалостный ветер. А над головой светили звезды, и не было утешения и покоя в этом жестоком, из огня и льда небе, стоявшем над ее несчастной головой.

27

Перед приходом парохода во временную военную столицу капитан получил распоряжение продлить рейс до Саратова, погрузить на пароход раненых из саратовских госпиталей.

Пассажиры, ехавшие в каютах, стали готовиться к высадке, выносили чемоданы, пакеты, укладывали их на палубе.

Стали видны силуэты фабрик, домики под железными крышами, бараки, и, казалось, по-иному зашумела вода за кормой, по-иному, тревожней застучала пароходная машина.

А потом медленно стала выползать громада Самары, серая, рыжая, черная, поблескивающая стеклами, в клочьях фабричного, паровозного дыма.

Пассажиры, выходившие в Куйбышеве, стояли у борта.

Сходившие на берег не прощались, не кивали в сторону остающихся — не завязались в дороге знакомства.

Старуху в колонковой шубе и ее двух внуков ожидал автомобиль ЗИС-101. Желтолицый человек в бекеше генеральского сукна откозырял старухе, поздоровался с мальчиками за руку.

Прошло несколько минут, и пассажиры с детьми, с чемоданами, пакетами исчезли, точно и не было их.

На пароходе остались лишь шинели, ватники.

Людмиле Николаевне показалось, что теперь ей легче и лучше будет дышаться среди людей, объединенных одной судьбой, трудом, горем.

Но она ошиблась.

28

Грубо и жестоко встретил Людмилу Николаевну Саратов.

Сразу же на пристани она столкнулась с каким-то одетым в шинель пьяным человеком, споткнувшись, он толкнул ее и выругал грязными словами.

Людмила Николаевна стала взбираться по крутому, замощенному булыжником взвозу и остановилась, тяжело дыша, оглянулась. Пароход белел внизу между пристанских серых амбаров и, словно поняв ее, негромко, отрывисто протрубил: «Иди уж, иди». И она пошла.

При посадке в трамвай молодые женщины с молчаливой старательностью отпихивали старых и слабых. Слепой в красноармейской шапке, видимо, недавно выпущенный из госпиталя, не умея еще одиноко нести свою слепоту, переминался суетливыми шажками, дробно постукивал палочкой перед собой. Он по-детски жадно ухватился за рукав немолодой женщины. Она отдернула руку, шагнула, звеня по булыжнику подкованными сапогами, и он, продолжая цепляться за ее рукав, торопливо объяснял:

— Помогите произвести посадку, я из госпиталя.

Женщина ругнулась, пихнула слепого, он потерял равновесие, сел на мостовую.

Людмила поглядела на лицо женщины.

Откуда это нечеловеческое выражение, что породило его — голод в 1921 году, пережитый ею в детстве; мор 1930 года? Жизнь, полная по края нужды?

На мгновение слепой обмер, потом вскочил, закричал птичьим голосом. Он, вероятно, с невыносимой пронзительностью увидел своими слепыми глазами самого себя в съехавшей набок шапке, бессмысленно машущего палкой.

Слепой бил палкой по воздуху, и в этих круговых взмахах выражалась его ненависть к безжалостному, зрячему миру. Люди, толкаясь, лезли в вагон, а он стоял, плача и вскрикивая. А люди, которых Людмила с надеждой и любовью объединила в семью труда, нужды, добра и горя, точно сговорились вести себя не по-людски. Они точно сговорились опровергнуть взгляд, что добро можно заранее уверенно определить в сердцах тех, кто носит замасленную одежду, у кого потемнели в труде руки.

Что-то мучительное, темное коснулось Людмилы Николаевны и одним своим прикосновением наполнило ее холодом и тьмой тысячеверстных, нищих русских просторов, ощущением беспомощности в жизненной тундре.

Людмила переспросила кондукторшу, где нужно выходить, и та спокойно проговорила:

— Я уже объявляла, оглохла, что ли?

Пассажиры, стоявшие в трамвайном проходе, не отвечали на вопрос, выходят ли они, как окаменели, не желали подвинуться.

Когда-то Людмила училась в подготовительном, «азбучном» классе саратовской женской гимназии. Зимним утром она сидела за столом, болтая ногами, и пила чай, а отец, которого она обожала, намазывал ей маслом кусок теплого калача... Лампа отражалась в толстой щеке самовара, и не хотелось уходить от теплой руки отца, от теплого хлеба, от тепла самовара.

И казалось, в ту пору не было в этом городе ноябрьского ветра, голода, самоубийц, умирающих в больницах детей, а одно лишь тепло, тепло, тепло.

Здесь на кладбище была похоронена ее старшая сестра Соня, умершая от крупа,— Александра Владимировна назвала ее Соней в честь Софьи Львовны Перовской. На этом же кладбище, кажется, и дедушка похоронен.

Она подошла к трехэтажному школьному зданию, то был госпиталь, где лежал Толя.

У двери не стоял часовой, и ей показалось, что это хорошая примета. Она ощутила госпитальный воздух, такой тягучий и липкий, что даже

измученные морозом люди не радовались его теплу, а вновь хотели уйти от него на мороз. Она прошла мимо уборных, где сохранились дощечки «Для мальчиков» и «Для девочек». Она прошла по коридору, и на нее пахнули кухни, она прошла еще дальше, и через запотевшее окно разглядела сложенные во внутреннем дворе прямоугольные ящики-гробы, и снова, как у себя в передней с нераспечатанным письмом, она подумала: «О боже, если б сейчас упасть мертвой». Но она пошла большими шагами дальше, ступила на ковровую серую дорожку и, пройдя мимо тумбочек со знакомыми ей комнатными растениями — аспарагусами, филодендронами,— подошла к двери, на которой рядом с дощечкой «четвертый класс» висела сделанная от руки надпись: «Регистратура».

Людмила взялась за ручку двери, и солнечный свет, прорвавшись сквозь тучи, ударил в окна, и все вокруг засияло.

А спустя несколько минут разговорчивый писарь, перебирая карточки в длинном сиявшем на солнце ящике, говорил ей:

— Так так, значит, Шапошников А. Во... Анатолий Ве... так... ваше счастье, что не встретили нашего коменданта, не раздевшись, в пальто, он бы вам дал жизни... так, так... ну вот, значит, Шапошников... Да, да, он самый, лейтенант, правильно.

Людмила смотрела на пальцы, вытаскивающие карточку из длинного фанерного ящика, и казалось, она стоит перед богом, и в его воле сказать ей слово жизни либо слово смерти, и вот он на миг замешкался, не решил еще, жить ее сыну или умереть.

29

Людмила Николаевна приехала в Саратов через неделю после того, когда Толе сделали еще одну, третью, операцию. Операцию производил военврач второго ранга Майзель. Операция была сложная и длительная, более пяти часов Толя находился под общим наркозом, дважды пришлось вводить в вену гексонал. Никто из госпитальных военных и клинических университетских хирургов подобной операции в Саратове не производил. Известна была она по литературным источникам, американцы в военно-медицинском журнале за 1941 год поместили ее подробное описание.

Ввиду особой сложности этой операции с лейтенантом после очередного рентгеновского исследования длительно и откровенно беседовал доктор Майзель. Он объяснил лейтенанту характер тех патологических процессов, которые происходили в его организме после ужасного ранения. Одновременно хирург откровенно рассказал о риске, сопутствующем операции. Он сказал, что врачи, консультировавшие вместе с ним, не единогласны в своем решении, старый клиницист, профессор Родионов был против операции. Лейтенант Шапошников задал доктору Майзелю два-три вопроса и тут же в рентгеновском кабинете, после короткого размышления, согласился оперироваться. Пять дней ушло на подготовку к операции.

Операция началась в одиннадцать часов утра и закончилась лишь в четвертом часу. При операции присутствовал начальник госпиталя военный врач Димитрук. По отзывам врачей, наблюдавших за операцией, она прошла блестяще.

Майзель правильно решил тут же, стоя у операционного стола, неожиданные, не предусмотренные в литературном описании трудности.

Состояние больного во время операции было удовлетворительное, пульс хорошего наполнения, без выпадений.

Около двух часов дня доктор Майзель, человек немолодой и грузный, почувствовал себя плохо и вынужден был на несколько минут прервать работу. Доктор-терапевт Клестова дала ему валидола, после чего Майзель уже не делал перерывов до конца работы. Однако вскоре после окончания операции, когда лейтенант Шапошников был транспортирован в бокс, у доктора Майзеля произошел тяжелый приступ стенокардии. Лишь повторные инъекции камфары и прием жидкого нитроглицерина ликвидировали к ночи спазм сосудов. Приступ был, очевидно, вызван нервным возбуждением, непосильной перегрузкой больного сердца.

Дежурившая возле Шапошникова медицинская сестра Терентьева согласно указанию следила за состоянием лейтенанта. В бокс зашла Клестова, проверила пульс у лежавшего в забытьи лейтенанта. Состояние Ша-

пошникова было удовлетворительным, доктор Клестова сказала сестре Терентьевой:

— Дал Майзель лейтенанту путевку в жизнь, а сам чуть не помер.

Сестра Терентьева ответила:

— Ох, если б только этот лейтенант Толя выкарабкался!

Шапошников дышал почти неслышно. Лицо его было неподвижно, тонкие руки и шея казались детскими, на бледной коже едва заметной тенью лежал загар, сохранившийся от полевых занятий и степных переходов. Состояние, в котором находился Шапошников, было средним между беспамятством и сном — тяжелая одурь от непреодоленного действия наркоза и изнеможения душевных и физических сил.

Больной невнятно произносил отдельные слова и иногда целые фразы. Терентьевой показалось, что он сказал скороговоркой: «Хорошо, что ты меня не видела таким». После этого он лежал тихо, углы губ опустились, и казалось, что, находясь в беспамятстве, он плачет.

Около восьми часов вечера больной открыл глаза и внятно — медицинская сестра Терентьева обрадовалась и удивилась — попросил напиться. Сестра Терентьева сказала больному, что пить ему нельзя, и добавила, что операция прошла превосходно и больного ждет выздоровление. Она спросила его о самочувствии, и он ответил, что боли в боку и в спине невелики.

Она вновь проверила его пульс и провела увлажненным полотенцем по его губам и по лбу.

В это время в палату зашел санитар Медведев и передал, что сестру Терентьеву вызывает по телефону начальник хирургического отделения, военврач Платонов. Сестра зашла в комнату дежурного по этажу и, взяв трубку, доложила военврачу Платонову, что больной проснулся, состояние у него обычное для перенесшего тяжелую операцию.

Сестра Терентьева попросила сменить ее, ей необходимо было пойти в городской военный комиссариат в связи с путаницей, возникшей при переадресовке денежного аттестата, выданного ей мужем. Военврач Платонов обещал отпустить ее, но велел наблюдать Шапошникова до того, как Платонов сам осмотрит его.

Сестра Терентьева вернулась в палату. Больной лежал в той же позе, в какой она оставила его, но выражение страдания не так резко выступало на его лице — углы губ приподнялись, и лицо казалось спокойным, улыбающимся. Постоянное выражение страдания, видимо, старило лицо Шапошникова, и сейчас, улыбающееся, оно поразило сестру Терентьеву, — худые щеки, немного оттопыренные, полные бледные губы, высокий, без единой морщинки лоб, казалось, принадлежали не взрослому человеку, даже не отроку, а ребенку. Сестра Терентьева спросила о самочувствии больного, но он не ответил — очевидно, заснул.

Сестру Терентьеву несколько насторожило выражение его лица. Она взяла лейтенанта Шапошникова за руку, пульс не прощупывался, рука была чуть теплой, от того неживого, едва ощутимого тепла, которое хранят в себе по утрам топленные накануне и давно уже прогоревшие печи.

И хотя медицинская сестра Терентьева всю жизнь прожила в городе, она, опустившись на колени, тихонько, чтобы не тревожить живых, завыла по-деревенски:

— Родименький наш, цветочек ты наш, куда ты ушел от нас?

30

В госпитале стало известно о приезде матери лейтенанта Шапошникова. Мать умершего лейтенанта принял комиссар госпиталя, батальонный комиссар Шиманский, красивый человек, с выговором, свидетельствующим о его польском происхождении, хмурился, ожидая Людмилу Николаевну, — ему казались неизбежными ее слезы, может быть, обморок. Он облизывал языком недавно выращенные усы, жалел умершего лейтенанта, жалел его мать и поэтому сердился и на лейтенанта, и на его мать, — если устраивать прием для мамаши каждого умершего лейтенанта, где наберешься нервов?

Усадив Людмилу Николаевну, Шиманский, прежде чем начать разговор, пододвинул к ней графин с водой, и она сказала:

— Благодарю вас, я не хочу пить.

Она выслушала его рассказ о консилиуме, предшествовавшем операции (батальонный комиссар не счел нужным говорить ей о том, что один голос был против операции), о трудностях операции и о том, что операция прошла хорошо; хирурги считают, что эту операцию следует применять при тяжелых ранениях, подобных тем, что получил лейтенант Шапошников. Он сказал, что смерть Шапошникова наступила от паралича сердца, и, как показано в заключении патологоанатома, военврача третьего ранга Болдырева, предвидение и устранение этого внезапного экзитуса было вне власти врачей.

Затем батальонный комиссар заговорил о том, что через госпиталь проходят сотни больных, но редко кого так любил персонал, как лейтенанта Шапошникова, — сознательный, культурный и застенчивый больной, всегда совестился попросить о чем-нибудь, утруждать персонал.

Шиманский сказал, что мать должна гордиться, воспитав сына, беззаветно и честно отдавшего жизнь за Родину.

Затем Шиманский спросил, есть ли у нее просьбы к командованию госпиталя.

Людмила Николаевна попросила извинить, что она отнимает время у комиссара, и, вынув из сумки листок бумаги, стала читать свои просьбы.

Она попросила указать ей место захоронения сына.

Батальонный молча кивнул и пометил в блокноте.

Она хотела поговорить с доктором Майзелем.

Батальонный комиссар сказал, что доктор Майзель, узнав о ее приезде, сам хотел встретиться с ней.

Она попросила встречи с медицинской сестрой Терентьевой.

Комиссар кивнул и сделал пометочку у себя в блокноте. Она попросила разрешения получить на память вещи сына.

Снова комиссар сделал пометку.

Потом она попросила передать раненым привезенные ею для сына гостинцы и положила на стол две коробки шпрот, пакетик конфет.

Ее глаза встретились с глазами комиссара, и он невольно сощурился от блеска ее больших голубых глаз.

Шиманский попросил Людмилу прийти в госпиталь на следующий день в девять тридцать утра — все ее просьбы будут выполнены.

Батальонный комиссар посмотрел на закрывшуюся дверь, посмотрел на подарки, которые Шапошникова передала раненым, — пощупал пульс у себя на руке, не нашел пульса, махнул рукой и стал пить воду, которую предложил в начале беседы Людмиле Николаевне.

31

Казалось, нет у Людмилы Николаевны свободной минуты. Ночью она ходила по улицам, сидела на скамейке в городском саду, заходила на вокзал греться, снова ходила по пустынным улицам скорым, деловым шагом.

Шиманский выполнил все, о чем она просила.

В девять часов тридцать минут утра Людмилу Николаевну встретила медицинская сестра Терентьева.

Людмила Николаевна просила ее рассказать все, что она знала о Толе.

Вместе с Терентьевой Людмила Николаевна, надев халат, поднялась на второй этаж, прошла коридором, по которому несли ее сына в операционную, постояла у двери одноэкоечной палаты-бокса, поглядела на пустовавшую в это утро койку. Сестра Терентьева шла все время рядом с ней и вытирала нос платком. Она снова спустилась на первый этаж, и Терентьева простилась с ней. Вскоре в приемную комнату, тяжело дыша, вошел седой, тучный человек с темными кругами под темными глазами. Накрахмаленный, ослепительный халат хирурга Майзеля казался еще белее по сравнению с его смуглым лицом, темными вытаращенными глазами.

Майзель рассказал Людмиле Николаевне, почему профессор Родионов был против операции. Он, казалось, угадывал все, о чем хотела спросить его Людмила Николаевна. Он рассказал ей о своих разговорах с лейтенантом Толей перед операцией. Понимая состояние Людмилы, он с жестокой прямотой рассказал о ходе операции.

Потом он заговорил о том, что у него к лейтенанту Толе была какая-то почти отцовская нежность, и в басовитом голосе хирурга тоненько, жалостно задребезжало стекло. Она посмотрела впервые на его руки, они были особенные, жили отдельно от человека с жалобными глазами — суровые, тяжелые, с большими, сильными смуглыми пальцами.

Майзель снял руки со стола. Словно читая ее мысль, он проговорил:

— Я сделал все возможное, но получилось, что мои руки приблизили его смерть, а не побороли ее, — и снова положил руки на стол.

Она поняла, что все сказанное Майзелем — правда.

Каждое его слово о Толе, страстно ею желаемое, мучило и жгло. Но разговор имел в себе еще одну томительную тяжесть — она чувствовала, что хирург хотел встречи с ней не ради нее, а ради себя. И это вызвало в ней нехорошее чувство к Майзелю.

Прощаясь с хирургом, она сказала, что верит — он сделал все возможное для спасения ее сына. Он тяжело задышал, и она ощутила, что слова ее принесли ему облегчение, и вновь поняла, что, чувствуя свое право услышать от нее эти слова, он и хотел с ней встречи и встретился с ней.

И она с упреком подумала: «Неужели от меня надо еще получать утешение?»

Хирург ушел, а Людмила пошла к человеку в папахе, коменданту. Он отдал ей честь, сипло доложил, что комиссар велел отвезти ее к месту захоронения на легковой машине, машина задержалась на десять минут из-за того, что отвозили в карточное бюро список вольнонаемных. Вещи лейтенанта уже уложены, их удобней будет взять после возвращения с кладбища.

Все, о чем просила Людмила Николаевна, было выполнено по-военному, четко и точно. Но в отношении к ней комиссара, сестры, коменданта чувствовалось, что и эти люди хотят от нее получить какое-то успокоение, прощение, утешение.

Комиссар почувствовал свою вину за то, что в госпитале умирают люди. До приезда Шапошниковой его это не тревожило, на то и госпиталь во время войны. Постановка медицинского обслуживания не вызывала нареканий у начальства. Его жучили за недостаточную организацию политической работы, за плохую информацию о настроениях раненых.

Он недостаточно боролся с неверием в победу среди части раненых, с вражескими вылазками среди отсталой части раненых, враждебно настроенных к колхозному строю. В госпитале имелись случаи разглашения ранеными военной тайны.

Шиманского вызывали в политотдел санитарного управления военного округа и посулили отправить его на фронт, если из особого отдела опять сообщат о непорядках в госпитальной идеологии.

А теперь комиссар почувствовал себя виноватым перед матерью умершего лейтенанта за то, что вчера умерли трое больных, а он вчера принимал душ, заказал повару свой любимый бигос из тушеной кислой капусты, выпил бидончик пива, добытый в саратовском горторге. Сестра Терентьева была виновата перед матерью умершего лейтенанта в том, что муж ее, военный инженер, служил в штабе армии, на передовой не бывал, а сын, который на год старше Шапошникова, работал на авиационном заводе в конструкторском бюро. И комендант знал свою вину — он, кадровый военный, служил в тыловом госпитале, он послал домой хороший габардиновый материал и фетровые валенки, а от убитого лейтенанта осталось матери бумажное обмундирование.

И толстогубый старшина с мясистыми налитыми ушами, ведавший захоронением умерших больных, чувствовал свою вину перед женщиной, с которой поехал на кладбище. Гробы сбивались из тонких, бракованных досок. Умершие клались в гробы в нижнем белье, рядовых клали тесно, в братские могилы, надписи на могилах делались некрасивым почерком, на неотесанных дощечках, писались они непрочной краской. Правда, умерших в дивизионных медсанбатах закапывали в ямы без гробов, а надписи делали чернильным карандашом, до первого дождя. А те, что погибли в бою, в лесах, болотах, в овражках, в чистом поле, — тех, случалось, и не находили похоронщики, их хоронил песок, сухой лист, метель.

Но старшина все же чувствовал свою вину за низкое качество лесоматериалов перед женщиной, сидевшей с ним рядом в машине и выспрашивавшей его, как хоронят умерших — вместе ли, во что обряжают трупы, говорят ли последнее слово над могилой.

Неудобно было и оттого, что перед поездкой он забежал к дружку в каптерку и выпил баночку разбавленного медицинского спиртишки, закусил хлебцем с луковкой. Он совестился, что в машине стоит от его дыхания водочный дух с цибульной примесью, но как он ни совестился, а отказаться от того, чтобы дышать, не мог.

Он хмуро смотрел в зеркальце, висевшее перед водителем машины, — в этом четырехугольном зеркальце отражались смеющиеся, смущавшие старшину глаза водителя.

«Ну и нажрался, старшина», — говорили безжалостно веселые молодые глаза водителя.

Все люди виноваты перед матерью, потерявшей на войне сына, и тщетно пробуют оправдаться перед ней на протяжении истории человечества.

32

Бойцы трудового батальона сгружали с грузовика гробы. В их молчаливой неторопливости видна была трудовая, привычная сноровка. Один, стоя в кузове грузовика, пододвигал гроб к краю, другой принимал его на плечо и заносил в воздухе, тогда молча подходил третий и принимал второй край гроба на плечо. Скрипя ботинками по замерзшей земле, они несли гробы к широкой братской могиле, поставив гроб у края ямы, возвращались к грузовику. Когда пустой грузовик ушел в город, бойцы присели на гробы, стоявшие у открытой могилы, и стали сворачивать папиросы из большого количества бумаги и малого количества табака.

— Сегодня вроде посвободней, — сказал один и стал высекать огонь из добротно слаженного огнива, — трут в виде шнура был пропущен в медную гильзу, а кремень вправлен в оправу. Боец помахал трутом, и дымок повис в воздухе.

— Старшина говорил, больше одной машины не будет, — сказал второй и прикурил, выпустив много дыма.

— Тогда и оформим могилу.

— Ясно, сразу удобней, и список он привезет, проверит, — проговорил третий, не куривший, вынул из кармана кусок хлеба, встряхнул его, легонько обдул и стал жевать.

— Ты скажи старшине, пусть лом нам даст, а то на четверть почти прихватило землю морозом, завтра нам новую готовить, лопатой такую землю возьмешь разве?

Тот, что добывал огонь, гулко ударив ладонями, выбил из деревянного мундштука окурок, легонько постучал мундштуком о крышку гроба.

Все трое замолчали, словно прислушиваясь. Было тихо.

— Верно, будто трудовым батальонам сухим пайком выдавать обед будут? — спросил жевавший хлеб боец, понизив голос, чтобы не мешать покойникам в гробах неинтересным для них разговором.

Второй курец, выдув окурок из длинного закопченного тростникового мундштука, посмотрел в него на свет, покачал головой.

Снова было тихо.

— Денек сегодня ничего, вот только ветер.

— Слышь, машина пришла, так-то мы до обеда отделаемся.

— Нет, это не наша, это легковик.

Из машины вышел знакомый им старшина, за ним женщина в платке, и пошли в сторону чугунной ограды, где до прошлой недели производили захоронения, а потом перестали из-за отсутствия места.

— Хоронят силу, а никто не провожает, — сказал один. — В мирное время тут знаешь как — один гроб, а за ним, может, сто человек цветочки несут.

— Плачут и по этим, — и боец толстым овальным ногтем, обточенным трудом, как галька морем, деликатно постучал по доске. — Только нам этих слез не видно... Гляди, старшина один вертается.

Они снова стали закуривать, на этот раз все трое. Старшина подошел к ним, добродушно сказал:

— Все курим, ребята, а кто же за нас поработает?

Они молча выпустили три дымовых облака, потом один, обладатель кресала, проговорил:

— Покуришь тут, слышь, грузовик подходит. Я его уж по мотору признаю.

33

Людмила Николаевна подошла к могильному холмику и прочла на фанерной дощечке имя своего сына и его воинское звание.

Она ясно ощутила, что волосы ее под платком стали шевелиться, чьи-то холодные пальцы перебирали их.

Рядом, вправо и влево, вплоть до ограды, широко стояли такие же серые холмики, без травы, без цветов, с одним только стрельнувшим из могильной земли прямым деревянным стебельком. На конце этого стебелька имелась фанерка с именем человека. Фанерок было много, и их однообразие и густота напоминали строй щедро взошедших на поле зерновых...

Вот она наконец нашла Толю. Много раз она старалась угадать, где он, что он делает и о чем думает, — дремлет ли ее маленький, прислонясь к стенке окопа, идет ли по дороге, прихлебывает чай, держа в одной руке кружку, в другой кусочек сахара, бежит ли по полю под обстрелом... Ей хотелось быть рядом, она была нужна ему, — она бы долила чаю в кружку, сказала бы «съешь еще хлеба», она бы разула его и обмыла натертую ногу, обмотала бы ему шею шарфом... И каждый раз он исчезал, и она не могла найти его. И вот она нашла Толю, но она уже не нужна была ему.

Дальше видны были могилы с дореволюционными гранитными крестами. Могильные камни стояли, как толпа стариков, никому не нужных, для всех безразличных, — одни повалились набок, другие беспомощно прислонились к стволам деревьев.

Казалось, небо стало какое-то безвоздушное, словно откачали из него воздух, и над головой стояла наполненная сухой пылью пустота. А беззвучный могучий насос, откачавший из неба воздух, все работал, работал, и уже не стало для Людмилы не только неба, но и не стало веры и надежды — в огромной безвоздушной пустоте остался лишь маленький, в серых смерзшихся комьях, холм земли.

Все живое — мать, Надя, глаза Виктора, военные сводки, — все перестало существовать.

Живое стало неживым. Живым во всем мире был лишь Толя. Но какая тишина стояла кругом. Знает ли он уже, что она пришла...

Людмила опустилась на колени, легонько, чтобы не причинить сыну беспокойства, поправила дощечку с его именем, он всегда сердился, когда она поправляла воротничок его куртки, провожая его на занятия.

— Вот я и пришла, а ты, верно, думал, чтó это мама не идет...

Она заговорила вполголоса, боясь, что ее услышат люди за кладбищенской оградой.

По шоссе неслись грузовики, темная гранитовая поземка кружилась, дымясь, по асфальту, кудрявясь, завиваясь... Шли, гремя солдатскими сапогами, молочницы с бидонами, люди с мешками, бежали школьники в ватниках и в зимних солдатских шапках.

Но полный движения день казался ей туманным видением.

Какая тишина.

Она говорила с сыном, вспоминала подробности его прошедшей жизни, и эти воспоминания, существовавшие лишь в ее сознании, заполнили пространство детским голосом, слезами, шелестом книг с картинками, стуком ложечки о край белой тарелки, жужжанием самодельных радиоприемников, скрипом лыж, скрипом лодочных уключин на дачных прудах, шорохом конфетных бумажек, мельканием мальчишеского лица, плеч и груди.

Его слезы, огорчения, его хорошие и плохие поступки, оживленные ее отчаянием, существовали, выпуклые, осязаемые.

Не воспоминания об ушедшем, а волнения действительной жизни охватили ее.

Зачем читать всю ночь при этом ужасном свете, что ж это, в такие молодые годы начать носить очки...

Вот он лежит в легонькой бязевой рубахе, босой, как же не дали одеяла, земля совершенно ледяная, и по ночам сильный мороз.

Неожиданно у Людмилы хлынула носом кровь. Платок сделался тяжелый, весь вымок. У нее закружилась голова, в глазах помутилось, и короткое мгновение казалось, что она теряет сознание. Она зажмурила глаза, а когда открыла их, мир, оживленный ее страданием, уже исчез, лишь серая пыль, подхваченная ветром, кружилась над могилами; то одна, то другая могила начинали дымиться.

Живая вода, что хлынула поверх льда и вынесла из тьмы Толю, сбежала, исчезла, вновь отодвинулся тот мир, который на миг, сбив оковы, сам хотел стать действительностью, мир, созданный отчаянием матери. Ее отчаяние, подобно богу, подняло лейтенанта из могилы, заполнило пустоту новыми звездами.

В эти прошедшие минуты он один жил на свете, и благодаря ему было все остальное.

Но могучая сила матери не удержала огромные людские толпы, моря, дороги, землю, города в подчинении перед мертвым Толей.

Она поднесла платок к глазам, глаза были сухи, а платок мокрый от крови. Она ощутила, что лицо у нее запачкано в липкой крови, и сидела, ссутулясь, смирясь, не по своей воле делая маленькие, первые движения к осознанию того, что Толи нет.

Людей в госпитале поражало ее спокойствие, ее вопросы. Они не понимали, что она не могла ощутить того, что было им очевидно, — отсутствие Толи среди живущих. Ее чувство к сыну было таким сильным, что мощь совершившегося ничего не могла поделать с этим чувством, — он продолжал жить.

Она была безумна, никто не видел этого. Наконец она нашла Толю. Так кошка, найдя своего мертвого котенка, радуется, облизывает его.

Долгие муки проходит душа, пока годами, иногда десятилетиями, камень за камнем, медленно воздвигает свой могильный холмик, сама в себе приходит к чувству вечной потери, смиряется перед силой произошедшего.

Ушли, закончив работу, бойцы трудового батальона, собралось уходить солнце, и тени от могильных фанерок вытянулись. Людмила осталась одна.

Она подумала, что о смерти Толи надо сообщить родным, отцу в лагерь. Обязательно отцу. Родному отцу. О чем он думал перед операцией? Как его кормили, с ложечки? Спал ли он хоть немножко на боку, на спине? Он любит воду с лимоном и сахаром. Каким лежит он сейчас, бритая ли у него голова?

Должно быть, от нестерпимой душевной боли кругом делалось все темней и темней.

Ее поразила мысль о вечности ее горя — умрет Виктор, умрут внуки ее дочери, а она все будет горевать.

И когда чувство тоски стало так невыносимо, что сердце не могло выдержать ее, снова растворилась грань между действительностью и миром, жившим в душе Людмилы, и вечность отступила перед ее любовью.

Зачем, подумала она, сообщать о смерти Толи родному отцу, Виктору, всем близким, ведь еще ничего не известно наверное. Лучше выждать, может быть, все еще будет совершенно по-иному.

Она шепотом сказала:

— И ты никому не говори, еще ничего не известно, все еще будет хорошо.

Людмила прикрыла полой пальто Толины ноги. Она сняла платок с головы и прикрыла им плечи сына.

— Господи, да нельзя же так, почему не дали одеяла. Хоть ноги получше закрой.

Она забылась, в полусне продолжала говорить с сыном, упрекала его за то, что письма его такие короткие. Она просыпалась, поправляла на нем сброшенный ветром платок.

Как хорошо, что они вдвоем, никто не мешает им. Его никто не любил. Все говорили, что он некрасив, — у него оттопыренные толстые гу-

бы, он странно ведет себя, бессмысленно вспыльчив, обидчив. И ее никто не любил, все близкие видели в ней одни лишь недостатки... Мой бедный мальчик, робкий, неуклюжий, хороший сыночек... Он один любил ее, и теперь, ночью, на кладбище, он один с ней, он никогда не оставит ее, и, когда она будет никому не нужной старухой, он будет любить ее... какой он не приспособленный к жизни. Никогда ни о чем не попросит, застенчивый, смешной; учительница говорит, что в школе он стал посмешищем,— его дразнят, выводят из себя, и он плачет, как маленький. Толя, Толя, не оставляй меня одну.

А затем пришел день; красное, ледяное зарево разгоралось над заволжской степью. С ревом проехал грузовик по шоссе.

Безумие ушло. Она сидела рядом с могилой сына. Тело Толи засыпано землей. Его нет.

Она видела свои грязные пальцы, валявшийся на земле платок, у нее онемели ноги, она ощущала, что лицо ее запачкано. В горле першило.

Ей было все равно. Скажи ей кто-нибудь, что кончилась война, что умерла ее дочь, очутись рядом с ней стакан горячего молока, кусок теплого хлеба, она бы не шевельнулась, не протянула бы руки. Она сидела без тревоги, без мыслей. Все было безразлично, не нужно. Одна лишь ровная мука сжимала сердце, давила на виски. Люди из госпиталя, врач в белом халате что-то говорили о Толе, она видела их разевающиеся рты, но не слышала их слов. На земле лежало письмо, выпавшее из кармана пальто, то, что она получила из госпиталя, и ей не хотелось поднять его, стряхнуть с него пыль. Не было мыслей о том, как Толя двухлетним, косолапо переваливаясь, ходил терпеливо и настойчиво следом за кузнечиком, прыгавшим с места на место, и о том, что она не спросила сестру, как лежал он утром, перед операцией, в последний день своей жизни,— на боку, на спине. Она видела дневной свет, она не могла его не видеть.

Вдруг ей вспомнилось: Толе исполнилось три года, вечером пили чай со сладким пирогом, и он спросил: «Мама, почему темно, ведь сегодня день рождения?»

Она видела ветви деревьев, блещущий под солнцем полированный кладбищенский камень, дощечку с именем сына — «Шапошн» было написано крупно, а «иков» лепилось мелко, буква к букве. Она не думала, у нее не было воли. Ничего у нее не было.

Она встала, подняла письмо, стряхнула закоченевшими руками комок земли с пальто, очистила его, обтерла туфли, долго вытряхивала платок, пока он вновь не побелел. Она надела на голову платок, краешком его сняла пыль с бровей, обтерла губы, подбородок от крови. Она пошла в сторону ворот, не оглядываясь, не медленно и не быстро.

34

После возвращения в Казань Людмила Николаевна начала худеть и стала походить на свои молодые фотографии студенческой поры. Она добывала продукты в распределителе и готовила обед, топила печи, мыла полы, стирала. Ей казалось, что осенние дни очень длинные и ей нечем заполнить их пустоту.

В день приезда из Саратова она рассказала родным о своей поездке, о том, что думала о своей вине перед близкими людьми, рассказала о приходе в госпиталь, развернула пакет с изодранным осколками кровавым обмундированием сына. Когда она рассказывала, Александра Владимировна тяжело дышала, Надя плакала, у Виктора Павловича стали дрожать руки, он не мог взять со стола стакан чая. Прибежавшая навестить ее Марья Ивановна побледнела, рот ее полуоткрылся, и в глазах возникло мученическое выражение. Одна лишь Людмила говорила спокойно, глядя яркими, широко открытыми голубыми глазами.

Она теперь ни с кем не спорила, а всю жизнь была большой спорщицей; раньше стоило сказать кому-нибудь, как доехать до вокзала, и Людмила, волнуясь и сердясь, начинала доказывать, что совсем не по тем улицам и не теми троллейбусами надо ехать.

Однажды Виктор Павлович спросил ее:

— Людмила, с кем это ты по ночам разговариваешь?

Она сказала:

— Не знаю, может быть, померещилось что-нибудь.

Он не стал ее больше спрашивать, но рассказал Александре Владимировне, что почти каждую ночь Людмила раскрывает чемоданы, стелет одеяло на диванчик, стоящий в углу, озабоченно негромко говорит вслух.

— У меня такое чувство, словно она днем со мной, с Надей, с вами во сне, а ночью у нее оживленный голос, какой был еще до войны,— сказал он.— Мне кажется, что она заболела, становится другим человеком.

— Не знаю,— сказала Александра Владимировна.— Все мы переживаем горе. Все одинаково и каждый по-своему.

Разговор их был прерван стуком в дверь. Виктор Павлович поднялся. Но Людмила Николаевна крикнула из кухни:

— Я открою.

Непонятно было, в чем дело, но домашние замечали, что после возвращения из Саратова Людмила Николаевна по нескольку раз на день проверяла, нет ли писем в почтовом ящике.

Когда же кто-нибудь стучался, она бросалась поспешно к двери.

И сейчас, слушая ее торопливые, почти бегущие шаги, Виктор Павлович и Александра Владимировна переглянулись.

Они услышали раздраженный голос Людмилы Николаевны:

— Нету, нету сегодня ничего, и не ходите так часто, я вам уже два дня назад дала полкило хлеба.

35

Лейтенанта Викторова вызвали в штаб к майору Закаблуке, командиру стоявшего в резерве истребительного летного полка. Дежурный по штабу, лейтенант Великанов, сказал, что майор улетел на У-2 в штаб воздушной армии, в район Калинина и вернется вечером. На вопрос Викторова, по поводу чего вызов, Великанов подмигнул, сказал, что, возможно, дело связано с пьянкой и скандалом в столовой.

Викторов заглянул за занавеску, сделанную из плащ-палатки и пристегнутого к ней ватного одеяла, оттуда раздавался треск пишущей машинки. Начканц Волконский, увидев Викторова, предупреждая его вопрос, проговорил:

— Нету, нету писем, товарищ лейтенант.

Машинистка, вольнонаемная Леночка, оглянулась на лейтенанта, поглядела в трофейное зеркальце со сбитого немецкого самолета, подарок погибшего летчика Демидова, поправила пилотку, передвинула линейку, лежавшую на ведомости, которую она перепечатывала, и снова ударила по клавишам машинки.

Этот длинномордый лейтенант, задававший начканцу один и тот же унылый вопрос, наводил на Леночку тоску.

Викторов, идя обратно на аэродром, свернул в сторону лесной опушки.

Вот уже месяц, как полк вышел из боев, пополняя матчасть, принимал взамен выбывшего летный состав.

Месяц назад необычным казался этот неведомый Викторову северный край. Жизнь леса, молодой реки, гибко бегущей среди крутых холмов, запах прели, грибов, гудение деревьев тревожили его днем и ночью.

Во время полетов, казалось, земные запахи достигали кабины истребителя. Этот лес, озера дышали жизнью Древней Руси, о которой Викторов читал до войны. Здесь, среди озер, лесов лежали старинные дороги, из этого прямоствольного леса строились дома, церкви, обтесывались корабельные мачты. Старина задумалась и притихла еще в те времена, когда бежал тут серый волк и плакала Аленушка на бережку, которым Викторов теперь ходил в столовую военторга. Ему казалось, что эта ушедшая старина какая-то наивная, простая, молодая, и не только жившие в теремах девушки, но и седобородые купцы, дьяконы и патриархи на тысячу лет моложе житейски умудренных парней — летчиков из мира скоростных машин, автоматических пушек, дизелей, кино и радио, пришедших в эти леса с авиаполком майора Закаблуки. Знаком этой ушедшей молодости была Волга, быстрая, худенькая, в пестрых крутых берегах, в зелени леса, в голубых и красных цветных узорах...

Сколько их, лейтенантов, сержантов да и просто ребят без звания

ходят по военной дороге. Курят они положенное им число папирос, стучат белой ложкой в жестяной миске, играют в вагоне в подкидного, в городе лакомятся мороженым на палочке, пьют, кашляя, свою малую долю стограммовых стопок, пишут положенное число писем, кричат в полевой телефон, стреляют, кто из мелкокалиберной пушчонки, кто бахнет из главного калибра, кто нажмет в танке-тридцатьчетверке на акселератор, крикнет что-нибудь такое...

Земля под сапогом скрипела и пружинила, как старый матрац,— это лежали листья, сверху легкие, хрупкие, отличные один от другого и в смерти, а под ними засохшие уж годы назад, соединенные в одну хрусткую слитную коричневую массу,— пепел от той жизни, что взрывала почки, шумела в грозу, блестела на солнце после дождей. Истлевший, почти невесомый хворост крошился под ногами. Тихий свет доходил до лесной земли, рассеянный лиственным абажуром. Воздух в лесу был застывший, густой; это особенно ощущал привыкший к воздушным вихрям летчик-истребитель. Нагретое, потное дерево пахло сырой свежестью древесины. Но запах умерших деревьев и хвороста забивал запах живого леса. Там, где стояли ели, в октаву врезалась высокая скипидарная нота. Осина пахла приторно сладко, горько дышала ольха. Лес жил отдельно от остального мира, и Викторову казалось, что он входит в дом, где все не так, как на улице: и запахи, и свет через спущенные занавески, и звуки по-иному раздавались в этих стенах, и, пока не выйдешь из леса, все чувствуешь себя не по-обычному, как на малознакомых людях. Словно со дна, сквозь высокий, толстый слой лесного воздуха смотришь наверх, плещут листья, и кажется, что трескучая паутина, цепляющаяся за зеленую звездочку на пилотке,— это водоросли, взвешенные между поверхностью и дном водоема. Кажется, что быстрые толстоголовые мухи, и вялая мошкара, и тетерев, по-куриному продирающийся между ветвей, шевелят плавниками и никогда им не подняться над лесом, как не подняться рыбе выше поверхности воды; а если сорока вспорхнет над вершиной осины, то тотчас вновь нырнет меж ветвей,— рыба блеснула на мгновение белым боком на солнце и вновь плюхнулась в воду. И каким странным кажется мох в каплях росы, синих, зеленых, гаснущих в сумраке лесного дна.

Хорошо из этой тихой полутьмы вдруг выйти на светлую поляну, все сразу по-иному — и теплая земля, и запах нагретого солнцем можжевельника, и подвижность воздуха, и поникшие большие колокольчики, отлитые из фиолетового металла, и цветы дикой гвоздики на липких смолистых стеблях. На душе становится беспечно, и поляна — как счастливый день в бедной жизни. Кажется, что бабочки-лимонницы, черно-синие отшлифованные жуки, муравьи, прошуршавшие в траве, уж не хлопочут каждый о себе, а все вместе работают одну общую работу. Коснулась лица березовая ветка, осыпанная мелкими листьями; кузнечик подпрыгнул, угодил об человека, как об древесный ствол, уцепился за его поясной ремень, не торопясь напруживает зеленые ляжки, сидит с круглыми кожаными глазами, с литой бараньей мордой. Тепло, запоздалые цветы земляники, горячие от солнца пуговицы и пряжка поясного ремня. Наверное, над этой поляной никогда не пролетали ни Ю-88, ни ночной «Хейнкель».

36

Часто ночью он вспоминал месяцы, проведенные в сталинградском госпитале. Он не помнил мокрой от пота рубахи, солоноватой, вызывающей тошноту воды, не помнил тяжелого запаха, мучившего его. Эти госпитальные дни представлялись ему счастьем. И здесь, в лесу, прислушиваясь к гулу деревьев, он думал: «Неужели я слышал ее шаги?»

Неужели это было? Она обнимала его, гладила его волосы, она плакала, и он целовал ее мокрые, соленые глаза.

Иногда Викторов думал о том, как на «Яке» доберется до Сталинграда, всего ведь несколько часов, в Рязани можно зарядиться, потом дойти до Энгельса, там у него знакомый парень работает ответственным дежурным. Ну, пусть потом расстреляют.

Ему все вспоминалась прочитанная в старой книге история: братья, богачи Шереметьевы, сыновья фельдмаршала, выдали замуж свою шестнадцатилетнюю сестру за князя Долгорукого, девочка до свадьбы, кажется, один только раз и видела его. Братья дали за невестой огромное приданое, даренное серебро уместилось в трех комнатах. А через два дня после свадьбы был убит Петр II. Долгорукого, его приближенного, схватили и увезли на север, заперли в деревянную башню. Молодая жена не послушалась уговоров,— ей можно было освободиться от этого брака, ведь девочка всего два дня прожила с ним. Она поехала за мужем, поселилась в лесном глухом краю, в деревенской избе. Каждый день в течение десяти лет ходила она к башне, где сидел Долгорукий. Однажды утром она увидела: окошко в башне настежь, дверь не заперта. Молодая княгиня побежала по улице, падала на колени перед каждым встречным, кто бы он ни был,— мужик, стрелец, молила, спрашивала, где муж ее. Люди сказали ей, что Долгорукого увезли в Нижний Новгород. Много перетерпела она в тяжелом пешем пути. А в Нижнем она узнала, что Долгорукий четвертован. Тогда Долгорукая решила уйти в монастырь, поехала в Киево-Печерскую лавру. В день пострига она долго ходила по берегу Днепра. Но не о воле жалела Долгорукая, надо было ей, принимая монашество, снять с пальца обручальное кольцо, и не могла с ним расстаться... Много часов ходила она по берегу, а потом, когда солнце стало садиться, сняла с пальца кольцо, кинула его в Днепр и пошла к монастырским воротам.

И лейтенанту воздушных сил, воспитаннику детдома, слесарю в механической мастерской Стальгрэса все вспоминалась жизнь княгини Долгорукой. Он шел лесом, и ему представлялось: вот уж нет его, закопали, и подкопченный фрицем самолет, ушедший носом в землю, проржавел, рассыпался, зарос травой, и по этим местам ходит Вера Шапошникова — остановится, спустится по обрыву к Волге, глядит на воду... А двести лет назад ходила здесь молодая Долгорукая, выйдет на поляну, пройдет среди льна, раздвинет руками осыпанные красными ягодами кусты. И больно ему делалось, и горько, и безнадежно, и сладко.

Идет лесом узкоплечий лейтенантик в старенькой гимнастерке,— сколько их забыто в незабываемое время.

37

Викторов, еще подходя к аэродрому, понял, что произошли какие-то важные события. Машины-бензозаправщики разъезжали по летному полю, техники, мотористы из батальона аэродромного обслуживания суетились около самолетов, стоявших под маскирующими их сетками. Обычно молчаливый движок рации стучал четко и сосредоточенно.

«Ясно»,— подумал Викторов, ускоряя шаги.

И тут же все подтвердилось, ему встретился лейтенант Соломатин с розовыми пятнами ожога на скуле и сказал:

— Выходим из резерва, есть приказ.

— К фронту? — спросил Викторов.

— А куда, к Ташкенту? — спросил Соломатин и пошел в сторону деревни.

Он, видимо, был расстроен, у него завязалось серьезное дело с хозяйкой квартиры, и сейчас он, должно быть, спешил к ней.

— Делиться будет Соломатин: избу бабе, корову себе,— проговорил рядом с Викторовым знакомый голос. Это шел по тропинке лейтенант Еремин, с которым Викторов ходил в паре.

— Куда нас, Ерема? — спросил Викторов.

— Может, Северо-Западный пойдет в наступление. Сейчас командир дивизии на Эр-пятом пришел. У меня пилот знакомый на «Дугласе» в штабе Воздушной, можно спросить. Он все знает.

— Чего спрашивать, скажут сами.

А тревога уже охватила не только штаб и летчиков на аэродроме, но и деревню. Черноглазый, пухлогубый младший лейтенант Король, самый молодой летчик в полку, нес по улице постиранное и поглаженное белье, поверх белья лежали коврижка и узелок сухих ягод.

Над Королем подшучивали, что хозяйки — две вдовые старухи — баловали его коврижками. Когда он уходил на задания, старухи шли к аэродрому, встречали его на полпути — одна высокая, прямая, другая с согнутой спиной; он шел между ними, злой, смущенный, избалованный мальчик,

и летчики говорили, что Король ходит в звене с восклицательным и вопросительным знаками.

Командир эскадрильи Ваня Мартынов вышел из дома в шинели, неся в одной руке чемоданчик, в другой парадную фуражку, которую, боясь помять, не вкладывал в чемодан. Рыжая хозяйская дочь без платка, с самодельной завивкой смотрела ему вслед таким взором, что уж лишним было бы рассказывать и о ней и о нем.

Хроменький мальчик отрапортовал Викторову, что политрук Голуб и лейтенант Вовка Скотной, с которыми он вместе квартировал, ушли с вещами.

Викторов перебрался на эту квартиру несколько дней назад, до этого он жил с Голубом у плохой хозяйки, женщины с высоким выпуклым лбом и с выпуклыми желтыми глазами. Посмотрев в эти глаза, человеку делалось не по себе.

Чтобы избавиться от постояльцев, она напускала в избу дыма, а однажды подсыпала им золы в чай. Голуб уговаривал Викторова написать рапорт об этой хозяйке комиссару полка, но Викторов не хотел писать рапорта.

— Хай ее холера задушит,— согласился Голуб и добавил слова, которые слышал от матери, еще мальчиком: — До нашего берега що пристанет — як не гивно, то триска.

Они перебрались на новую квартиру, она показалась им раем. Но вот в раю побыть пришлось недолго.

Вскоре и Викторов с вещевым мешком и продавленным чемоданчиком шел мимо высоких, словно двухэтажных, серых изб, хромой мальчик прыгал рядом, нацеливаясь подаренной ему Викторовым трофейной кобурой в кур, в кружащие над лесом самолеты. Он прошел мимо избы, откуда Евдокия Михеевна выкуривала его дымом, и увидел за мутным стеклом ее неподвижное лицо. Никто не заговаривал с ней, когда она, неся от колодца два деревянных ведра, останавливалась передохнуть. Не было у нее ни коровы, ни овцы, ни стрижей под крышей. Голуб расспрашивал о ней, пытался выявить ее кулацкую родословную, но оказалось, что она из бедняцкой семьи. Женщины говорили, что после смерти мужа она словно помешалась: забралась в холодное осеннее время в озеро и просидела в нем сутки. Мужики ее силой вытащили оттуда. Но, говорили женщины, она и до смерти мужа, и до замужества была неразговорчива.

Вот идет Викторов по улице лесной деревни и через несколько часов улетит навсегда отсюда, и все это — гудящий лес, деревня, где лоси заходят на огороды, папоротник, желтые натеки смолы, кукушки — перестанет для него существовать. Исчезнут старики, девчонки, разговоры о том, как проводили коллективизацию, рассказы о медведях, отнимавших у баб лукошки с малиной, о мальчишках, наступавших голой пяткой на гадючьи головки... Исчезнет эта деревня, странная для него и необычная, вся обращенная к лесу, как был обращен к заводу рабочий поселок, где он родился и вырос.

А потом истребитель приземлится, и вмиг возникнет, станет новый аэродром, сельский или заводской поселок со своими старухами, девчонками, со своими слезами и шутками, котами с лысыми от шрамов носами, со своими рассказами о прошлом, о сплошной коллективизации, со своими плохими и хорошими квартирными хозяйками.

И красавец Соломатин на новом положении в свободную минутку наденет фуражку, пройдется по улице, споет под гитару и сведет с ума девчонку.

Командир полка майор Закаблука с бронзовым лицом и бритым белым черепом, гремя пятью орденами Красного Знамени, переминаясь на кривых ногах, зачитал летчикам приказ о выходе из резерва, сказал, что ночевать приказывает в блиндажах и что порядок следования будет объявлен перед вылетом на аэродроме.

Затем он сказал, что отлучаться из аэродромных блиндажей командование запрещает и с нарушителями шуток не будет.

— Щоб мне не спали в воздухе, а хорошо выспались пэрэд полетом,— объяснил он.

Заговорил комиссар полка Берман, которого не любили за высокомерие, хотя он умел толково и красиво говорить о тонкостях летного дела.

Особенно плохо стали относиться к Берману после случая с летчиком Мухиным. У Мухина завязалась любовная история с красивой радисткой Лидой Войновой. Их роман всем нравился,— едва была свободная минута, они встречались, ходили гулять к реке и шли, всегда взявшись за руки. Над ними даже не смеялись, так уже все было ясно в их отношениях.

И вдруг пошел слух, и шел этот слух от самой Лиды, она рассказала подруге, а от подруги пошло по полку,— во время очередной прогулки Мухин изнасиловал Войнову, угрожал ей огнестрельным оружием.

Берман, узнав об этом деле, разъярился и проявил столько энергии, что в течение десяти дней Мухин был судим трибуналом и приговорен к расстрелу.

Перед исполнением приговора в полк прилетел член Военного Совета Воздушной армии, генерал-майор авиации Алексеев, и стал выяснять обстоятельства мухинского преступления. Лида вогнала генерала в полное смущение, стала перед ним на колени, умоляла поверить, что все дело против Мухина — нелепая ложь.

Она рассказала ему всю историю,— они лежали с Мухиным на лесной поляне, целовались, потом она задремала, и Мухин, желая подшутить над ней, незаметно просунул ей между колен револьвер, выстрелил в землю. Она проснулась, вскрикнула, и Мухин снова стал с ней целоваться. А уж в передаче, шедшей от подруги, которой Лида все это рассказала, дело выглядело совсем жутко. Правда во всей этой истории была лишь одна, необычайно простая,— ее любовь с Мухиным. Все разрешилось благополучно, приговор отменили. Мухина перевели в другой полк.

Вот с тех пор летчики не любили Бермана.

Как-то в столовой Соломатин сказал, что русский человек так бы не поступил.

Кто-то из летчиков, кажется, Молчанов, ответил, что есть плохие люди среди всех наций.

— Вот возьми Короля, еврей, а с ним в паре хорошо ходить. Идешь на задание и знаешь — в хвосте сидит такой друг, в котором уверен,— сказал Ваня Скотной.

— Ну какой же Король еврей? — сказал Соломатин.— Король — это свой парень, я в нем в воздухе уверен больше, чем в себе. Он у меня под Ржевом «мессера» из-под самого хвоста вымел. И я два раза бросал несчастного, подбитого фрица из-за Борьки Короля. А знаешь сам, я забываю мать родную, когда в бой иду.

— Тогда как же получается,— сказал Викторов,— если еврей хороший, ты говоришь — он не еврей.

Все рассмеялись, а Соломатин сказал:

— Ладно, а вот Мухину смешно не было, когда ему Берман расстрел пришил.

В это время в столовую вошел Король, и кто-то из летчиков его участливо спросил:

— Слушай, Боря, ты еврей?

Король смутился и ответил:

— Да, еврей.

— Это точно?

— Вполне точно.

— Обрезанный?

— Да ну тебя к черту,— ответил Король. Все стали снова смеяться.

А когда летчики шли с аэродрома в деревню, Соломатин пошел рядом с Викторовым.

— Знаешь,— сказал он,— ты напрасно речи произносил. Когда я работал на мыловаренном заводе, у нас аидов полно было — все начальство. Насмотрелся я на этих самуилов абрамовичей,— и уж один за другого, круговая порука, будь уверен.

— Да что ты пристал,— пожал плечами Викторов,— что ты меня к ним в коллегию записываешь?

Берман заговорил о том, что в жизни летного состава открывается новая эра, кончилась жизнь в резерве. Это все понимали и без него, но слушали со вниманием, не проскользнет ли в его речи намека, останется ли полк на Северо-Западном фронте и лишь переведут его под Ржев, перебросят ли на запад, на юг?

Берман говорил:

— Итак, у боевого летчика качество первое — знать матчасть, знать так, чтобы играть ею; второе — любовь к своей машине, любить ее, как сестру, как мать; третье — смелость, а смелость — это холодный ум и горячее сердце. Четвертое — чувство товарищества, оно воспитывается всей нашей советской жизнью; пятое — беззаветность в бою! Успех — в слетанности пар! Следи за ведущим! Настоящий летчик и на земле всегда думает, разбирает прошлый бой, прикидывает: «Эх, так бы лучше, эх, не так бы надо!»

Летчики с фальшивым выражением интереса глядели на комиссара и тихонько переговаривались.

— Может, на эскорт «Дугласов», что везут продукты в Ленинград? — сказал Соломатин, у которого в Ленинграде была знакомая.

— На Московское направление? — сказал Молчанов, чьи родные жили в Кунцеве.

— А может, под Сталинград? — проговорил Викторов.

— Ну, это вряд ли, — сказал Скотной.

Ему было безразлично, куда бросят полк, — все близкие его находились на оккупированной Украине.

— А ты, Боря, куда летишь? — спросил Соломатин. — В свою еврейскую столицу, Бердичев?

Вдруг темные глаза Короля совсем потемнели от бешенства, и он внятно матерно выругался.

— Младший лейтенант Король! — крикнул комиссар.

— Слушаюсь, товарищ батальонный комиссар...

— Молчать...

Но Король уже и так молчал.

Майор Закаблука отличался как знаменитый знаток и любитель матерного слова и из-за того, что боевой летчик матюгнулся в присутствии начальства, не стал бы поднимать историю. Он сам каждое утро кричал своему ординарцу: «Мазюкин... твою в бога, веру... — И совершенно мирно заканчивал: — Дай-ка мне полотенце».

Однако, зная кляузный нрав комиссара, командир полка боялся тут же амнистировать Короля. Берман в рапорте описал бы, как Закаблука дискредитировал перед летным составом политическое руководство. Берман уже писал в политотдел, что Закаблука завел в резерве личное хозяйство, пил водку с начальством штаба и имел связь с зоотехником Женей Бондаревой из местного населения.

Поэтому командир полка начал издалека. Он грозно, хрипло закричал:

— Как стоите, младший лейтенант Король? Два шага вперед! Что за разгильдяйство?

Потом он повел дело дальше.

— Политрук Голуб, доложите комиссару, по какой причине Король нарушил дисциплину.

— Разрешите доложить, товарищ майор, он поругался с Соломатиным, а почему, я не слышал.

— Старший лейтенант Соломатин!

— Есть, товарищ майор!

— Доложите. Не мне! Батальонному комиссару!

— Разрешите доложить, товарищ батальонный комиссар?

— Докладывайте, — кивнул Берман, не глядя на Соломатина. Он ощутил, что командир полка гнет какую-то свою линию. Он знал, что Закаблука отличался необычайной хитростью и на земле, и в воздухе, — там, наверху, он лучше всех умел быстро разгадать цель, тактику противника, перехитрить его хитрости. А на земле он знал, что сила начальства в слабостях, а слабость подчиненных в их силе. И он умел, когда нужно, и прикинуться, и казаться простачком, и угодливо хохотать над глупой остротой, сказанной глупым человеком. И он умел держать в руках отчаянных воздушных лейтенантов.

В резерве Закаблука проявил склонность к сельскому хозяйству, главным образом к животноводству и птицеводству. Он занимался и заготовками плодоягодных культур: устраивал наливки из малины, солил и сушил грибы. Его обеды славились, и командиры многих полков любили в свободные часы подскочить к нему на У-2, выпить и закусить. Но майор не признавал пустого хлебосольства.

Берман знал еще одно свойство майора, делающее отношения с ним особенно трудными: расчетливый, осторожный и хитрый Закаблука был одновременно почти безумным человеком, идя напролом, уже не жалел своей жизни.

— С начальством спорить все равно, что с... против ветра, — говорил он Берману и вдруг совершал безумный, идущий наперекор его же пользе поступок, комиссар только ахал.

Когда случалось им обоим находиться в хорошем настроении, они разговаривали, подмигивали друг другу, похлопывали один другого по спине или по животу.

— Ох, и хитрый мужик у нас комиссар, — говорил Закаблука.

— Ох, и силен наш героический майор, — говорил Берман.

Закаблука не любил комиссара за елейность, за трудолюбие, с которым он вписывал в донесения каждое неосторожное слово; он высмеивал в Бермане его слабость к хорошеньким девочкам, его любовь к вареной курице — «дайте мне ножку» — и равнодушие к водке, он осуждал его безразличие к житейским обстоятельствам других людей и умение создать для самого себя основные бытовые условия. Он ценил в Бермане ум, готовность пойти на конфликт с начальством ради пользы дела, храбрость, — иногда, казалось, сам Берман не понимал, как легко может потерять жизнь.

И вот эти два человека, собираясь вести на линию боев воздушный полк, искоса поглядывая друг на друга, слушали, что говорит лейтенант Соломатин.

— Я должен прямо сказать, товарищ батальонный комиссар, это по моей вине Король нарушил дисциплину. Я над ним подсмеивался, он терпел, а потом, конечно, забылся.

— Что вы ему сказали, отвечайте комиссару полка, — перебил Закаблука.

— Тут ребята гадали, куда полк пойдет, на какой фронт, а я Королю говорю: ты, наверно, в свою столицу, на Бердичев, хочешь?

Летчики поглядывали на Бермана.

— Не понимаю, в какую столицу? — сказал Берман и вдруг понял. Он смутился, все почувствовали это, и особенно командира полка поразило, что это случилось с человеком, подобным лезвию опасной бритвы. Но дальнейшее тоже было удивительно.

— Ну что ж тут такого? — сказал Берман. — А если бы вы, Король, сказали Соломатину, который, как известно, происходит из села Дорохово Ново-Рузского района, что он хочет воевать под селом Дорохово, что ж он должен был бить вас за это по морде? Странная местечковая этика, несовместимая со званием комсомольца.

Он говорил слова, которые всегда неотвратимо, с какой-то гипнотизирующей силой действовали на людей. Все понимали, что Соломатин хотел обидеть и обидел Короля, а Берман уверенно объяснял летчикам, что Король не изжил националистических предрассудков и его поведение есть пренебрежение дружбой народов. Ведь не надо Королю забывать, что именно фашисты используют националистические предрассудки, играют на них.

Все, что говорил Берман, само по себе было справедливо и верно. Революция, демократия родили идеи, о которых он говорил сейчас взволнованным голосом. Но сила Бермана в эти минуты заключалась в том, что не он служил идее, она служила ему, его сегодняшней нехорошей цели.

— Видите, товарищи, — сказал комиссар. — Там, где нет идейной ясности, нет и дисциплины. Этим и объясняется сегодняшний поступок Короля.

Он подумал и добавил:

— Безобразный поступок Короля, безобразное, несоветское поведение Короля.

Тут уж, конечно, Закаблука не мог вмешаться, проступок Короля комиссар связал с вопросом политическим, и Закаблука знал, что ни один строевой командир никогда не посмеет вмешаться в действие политических органов.

— Вот какое дело, товарищи, — сказал Берман, помолчав некоторое время, чтобы увеличить впечатление от своих слов, и закончил: — Ответственность за это безобразие ложится на непосредственного виновника, но она ложится и на меня, комиссара полка, не сумевшего помочь летчику Королю изжить в себе отсталое, отвратительное, националистическое. Вопрос серьезней, чем казалось мне вначале, поэтому я не буду сейчас наказывать Короля за совершенное им нарушение дисциплины. Но я принимаю на себя задачу перевоспитания младшего лейтенанта Короля.

Все зашевелились, поудобней усаживаясь, почувствовали: обошлось.

Король посмотрел на Бермана, и что-то было такое в его взгляде, отчего Берман поморщился, дернул плечом и отвернулся.

А вечером Соломатин сказал Викторову:

— Видишь, Леня, у них всегда так — один за другого, шито-крыто. Попался бы ты или Ваня Скотной на таком деле — закатал бы, будь уверен, Берман, в штрафное подразделение.

38

Вечером в блиндаже летчики не спали, лежа на нарах, курили и разговаривали. Скотной за ужином выпил прощальные граммы и напевал:

Машина в штопоре кружится,
Ревет, летит земле на грудь.
Не плачь, родная, успокойся,
Меня навеки позабудь.

Великанов все же не выдержал, проболтался, и стало известно, что полк перебазируется под Сталинград.

Луна поднялась над лесом, и беспокойное пятно засветлело меж деревьев. Деревня, расположенная в двух километрах от аэродрома, лежала словно в золе, темная, притихшая. Летчики, сидевшие у входа в блиндаж, оглядывали чудный мир земных ориентиров. Викторов смотрел на легкие лунные тени от крыльев и хвостов «яков», тихонько подпевал певцу:

И вынут нас из-под машины,
Поднявши на руки каркас,
Взовьются в небо ястребочки,
В последний путь проводят нас.

А те, что лежали на нарах, беседовали. Говоривших не было видно в полутьме, но они хорошо знали друг друга по голосу и, не называя имен, отвечали на вопросы и задавали вопросы.

— Демидов сам просился на задания, он без воздуха худел.

— Помнишь, под Ржевом, когда мы сопровождали «петляковых», восемь «мессеров» на него навалились, он бой принял, семнадцать минут держался.

— Да, сменять истребителя на «юнкерса» — целесообразная вещь.

— Идет в воздухе и поет. Я каждый день его песни вспоминаю. Он и Вертинского пел.

— Развитой, москвич!

— Да, уж этот в воздухе не бросит. Всегда за отстающим следил.

— Ты его и не узнал хорошо.

— Узнал я. Напарника видишь в полете машины. Он мне раскрылся.

Скотной закончил очередной куплет песни, и все притихли, ожидая, пока он снова запоет. Но Скотной не стал петь.

Он повторил известную на аэродромах поговорку, сравнивавшую жизнь летчика-истребителя с короткой детской рубашонкой.

Заговорили о немцах.

— Его тоже сразу определяешь, какой сильный, настойчивый, какой ловит простачков, клюет сзади, караулит отстающего.

— У них, в общем, пары не так крепки.

— Ну, не скажи.

— Фриц в раненого зубами вцепится, а от активного уйдет.

— Один на один, пусть у него и две железки, я его собью!

— Ты не обижайся, но я бы за сбитого «юнкерса» не стал бы звание присваивать.

— Таран — вот русская натура.

— А чего мне обижаться, ты у меня звания не отнимешь.

— Да, насчет тарана у меня мысль давно есть... Я его еще ударю винтярой!

— Таран на догоне — вот таран! Загнать его в землю: с дымом, с газом!

— Интересно, командир полка корову и кур возьмет с собой на «Дуглас»?

— Их уже порешили всех: солят!

Кто-то протяжно и задумчиво проговорил:

— Я бы в хороший клуб зайти сейчас с девушкой постеснялся, отвык совсем.

— Зато Соломатин не стесняется.

— Или завидуешь, Леня?

— Завидую факту, а не объекту.

— Ясно. Верен до гроба.

Потом все стали вспоминать бой под Ржевом, последний перед выходом в резерв, когда семь истребителей столкнулись с большой группой «юнкерсов», шедших на бомбежку в сопровождении «мессеров». И казалось, каждый говорил о себе, но это казалось — говорили об общем.

— На фоне леса их не было видно, а поднялись — сразу заметно. Идут в три яруса! Я сразу признал «Ю-восемьдесят семь»: ноги торчат, нос желтый. Тут уж сел поудобней: ну, будет дело!

— А я сперва подумал: это разрывы зенитных.

— Солнце, конечно, способствовало этому делу! Я прямо с солнца на него свалился. Я левым ведомым шел. Тут сразу меня метров на тридцать подкинуло. Подкачал — ничего, самолет слушается! Пошел на «юнкерса» всем оружием, подзакоптил его, а тут «мессер» длинный, как щука желтоносая, дал вираж, но опоздал. Вижу — по мне огоньки, идет синяя трасса.

— А я вижу, моя трасса в его черных плоскостях кончается.

— Увлекаешься!

— Я еще в детстве пускал змеев, отец драл меня! А на заводе был, семь километров в аэроклуб ходил после работы, язык на плече, а ни одного занятия не пропустил.

— Нет, ты сюда послушай. Он меня — поджег: масляный бак, трубки бензиновые. Внутри загорелся. Пару! А тут еще ударил мне в козырек, разбил очки, стекла летят из козырька, слезы текут. Ну я что — рванул под него, сорвал очки! Соломатин меня прикрыл. И знаешь — горю, а страха нет, — времени не хватает! Сел все же, сам не обгорел, сапоги сгорели, самолет сгорел.

— Я же вижу — сейчас свалят нашего парня. А я еще два виража сделал, он мне помахал: иди! Я был не парный, кидался вышибать «мессеров» у тех, кто нуждался.

— Ох, и я же тогда привез пробоин, избили меня, как старую куропатку.

— Я двенадцать раз ходил на этого фрица, подзакоптил! Вижу — мотает головой — верный куш есть! На расстоянии двадцати пяти метров пушкой его сбил.

— Да, вообще надо сказать — немец не любит бой на горизонталях, старается перейти на вертикальный.

— Вот это сказанул!

— А что?

— Да кто же этого не знает? Это уж в деревне девки знают: он отрывается от резких виражей.

— Эх, «чаечек» надо было тогда получше прикрыть, там люди хорошие.

Потом стало тихо, и кто-то сказал:

— Уйдем завтра чуть свет, а Демидов останется тут один.

— Ну, ребята, кто куда, а я в сберкассу, — надо в деревню сходить.

— Прощальный визит — пошли?

Ночью все вокруг — река, поля, лес — было так тихо и прекрасно, что казалось, в мире не может быть ни вражды, ни измены, ни старости, а одна лишь счастливая любовь. Облака наплывали на луну, и она шла в сером дыму, и дым застилал землю. Мало кто ночевал в эту ночь в блиндажах. На лесной опушке, у деревенских заборов мелькали белые платки, слышался смех. В тишине вздрагивало дерево, испуганное ночным

сновидением, а иногда речная вода неразборчиво бормотала и вновь беззвучно скользила.

Пришел горький час для любви — час разлуки, час судьбы, — одну что плачет, забудут на второй день; других разлучит смерть, кому-то судьба присудит верность, встречу.

Но вот пришло утро. Заревели моторы, плоский самолетный ветер прижал охваченную смятением траву, и тысячи водяных капель затрепетали на солнце... Боевые самолеты, один за другим взбираясь на синюю гору, поднимают в небо пушки и пулеметы, кружат, ждут товарищей, строятся звеньями...

И то, что ночью казалось таким необъятным, уходит, тонет в синем небе...

Видны серые коробочки-дома, прямоугольники огородов, они скользят, уходят под крыло самолета... Уже не видна тропка, поросшая травой, не видна могила Демидова... Пошли! И вот лес дрогнул, пополз под крыло самолета.

— Здравствуй, Вера! — сказал Викторов.

39

В пять часов утра дневальные стали будить заключенных. Стояла глубокая ночь, бараки были освещены безжалостным светом, которым освещаются тюрьмы, узловые железнодорожные станции, приемные покои в городских больницах.

Тысячи людей, харкая, кашляя, подтягивали ватные штаны, наворачивали на ноги портянки, чесали бока, животы, шеи.

Когда спускавшиеся со вторых этажей деревянных нар задевали ногами по головам одевавшихся внизу, те не ругались, а молча отодвигали головы, отпихивали рукой толкавшие их ноги.

В ночном пробуждении массы людей, мелькании портянок, движении спин, голов, махорочного дыма, в воспаленном, ярком электрическом свете была пронзительная неестественность: сотни квадратных километров тайги застыли в морозной тишине, а лагерь был набит людьми, полон движения, дыма, света.

Всю первую половину ночи шел снег, и сугробы завалили двери бараков, захлестнули дорогу, ведущую к шахтам...

Медленно завыли шахтные сирены, и, может быть, где-нибудь в тайге волки подвывали их широкому и безрадостному голосу. На лагерном поле сипло лаяли овчарки, слышался гул тракторов, расчищавших дороги к шахтным зданиям, перекликались конвойные...

Сухой снег, освещенный прожекторами, блестел нежно и кротко. На широком лагерном поле под беспрерывный лай собак началась поверка. Голоса конвойных звучали простуженно и раздраженно... Но вот широкий, взбухающий от обилия живой поток поплыл в сторону шахтных копров, скрипели ботинки и валенки. Вытаращив свой одинокий глаз, пялилась караульная вышка.

А сирены все выли, дальние и близкие, — северный сводный оркестр. Он звучал над морозной красноярской землей, над автономной республикой Коми, над Магаданом, над Советской Гаванью, над снегами колымского края, над чукотской тундрой, над лагерями мурманского севера и северного Казахстана...

Под голоса сирен, под удары ломика по подвешенной к дереву рельсе шли добытчики соликамского калия, ридеровской и балхашской меди, колымского никеля и свинца, кузнецкого и сахалинского угля, шли строители железной дороги, идущей поверх вечной мерзлоты вдоль берега Ледовитого океана, колымских бархатных трасс, рабочие лесоповала Сибири и Северного Урала, мурманского и архангельского края.

В этот снежный ночной час начинался день на таежных лагпунктах и командировках великой лагерной громады Дальстроя.

40

Ночью у зека Абарчука был приступ тоски. Не той привычной и угрюмой лагерной тоски, а обжигающей, как малярия, заставляющей вскрикивать, срываться с нар, ударять себя по вискам, по черепу кулаками.

Утром, когда заключенные поспешно и одновременно неохотно собирались на работу, сосед Абарчука, газовый десятник, кавалерийский комбриг времен гражданской войны, длинноногий Неумолимов спросил:

— Что это ты мотался так ночью? Баба снилась? Ржал даже.

— Тебе бы только баба, — отвечал Абарчук.

— А я думал, ты во сне плачешь, — сказал второй сосед по нарам придурок Монидзе, член президиума Коммунистического интернационала молодежи, — я тебя разбудить хотел.

А третий лагерный друг Абарчука, фельдшер Абраша Рубин, ничего не заметил и сказал, когда они выходили в морозную тьму:

— Мне, знаешь, сегодня снился Николай Иванович Бухарин, будто он приехал к нам в Институт красной профессуры веселый, живой, и идет дикий шум по поводу теории Енчмена.

Абарчук пришел на работу в инструментальный склад. Пока его помощник Бархатов, зарезавший когда-то с целью грабежа семью из шести человек, растапливал печь кедровыми чурками — отходами от лесопильной рамы, Абарчук перекладывал инструменты, лежавшие в ящиках. Ему казалось, что колючая острота напильников и резцов, напитавшихся обжигающим холодом, передает чувство, испытанное им ночью.

День ничем не отличался от предыдущих. Бухгалтер прислал с утра утвержденные техотделом заявки дальних лагпунктов. Надо было отобрать материалы и инструменты, упаковать их в ящики, составить сопроводительные ведомости. Некоторые посылки были некомплектны, и требовалось составление особых актов.

Бархатов, как всегда, ничего не делал, и заставить его работать нельзя было. Он, приходя на склад, занимался лишь вопросами питания, и сегодня он с утра варил в котелке суп из картофеля и капустных листьев. На минуту забежал к Бархатову профессор латыни из Харьковского фармацевтического института — посыльный при первой части — и дрожащими красными пальцами высыпал на стол немного грязного пшена. Бархатов за какие-то дела брал с него калым.

Днем Абарчука вызвали в финчасть — в отчете не сходились цифры. Зам. нач. финчасти кричал на него, грозился написать рапорт начальнику. От этих угроз Абарчуку стало тошно. Один, без помощника, он не справлялся с работой, а пожаловаться на Бархатова он не смел. Он устал боялся потерять работу кладовщика, попасть опять в шахту или на лесоповал. Он уже поседел, сил стало мало... Вот, наверное, и от этого схватила его тоска — жизнь ушла под сибирский лед.

Когда он вернулся из финчасти, Бархатов спал, подложив под голову валенки, видимо, принесенные ему кем-то из уголовников; рядом с его головой стоял пустой котелок, к щеке прилипло трофейное пшено.

Абарчук знал, что Бархатов иногда уносит со склада инструменты, возможно, валенки появились в результате обменных операций со складским имуществом. А когда Абарчук однажды, недосчитавшись трех напильников, сказал:

— Как не стыдно во время Отечественной войны воровать дефицитный металл, —

Бархатов ему ответил:

— Ты, вошь, молчи. А то знаешь!

Абарчук не смел прямо будить Бархатова и стал греметь, перекладывать ленточные пилы, кашлять, уронил на пол молоток. Бархатов проснулся, спокойными и недовольными глазами следил за ним.

Потом он негромко сказал:

— Малый со вчерашнего эшелона рассказывал — есть лагеря хуже озерных. Зека в кандалах, полчерепа побритые. Фамилий нет, одни номера понашиты на груди, на коленях, а на спине бубновый туз.

— Брехня, — сказал Абарчук.

Бархатов мечтательно сказал:

— Надо было всех фашистов политических туда собрать, а тебя, падло, первым, чтобы не будил меня.

— Простите, гражданин Бархатов, я нарушил ваш покой, — сказал Абарчук.

Он очень боялся Бархатова, но иногда не мог справиться со своим раздражением.

В час смены на склад зашел черный от угольной пыли Неумолимов.

— Ну как соревнование? — спросил Абарчук.— Включается народ?

— Разворачиваем. Уголек-то на военные нужды идет — это все понимают. Плакаты сегодня на КВЧ принесли: поможем Родине ударным трудом.

Абарчук вздохнул, сказал:

— Знаешь, надо написать труд о лагерной тоске. Одна тоска давит, вторая наваливается, третья душит, дышать не дает. А есть такая особая, которая не душит, не давит, не наваливается, а изнутри разрывает человека, вот как разрывает глубинных чудовищ давление океана.

Неумолимов грустно улыбнулся, но зубы его не блеснули белизной, они у него были порченые, сливались по цвету с углем.

Бархатов подошел к ним, и Абарчук, оглянувшись, сказал:

— Всегда ты так бесшумно ходишь, я вздрагиваю даже: вдруг уж ты рядом.

Бархатов, человек без улыбки, озабоченно проговорил:

— Я схожу на продсклад, не возражаешь?

Он ушел, и Абарчук сказал своему другу:

— Вспомнил ночью сына от первой жены. Он, наверное, на фронт пошел.

Он наклонился к Неумолимову.

— Мне хочется, чтобы парень вырос хорошим коммунистом. Я вот думал, встречусь с ним, скажу ему: помни, судьба твоего отца случайна, мелочь. Дело партии — святое дело! Высшая закономерность эпохи!

— Он твою фамилию имеет?

— Нет,— отвечал Абарчук,— я считал, что из него вырастет мещанин.

Накануне вечером и ночью он думал о Людмиле, ему хотелось видеть ее. Он искал обрывки московских газет, вдруг прочтет: «лейтенант Анатолий Абарчук». И ему станет ясно, что сын захотел носить фамилию отца.

Впервые в жизни ему захотелось жалости к себе, и он представлял, как подойдет к сыну, дыхание прервется, и он покажет рукой на горло: «Не могу говорить».

Толя обнимет его, и он положит голову сыну на грудь и заплачет, без стыда, горько, горько. И они так долго будут стоять, сын выше его на голову...

Сын постоянно думал об отце. Он разыскал товарищей отца, узнал, как отец участвовал в боях за революцию. Толя скажет: «Папа, папа, ты совсем белый стал, какая у тебя худая, морщинистая шея... Все эти годы ты боролся, ты вел великую, одинокую борьбу».

Во время следствия его кормили три дня соленым и не давали воды. Били.

Он понял, что дело не в том, чтобы заставить его подписать показания о диверсиях и о шпионаже, и не в том, чтобы он оговорил людей. Главное было в том, чтобы он усомнился в правоте дела, которому отдал жизнь. Когда шло следствие, ему казалось, что он попал в руки бандитов и стоит добиться встречи с начальником отдела — и бандит-следователь будет схвачен.

Но шло время, и он увидел, что дело не только в нескольких садистах.

Он узнал законы эшелона и законы арестантского пароходного трюма. Он видел, как уголовные проигрывали в карты не только чужие вещи, но и чужую жизнь. Он видел жалкий разврат, предательство. Он видел уголовную Индию, истеричную, кровавую, невероятно жестокую. Он видел страшные побоища между «суками» — работающими и «ворами» — ортодоксами, отказывающимися от работы.

Он говорил: «Зря не сажают», — считал, что посажена по ошибке маленькая кучка людей, в том числе и он, остальные репрессированы за дело,— меч правосудия покарал врагов революции.

Он видел угодливость, вероломство, покорность, жестокость... Он называл эти черты родимыми пятнами капитализма и считал, что их несли на себе бывшие люди, белые офицеры, кулачье, буржуазные националисты.

Его вера была непоколебима, его преданность партии — беспредельна.

Неумолимов, собираясь уходить со склада, неожиданно сказал:

— Да, забыл, ведь тебя тут один спрашивал.

— Это где же?

— Со вчерашнего эшелона. Их на работу распределяли. Один тебя спросил. Я говорю: «Случайно знаю, я с ним случайно четвертый год рядом на нарах сплю». Он мне назвался, но фамилия вылетела из головы.

— А какой он по виду? — спросил Абарчук.

— Да знаешь, плюгавенький, шрам на виске.

— Ох! — вскрикнул Абарчук. — Неужели Магар?

— Во, во.

— Да это же мой старший товарищ, учитель мой, он меня в партию ввел! О чем он спрашивал? Что говорил?

— Обычное спрашивал,— какой у тебя срок? Я сказал: просил пять, получил десять. Теперь, говорю, кашлять стал, освободится досрочно.

Абарчук не слушал Неумолимова, повторял:

— Магар, Магар... Он работал одно время в ВЧК. Это был особый человек, знаешь, особый. Товарищу все отдаст, шинель зимой с себя снимет, последний кусок хлеба товарищу отдаст. А умен, образованный. И чистых пролетарских кровей, сын керченского рыбака.

Он оглянулся и наклонился к Неумолимову.

— Помнишь, мы говорили, коммунисты в лагере должны создать организацию, помогать партии, а Абрашка Рубин спросил: «Кого же в секретари?» Вот его.

— А я за тебя голосну,— сказал Неумолимов,— я его не знаю. Где найдешь его,— десять машин с людьми пошли на лагпункты, наверное, и он поехал.

— Ничего, найдем, ах, Магар, Магар. Значит, спрашивал обо мне?

Неумолимов сказал:

— Чуть не забыл, зачем к тебе шел. Дай мне бумаги чистой. Вот память стала.

— Письмо?

— Нет, заявление Семе Буденному. На фронт буду проситься.

— Не пустят.

— Меня Сема помнит.

— Политических в армию не берут. Вот дадут наши шахты больше угля, и за это бойцы спасибо скажут, там и твоя доля будет.

— Я в войска хочу.

— Тут Буденный не поможет. Я Сталину писал.

— Не поможет? Шутишь,— Буденный! Иль тебе бумаги жалко? Я бы не стал просить, но мне в КВЧ бумаги не дают. Я свою норму использовал.

— Ладно, дам листик,— сказал Абарчук.

У него нашлось немного бумаги, за которую он не должен был отчитываться. А в КВЧ бумагу давали счетом, и надо было потом показывать, на что использована она.

Вечером в бараке шла обычная жизнь.

Старый кавалергард Тунгусов, моргая глазами, рассказывал бесконечную историю-роман: уголовные внимательно слушали, почесываясь и одобрительно покачивали головами.

Тунгусов плел путаную, замысловатую баланду, всаживая в нее имена знакомых балерин, знаменитого Лоуренса, события из жизни трех мушкетеров, плавание жюль-верновского Наутилуса.

— Постой, постой,— сказал один из слушателей,— как же она перешла границу Персии, ты вчера говорил — ее легавые отравили?

Тунгусов помолчал, кротко посмотрел на критика, потом бойко проговорил:

— Положение Надин лишь казалось безнадежным. Усилия тибетского врача, влившего в ее полуоткрытые губы несколько капель драго-

ценного отвара, добытого из синих высокогорных трав, вернули ей жизнь. К утру она настолько оправилась, что могла передвигаться по комнате без посторонней помощи. Силы возвращались к ней.

Объяснение удовлетворило слушателей.

— Ясно... дуй дальше, — сказали они.

В углу, который назывался колхозный сектор, хохотали, слушая старого глупостника, немецкого старосту Гасюченко, нараспев говорящего похабные частушки:

— Гоп сыдор, макотер
Дид на печки...

Дальше шли такие рифмы, что слушатели изнемогали от смеха. Страдающий от грыжи московский журналист и писатель, добрый, умный и робкий человек, медленно жевал белый сухарь — он накануне получил посылку от жены. Видимо, вкус и хруст сухаря напоминал ему прошлую жизнь — в глазах его стояли слезы.

Неумолимов спорил с танкистом, попавшим в лагерь за убийство из низменных побуждений. Танкист развлекал слушателей, глумился над кавалерией, а Неумолимов, бледный от ненависти, кричал ему:

— Мы своими клинками, знаешь, чего делали в двадцатом году!

— Знаю, кур ворованных кололи. Одна машина КВ всю вашу Первую конную завернуть может. Вы гражданскую войну с «Отечкой» не сравнивайте.

Молодой вор Колька Угаров приставал к Абраше Рубину, уговаривал его сменять ботинки на рваные, с оторванными подметками тапочки. Рубин, чуя беду, нервно зевал, оглядывался на соседей, ища поддержки.

— Смотри, жид, — говорил похожий на поворотливого, светлоглазого дикого кота Колька, — смотри, падло, ты мне последние нервы треплешь.

Потом Угаров сказал:

— Почему ты мне освобождения не подписал от работы?

— Ты ведь здоров, я не имею права.

— Не подпишешь?

— Коля, милый, клянусь тебе, я бы с радостью, но не могу.

— Не подпишешь?

— Ну, пойми. Неужели ты думаешь, если б я мог...

— Ладно. Все.

— Постой, постой, пойми меня.

— Я понял. Теперь ты поймешь.

Обрусевший швед Штеддинг, о нем говорили, что он действительно шпион, отрываясь на миг от картины, которую он рисовал на куске картона, выданного ему в культурно-воспитательной части, поглядел на Кольку, на Рубина, покачал головой и снова обратился к картине. Картина называлась «Тайга-матушка». Штеддинг не боялся уголовных — они почему-то не трогали его.

Когда Колька отошел, Штеддинг сказал Рубину:

— Безумно ведете себя, Абрам Ефимович.

Не боялся уголовных и белорус Конашевич, он до лагеря был авиационным механиком на Дальнем Востоке, завоевал в тихоокеанском флоте звание чемпиона по боксу в полутяжелом весе. Конашевича уголовные уважали, но он никогда не вступался за тех, кого воры обижали.

Абарчук медленно шел по узкому проходу между двухэтажными нарами-крестами, тоска вновь охватила его. Дальний конец стометрового барака тонул в махорочном тумане, и каждый раз казалось, что, дойдя до барачного горизонта, Абарчук увидит новое, но было все то же, — тамбур, где под деревянными желобами-умывальниками стирали портянки заключенные, прислоненные к штукатуренной стене швабры, крашеные ведра, матрасики на нарах, набитые вылезавшими сквозь мешковину стружками, ровный гул разговоров, испитые, все под один цвет лица заключенных.

Большинство зека, ожидая вечернего отбоя, сидели на нарах, говорили о супе, о бабах, о нечестности хлебореза, о судьбе своих писем Сталину и заявлений в Прокуратуру СССР, о новых нормах для отбойки и откатки угля, о сегодняшнем морозе, о завтрашнем морозе.

Абарчук шел медленно, слушая обрывки разговоров, — и казалось, все одна и та же нескончаемая беседа длится годами среди тысяч людей на этапах, в эшелонах, в лагерных бараках — у молодых о бабах, у старых о еде. Особенно было нехорошо, когда о женщинах жадно говорили старики, а о вкусной вольной еде — молодые ребята.

Проходя мимо нар, где сидел Гасюченко, Абарчук ускорил шаги, — старый человек, чью жену дети и внуки зовут «мама», «бабушка», нес такое, что страшно делалось.

Скорей бы отбой, — лечь на нары, закрыть голову ватником, не видеть, не слышать.

Абарчук посмотрел на дверь, — вот войдет Магар. Абарчук уговорит старосту, их положат рядом, и ночами они будут беседовать — откровенно, искренно, — два коммуниста, учитель и ученик, члены партии.

На нарах, где размещались хозяева барака — бригадир угольной бригады Перекрест, Бархатов, староста барака Зароков, — устроили пирушку. Шестерка — перекрестовский холуй, плановик Желябов — постелил на тумбочку полотенце, раскладывая сало, селедку, пряники — калым, полученный Перекрестом с тех, кто работал в его бригаде.

Абарчук прошел мимо хозяйских нар, чувствуя, как замирает сердце, — вдруг окликнут, позовут. Очень хотелось поесть вкусненького. Подлец Бархатов! Ведь делает все, что хочет на складе, ведь Абарчук знает, что он ворует гвозди, украл три напильника, но ни слова не заявил на вахте... мог бы подозвать: «Эй, заведующий, присядь с нами». И, презирая себя, Абарчук чувствовал, что не только желание поесть, но и другое чувство волнует его — мелкое и подлое лагерное чувство. Побыть в кругу сильных, по-простому разговаривать с Перекрестом, перед которым трепетал весь огромный лагерь.

И Абарчук подумал о себе — падло. И тут же думал о Бархатове — падло.

Его не позвали, позвали Неумолимова, и, улыбаясь коричневыми зубами, пошел к нарам кавалерийский комбриг, кавалер двух орденов Красного Знамени. Улыбающийся человек, подходивший к воровскому столу, двадцать лет тому назад вел в бой кавалерийские полки, добывать мировую коммуну...

Зачем он говорил Неумолимову сегодня о Толе, о самом своем дорогом?

Но ведь и он шел в бой за коммуну, и он из своего кабинета на кузбасской стройке рапортовал Сталину, и он волновался, окликнут ли его, когда, потупившись, с деланно безразличным лицом, проходил мимо тумбочки, покрытой вышитым грязным полотенцем.

Абарчук подошел к нарам Монидзе, тот штопал носок и сказал:

— А мне сегодня Перекрест сказал: «Имей в виду, кацо, дам тебе кулаком по черепу, доложу на вахте, и мне благодарность будет, — ты последний изменник».

Абраша Рубин, сидевший на соседних нарах, сказал:

— И не это самое плохое.

— Да, да, — сказал Абарчук, — видел, как комбриг обрадовался, когда его позвали?

— А ты огорчился, что не тебя позвали? — сказал Рубин.

Абарчук с той особой ненавистью, которая рождается болью от справедливого упрека и подозрения, сказал:

— Читай свою душу, а в мою не лезь.

Рубин по-куриному полузакрыл глаза:

— Я? Я даже огорчаться не смею. Я низшая секта, неприкасаемый. Слышал мой разговор с Колькой?

— Не то, не то, — отмахнулся Абарчук, встал и вновь зашагал в сторону тамбура, по проходу между нарами, и вновь до него доходили слова длинной, не имеющей конца беседы.

— Борщ со свининой и в будни, и в праздники.

— У нее грудь, ты не поверишь.

— А я по-простому — баранину с кашей, зачем мне ваши майонезы, граждане...

Он снова вернулся к нарам Монидзе, присел, прислушался к разговору.

Рубин говорил:

— Я не понял его, почему он сказал: «Станешь композитором». А это он имел в виду стукачей — пишут оперу, ну оперуполномоченному.

Монидзе, продолжая штопать, сказал:

— Ну его к черту, стучать — последнее дело!

— Как стучать? — сказал Абарчук. — Ты ведь коммунист.

— Такой же, как ты, — ответил Монидзе, — бывший.

— Я не бывший, — сказал Абарчук, — и ты не бывший.

И опять Рубин обозлил его, высказав справедливое подозрение, которое всегда оскорбительней и тяжелей несправедливого:

— Тут дело не в коммунизме. Надоели кукурузные помои три раза в день. Я этот суп видеть не могу. Это — за. А против — не хочется, чтобы ночью сделали темную, а утром нашли, как Орлова в уборной, спущенным в очко. Слышал мой разговор с Колькой Угаровым?

— Головой вниз, ногами вверх! — сказал Монидзе и стал смеяться, должно быть, потому, что смеяться было нечему.

— Ты что ж, считаешь, мной руководят животные инстинкты? — спросил Абарчук и почувствовал истерическое желание ударить Рубина.

Он снова сорвался с места и пошел по бараку.

Конечно, надоела кукурузная болтушка. Сколько уж дней он гадает о грядущем обеде в день Октябрьской революции: рагу из овощей, макароны по-флотски, запеканка?

Конечно, от оперуполномоченного многое зависит, и таинственны, туманны дорожки к высотам жизни — зав. баней, хлеборез. Ведь он может работать в лаборатории — белый халат, заведующая-вольнонаемная, не зависеть от уголовных, он может работать в плановом отделе, заведовать шахтой... Но Рубин не прав. Рубин хочет унизить, Рубин подрывает силу, ищет в человеке то, что воровски прокрадывается из подсознания. Рубин диверсант.

Всю жизнь Абарчук был непримиримым к оппортунистам, ненавидел двурушников и социально чуждых.

Его душевная сила, его вера были в праве суда. Он усомнился в жене и расстался с ней. Он не поверил, что она воспитает сына непоколебимым борцом, и он отказал сыну в своем имени. Он клеймил тех, кто колебался, презирал нытиков и проявлявших слабость маловеров. Он предавал суду итээровцев, тосковавших в Кузбассе по московским семьям. Он засудил сорок социально нечестных рабочих, подавшихся со стройки в деревни. Он отрекся от мещанина-отца.

Сладко быть непоколебимым. Совершая суд, он утверждал свою внутреннюю силу, свой идеал, свою чистоту. В этом была его утеха, его вера. Он ни разу не уклонился от партийных мобилизаций. Он добровольно отказался от партмаксимума. В его самоотречении было его самоутверждение. В своей неизменной гимнастерке и сапогах он ходил на работу, на заседания коллегии наркомата, в театр, гулял в Ялте по набережной, когда партия послала его лечиться. Он хотел походить на Сталина.

Теряя право судить, он терял себя. И Рубин чувствовал это. Почти каждый день он намекал на слабости, на трусость, на жалкие желания, прокрадывающиеся в лагерную душу.

Позавчера он сказал:

— Бархатов снабжает складским металлом шпану, а наш Робеспьер молчит. Цыпленки тоже хочут жить.

Когда Абарчук, готовясь осудить кого-нибудь, ощущал, что он и сам подсуден, начинал колебаться, его охватывало отчаяние, он терял себя.

Абарчук остановился у нар, где старый князь Долгорукий говорил с молодым профессором экономического института Степановым. Степанов вел себя в лагере надменно, отказывался вставать, когда в барак входило начальство, открыто высказывал несоветские взгляды. Он гордился тем, что в отличие от массы политических заключенных сидел за дело: написал статью под заголовком: «Государство Ленина — Сталина» и давал ее читать студентам. Не то третий, не то четвертый читатель донес на него.

Долгорукий вернулся в Советский Союз из Швеции. До Швеции он долго жил в Париже и стосковался по родине. Через неделю после возвращения он был арестован. В лагере он молился, дружил с сектантами и писал стихи мистического содержания.

Сейчас он читал Степанову стихи.

Абарчук, опершись плечом на перекрещенные доски, набитые между нарами первого и второго этажа, послушал чтение. Долгорукий, полузакрыв глаза, читал дрожащими, потрескавшимися губами. И негромкий голос его был дрожащий и потрескавшийся.

— Я не сам ли выбрал час рожденья,
Год и область, царство и народ,
Чтоб пройти все муки и крещенья
Совести, огня и вод.
Апокалиптическому зверю
Вверженный в зияющую пасть,
Павший ниже, чем возможно пасть,
В гноище и смраде — верю!
Верю в правоту верховных сил,
Расковавших древние стихии,
И из недр обугленной России
Говорю: ты прав, что так судил!
Надо до алмазного закала
Прокалить всю толщу бытия.
Если ж дров в плавильной печи мало,
Господи, вот плоть моя!

Окончив чтение, он продолжал сидеть с полузакрытыми глазами, и губы его продолжали беззвучно шевелиться.

— Мура, — сказал Степанов, — декадентство.

Долгорукий показал бледной, бескровной рукой вокруг себя.

— Вы видите, куда привели русских людей Чернышевский и Герцен. Помните, что писал Чаадаев в своем третьем философском письме?

Степанов учительским тоном сказал:

— Вы в своем мистическом мракобесии мне так же противны, как и организаторы этого лагеря. И вы, и они забываете о третьем, самом естественном пути России: пути демократии, свободы.

Абарчук уже не раз спорил со Степановым, но теперь ему не хотелось вмешиваться в разговор, клеймить в Степанове врага, внутреннего эмигранта. Он прошел в угол, где молились баптисты, послушал их бормотание.

В это время раздался зычный голос старосты Зарокова:

— Встать!

Все повскакивали с мест, в барак вошло начальство. Скосив глаза, Абарчук видел бледное длинное лицо стоявшего, руки по швам, фитиля-доходяги Долгорукого, губы его шептали. Он, вероятно, повторял свои стихи. Рядом сидел Степанов, он, как всегда, из анархических побуждений не подчинялся разумным правилам внутреннего распорядка.

— Шмон, шмон, — шептали заключенные.

Но обыска не было. Два молодых конвойных солдата в красно-синих фуражках прошли меж нарами, оглядывая заключенных.

Поравнявшись со Степановым, один из них сказал:

— Сидишь, профессор, жопу боишься простудить.

Степанов, повернув свою курносую, широкую морду, громким голосом попугая ответил заученную фразу:

— Гражданин начальник, прошу обращаться ко мне на «вы», я являюсь политическим заключенным.

Ночью в бараке произошло ЧП, — был убит Рубин.

Убийца приставил к его уху во время сна большой гвоздь и затем сильным ударом вогнал гвоздь в мозг. Пять человек, в том числе Абарчук, были вызваны к оперуполномоченному. Опера, видимо, интересовало происхождение гвоздя. Такие гвозди недавно поступили на склад, и с производства на них еще не было требований.

Во время умывания Бархатов стал у деревянного желоба рядом с Абарчуком. Повернув к нему свое мокрое лицо, Бархатов, слизывая капли воды с губ, тихо сказал:

— Запомни, падло, если стукнешь оперу — мне ничего не будет. А тебя пришью в эту же ночь, да так, что лагерь содрогнется.

Вытеревшись полотенцем, он заглянул своими спокойными промы-

тыми глазами в глаза Абарчука и, прочтя в них то, что хотел прочесть, пожал Абарчуку руку.

В столовой Абарчук отдал Неумолимову свою миску кукурузного супа.

Неумолимов дрожащими губами сказал:

— Вот зверь. Абрашу нашего! Какой человек! — и придвинул к себе абарчуковский суп.

Абарчук молча встал из-за стола.

При выходе из столовой толпа расступилась, в столовую шел Перекрест. Переступая порог, он нагнулся, лагерные потолки не были рассчитаны на его рост.

— Сегодня у меня рождение. Приходи гулять. Водочки выпьем.

Ужасно! Десятки людей слышали ночную расправу, видели человека, подошедшего к нарам Рубина.

Что стоило вскочить, поднять по тревоге барак? Сотни сильных людей, объединившись, могли за две минуты справиться с убийцей, спасти товарища. Но никто не поднял головы, не закричал. Человека убили, как овцу. Люди лежали, притворяясь спящими, натягивая на головы ватники, стараясь не кашлянуть, не слышать, как метался в беспамятстве умирающий.

Какая подлость, какая овечья покорность!

Но ведь и он не спал, ведь и он молчал, покрыл голову ватником. Он отлично знал, что покорность не от пустяков, рождена опытом, знанием лагерных законов.

Подымись они ночью, останови убийцу, все равно человек с ножом сильней человека, не имеющего ножа. Сила барака — минутная сила, а нож всегда нож.

И Абарчук думал о предстоящем допросе: оперуполномоченному просто требовать показаний, он не спит ночью в бараке, он не моется в тамбуре, подставляя спину под удар, он не ходит по шахтным продольным, он не заходит в барачную уборную, где вдруг навалятся, накинут на голову мешок.

Да, да, он видел, как ночью шел человек к спящему Рубину. Он слышал, как хрипел Рубин, бил, умирая, руками и ногами по нарам.

Оперуполномоченный, капитан Мишанин, вызвал Абарчука к себе в кабинет, прикрыл дверь, сказал:

— Садитесь, заключенный.

Он стал задавать первые вопросы, те, на которые получал всегда от политических заключенных быстрые и точные ответы.

Потом он поднял утомленные глаза на Абарчука и, заранее понимая, что многоопытный заключенный, боясь неминуемой барачной расправы, никогда не скажет, каким образом гвоздь попал в руки убийцы, несколько мгновений смотрел на Абарчука.

Абарчук тоже смотрел на него, разглядывал молодое лицо капитана, его волосы и брови, веснушки на носу, и думал, что капитан старше его сына не больше, чем на два-три года.

Капитан задал вопрос, тот, ради которого вызвал заключенного, вопрос, на который уже не ответили трое допрошенных до Абарчука.

Абарчук некоторое время молчал.

— Вы что, глухой?

Абарчук продолжал молчать.

Как хотелось ему, чтобы оперуполномоченный, пусть даже не искренне, а лишь применяя установленный следственный прием, сказал: «Слушай, товарищ Абарчук, ведь ты коммунист. Сегодня ты в лагере, а завтра мы с тобой будем в одной организации членские взносы платить. Помоги мне, как товарищ товарищу, как члену партии».

Но капитан Мишанин сказал:

— Заснули, что ли, так я вас сейчас разбужу.

Но Абарчука не надо было будить.

Осипшим голосом он сказал:

— Гвозди воровал со склада Бархатов. Он взял, кроме того, со склада три напильника. Убийство, по-моему, совершил Николай Угаров. Я знаю, что Бархатов передал ему гвозди, а Рубина Угаров несколько раз грозил убить. И вчера обещал: Рубин не давал ему освобождение по болезни.

Затем он взял протянутую ему папиросу и сказал:

— Я считаю своим партийным долгом заявить вам об этом, товарищ оперуполномоченный. Товарищ Рубин — старый член партии.

Капитан Мишанин дал ему прикурить и начал быстро, молча писать. Потом он сказал мягким голосом:

— Вы должны знать, заключенный, ни о каком партийном членстве вам говорить не полагается. Вам запрещено обращение — товарищ. Я для вас гражданин начальник.

— Виноват, гражданин начальник, — сказал Абарчук.

Мишанин сказал ему:

— Деньков несколько, пока я не закончу дознания, у вас тут порядок будет. А потом — знаете. Можно вас перевести в другой лагерь.

— Нет, я не боюсь, гражданин начальник, — сказал Абарчук.

Он шел на склад, зная, что Бархатов его ни о чем не спросит. Бархатов неотступно будет глядеть на него, вытянет правду, следя за его движениями, взглядами, покашливаниями.

Он был счастлив, он победил себя.

Он вновь обрел право суда. И, вспоминая Рубина, Абарчук жалел, что не может высказать ему того плохого, что думал о нем вчера.

Прошло три дня, а Магар не появлялся. Абарчук спрашивал о нем в управлении шахт, ни в одном из списков знакомые Абарчуку писаря не нашли фамилии Магара.

Вечером, когда Абарчук понял, что судьба их развела, пришел в барак занесенный снегом санитар Трюфелев и, выдирая ледяшки из ресниц, сказал Абарчуку:

— Слышьте, тут к нам в санчасть поступил один заключенный, просил вас прийти до него.

Трюфелев добавил:

— Давай лучше сейчас тебя проведу. Отпросись у старосты, а то знаешь, в наших зека сознательности никакой — накроется в два счета, агитируй его, когда наденет деревян-бушлат.

41

Санитар привел Абарчука в больничный коридор, пахнущий своим особым, отличным от бараков, плохим запахом. Они прошли в полутьме мимо наваленных деревянных носилок и связанных в тюки старых ватников, видимо, дожидавшихся дезинфекции.

Магар лежал в изоляторе — каморке с бревенчатыми стенами, где почти вплотную одна к другой стояли две железные кровати. В изолятор обычно клали либо больных инфекционными заболеваниями, либо доходяг-умирающих. Тоненькие ножки кроватей казались проволочными, но они не были погнуты, полнотелые люди никогда не лежали на этих кроватях.

— Не сюда, не сюда, правей, — раздался голос настолько знакомый, что Абарчуку показалось, нету седины, нету неволи, а снова то, чем жил и ради чего счастлив был отдать жизнь.

Он, вглядываясь в лицо Магара, исступленно, медленно сказал:

— Здравствуй, здравствуй, здравствуй...

Магар, боясь не справиться с волнением, произнес нарочито буднично:

— Да садись, садись прямо против меня на койку.

И, видя взгляд, которым Абарчук поглядел на соседнюю койку, добавил:

— Ты его не потревожишь, его уж никто не потревожит.

Абарчук наклонился, чтобы лучше видеть лицо товарища, потом снова оглянулся на прикрытого покойника:

— Давно он?

— Часа два назад умер, санитары его не тревожат пока, ждут врача, это лучше, а то положат другого, живой говорить не даст.

— Это верно, — сказал Абарчук и не задал вопросы, страстно интересующие его: «Ну как, ты с Бубновым проходил или по делу Соколь-

никова? А срок какой у тебя? Ты был во Владимирском или Суздальском политизоляторе? Особое совещание или военная коллегия? Ты подписал на себя?»

Он оглянулся на прикрытое тело, спросил:

— А кто он, отчего умер?

— Умер от лагеря, раскулаченный. Звал какую-то Настю, все хотел уходить куда-то...

Абарчук постепенно различил в полумраке лицо Магара. Он не узнал бы его, какое уж там не изменился — умирающий старик!

Чувствуя спиной прикосновение твердой, согнутой в локте руки покойника, ощущая на себе взгляд Магара, он подумал: «Тоже, наверно, считает: в жизни б не узнал».

А Магар сказал:

— Я только сейчас понял,— он все бубнил что-то вроде: би... би... би... би, а это он просил: «Пить, пить», кружка рядом, хоть бы выполнил его последнюю волю.

— Видишь, мертвый тоже вмешивается.

— А это понятно,— сказал Магар, и Абарчук услышал знакомую, всегда взволнованную его интонацию: так обычно Магар начинал серьезный разговор. — Ведь говорим о нем, а разговор о себе.

— Нет, нет! — Абарчук, поймав горячую ладонь Магара, сжал ее, обнял его за плечи, затрясся от беззвучного рыдания, задохнулся.

— Спасибо тебе,— бормотал он,— спасибо тебе, спасибо, товарищ, друг.

Они молчали, оба тяжело дыша. Их дыхание смешивалось в одно, и Абарчуку казалось, что не только дыхание их слилось.

Магар заговорил первый.

— Слушай,— сказал он,— слушай, друг, я тебя так в последний раз называю.

— Брось ты, ты будешь жить! — сказал Абарчук.

Магар сел на постели.

— Как пытки не хочу, но должен сказать. И ты слушай,— сказал он покойнику,— это тебя касается, твоей Насти. Это мой последний революционный долг, и я его выполню! Ты, товарищ Абарчук, особая натура. Да и встретились мы когда-то в особое время, мне кажется, наше лучшее время. Вот я скажу тебе... Мы ошиблись. Наша ошибка вот к чему привела — видишь... мы с тобой должны просить прощения у него. Дай-ка мне закурить. Да какое уж там каяться. Сего не искупить никаким покаянием. Это я хотел сказать тебе. Раз. Теперь — два. Мы не понимали свободы. Мы раздавили ее. И Маркс не оценил ее: она основа, смысл, базис под базисом. Без свободы нет пролетарской революции. Вот два, и слушай — три. Мы проходим через лагерь, тайгу, но вера наша сильней всего. Не сила это — слабость, самосохранение. Там, за проволокой, самосохранение велит людям меняться, иначе они погибнут, попадут в лагерь — и коммунисты создали кумира, погоны надели, мундиры, исповедуют национализм, на рабочий класс подняли руку, надо будет, дойдут до черносотенства... А здесь, в лагере, тот же инстинкт им велит не меняться — если не хочешь покрыться деревян-бушлатом, то не меняйся в лагерные десятилетия... Две стороны медной монетки...

— Перестань! — крикнул Абарчук и поднес к лицу Магара сжатый кулак. — Тебя сломали! Ты не вынес! То, что ты сказал, ложь, бред.

— Хорошо бы, но я не в бреду. Я ведь снова зову тебя! Как двадцать лет назад звал! Если мы не можем жить, как революционеры,— умрем, так жить хуже.

— Хватит, довольно!

— Прости меня. Я понимаю. Я похож на старую гетеру, что плачет о потерянной добродетели. Но говорю тебе: помни! Дорогой мой, прости меня...

— Простить? Да лучше бы я, лучше бы ты вот так, как этот мертвец, лежали, не дожив до часа встречи...

Стоя уже в дверях, Абарчук проговорил:

— Я еще приду к тебе... Я тебе вправлю мозги, теперь я буду твоим учителем.

Утром санитар Трюфелев встретился Абарчуку на лагерном дворе, он тащил на санях бидон с молоком, обвязанный веревками. Странно было, что за Полярным кругом у человека потное лицо.

— Твоему дружку молочка не пить,— сказал он,— удавился сегодня ночью.

Приятно поразить человека новостью, и санитар с дружелюбным торжеством смотрел на Абарчука.

— Записку оставил?— спросил Абарчук и хлебнул ледяного воздуха. Ему показалось, что Магар обязательно оставил записку,— то, вчерашнее, нашло на него случайно.

— Зачем записка? Что ни напишешь — к оперу попадет.

Эта ночь была самая тяжелая в жизни Абарчука. Он лежал не шевелясь, стиснув зубы, глядя широко открытыми глазами на стену с темными следами давленых клопов.

Он обращался к сыну, которому не хотел когда-то дать своей фамилии, и звал его: «Ты теперь один у меня, ты один — моя надежда. Видишь, друг, учитель Магар хотел удавить мой ум, мою волю и сам удавился. Толя, Толя, ты один, один у меня на всем свете. Видишь ли ты меня, слышишь ли ты меня? Узнаешь ли когда-нибудь, что в эту ночь твой отец не согнулся, не поколебался?».

А вокруг, рядом, спал лагерь — спал тяжело, громко, некрасиво, в тяжелом, удушливом воздухе, с храпом, лепетанием, сонным визгом, со скрежетом зубов, с протяжными стонами и вскрикиваниями.

Абарчук вдруг приподнялся на нарах, казалось, рядом шевельнулась тень.

42

В конце лета 1942 года войска кавказской группы Клейста захватили первый советский нефтяной промысел близ Майкопа. Немецкие войска были на Нордкапе и на Крите, в Северной Финляндии и на берегу Ламанша. Народный маршал, солдат на солнце, Эрвин Роммель, стоял в 80 километрах от Александрии. На вершине Эльбруса горные егеря водрузили знамя со свастикой. Манштейн получил приказ двинуть гигантские пушки и верферы — новую реактивную артиллерию — на цитадель большевизма — Ленинград. Скептик Муссолини разрабатывал план вступления в Каир, тренировался в езде на арабском жеребце. Солдат на снегу, Диттль, стоял в тех северных широтах, до которых не доходил ни один европейский завоеватель. Париж, Вена, Прага, Брюссель стали провинциальными немецкими городами.

Пришла пора осуществить самые жестокие планы национал-социализма, направленные против человека, его жизни и свободы. Лидеры фашизма лгут, утверждая, что напряжение борьбы вынуждает их быть жестокими. Опасность, наоборот, отрезвляет их, неуверенность в своих силах заставляет их сдерживаться.

Мир захлебнется в крови в тот день, когда фашизм полностью будет уверен в своем окончательном торжестве. Если у фашизма не останется вооруженных врагов на земле, палачи не будут знать удержу. Ведь главный враг фашизма — человек.

Осенью 1942 года имперское правительство приняло ряд особо жестоких, бесчеловечных законов. В частности, 12 сентября 1942 года, в пору апогея военного успеха национал-социализма, евреи, населяющие Европу, были полностью изъяты из юрисдикции судов и переданы гестапо.

Руководство партии и лично Адольф Гитлер вынесли решение о полном уничтожении еврейской нации.

43

Софья Осиповна Левинтон иногда думала о том, что было прежде,— пять курсов Цюрихского университета, летняя поездка в Париж и в Италию, концерты в консерватории и экспедиции в горные районы Центральной Азии, врачебная работа, которую она вела тридцать два года, любимые кушанья, друзья, чья жизнь, с тяжелыми и веселыми днями, сплелась с ее жизнью, привычные телефонные звонки, привычные словечки «хошь... покедова...», карточные игры, вещи, оставшиеся в ее московской комнате.

Вспоминались сталинградские месяцы — Александра Владимировна, Женя, Сережа, Вера, Маруся. Чем ближе были ей люди, тем дальше ушли они от нее.

Как-то перед вечером в запертом товарном вагоне эшелона, стоявшего на запасных путях какой-то узловой станции недалеко от Киева, она искала вшей в вороте своей гимнастерки, а рядом две пожилые женщины быстро, негромко говорили по-еврейски. В этот момент она с необычайной ясностью осознала, что это именно с ней, с Сонечкой, Сонькой, Софой, Софьей Осиповной Левинтон, майором медицинской службы, все это произошло.

Главное изменение в людях состояло в том, что у них ослабевало чувство своей особой натуры, личности и силилось, росло чувство судьбы.

«Кто же действительно, по-настоящему — я, я, я? — думала Софья Осиповна. — Та куцая, сопливая, которая боялась папы и бабушки, или та толстая, вспыльчивая, со шпалами на вороте, или вот эта пархатая, вшивая?»

Желание счастья ушло, но появилось множество мечтаний: убить вшей... добраться до щелки и подышать воздухом... помочиться... помыть хотя бы одну ногу... и желание, жившее во всем теле, — пить.

Ее втолкнули в вагон, и она, оглянувшись в полутьме, казавшейся ей поначалу тьмой, услышала негромкий смех.

— Здесь смеются сумасшедшие? — спросила она.

— Нет, — ответил мужской голос. — Здесь рассказывают анекдот.

Кто-то меланхолически произнес:

— Еще одна еврейка попала в наш несчастный эшелон.

Софья Осиповна, стоя у дверей, жмурясь, чтобы привыкнуть к темноте, отвечала на вопросы.

Сразу же вместе с плачем, стонами, зловонием Софью Осиповну вдруг поглотила атмосфера с детства забытых слов, интонаций...

Софья Осиповна хотела шагнуть внутрь вагона, но не смогла. Она нащупала в темноте худенькую ногу в коротенькой штанине и сказала:

— Прости, мальчик, я тебя ушибла?

Но мальчик ничего не ответил ей. Софья Осиповна сказала в темноту:

— Мамаша, может быть, вы подвинете своего немого молодого человека? Я ведь не могу стоять все время на ногах.

Из угла истерический актерский мужской голос проговорил:

— Надо было дать заранее телеграмму, тогда бы подготовили номер с ванной.

Софья Осиповна раздельно сказала:

— Дурак.

Женщина, чье лицо уже можно было различить в полумраке, сказала:

— Садитесь возле меня, тут масса места.

Софья Осиповна ощутила, что пальцы ее быстро, мелко дрожат. Это был мир, знакомый ей с детства, мир еврейского местечка, и она ощутила, как все изменилось в этом мире.

В вагоне ехали рабочие из артелей, радиомонтер, студентки педтехникума, преподаватели профшкол, инженер с консервного завода, зоотехник, девушка — ветеринарный врач. Раньше местечко не знало таких профессий. Но ведь Софья Осиповна не изменилась, та же, что когда-то боялась папы и бабушки. И, может быть, этот новый мир такой же неизменный? А в общем, не все ли равно, еврейское местечко, новое ли, старое ли, катится под откос, в бездну.

Она услышала, как молодой женский голос сказал:

— Современные немцы — дикари, это они даже не слыхали о Генрихе Гейне.

Из другого угла мужской голос насмешливо произнес:

— А в итоге дикари нас везут, как скотину. Чем уж нам помог этот Гейне?

Софью Осиповну выспрашивали о положении на фронтах, и так как она ничего хорошего не рассказала, ей объяснили, что ее сведения неверные, и она поняла, что в телячьем вагоне есть своя стратегия, основанная на страстной жажде существовать на земле.

— Неужели вы не знаете, что Гитлеру послан ультиматум немедленно выпустить всех евреев?

Да, да, конечно, это так. Когда чувство коровьей тоски, обреченности сменялось режущим ощущением ужаса, на помощь людям приходил бессмысленный опиум — оптимизм.

Вскоре интерес к Софье Осиповне прошел, и она сделалась путницей, не знающей, куда и зачем везут ее, такой же, как и все остальные. Имя и отчество ее никто не спрашивал, фамилию ее никто не запомнил.

Софья Осиповна даже удивилась, — всего несколько дней понадобилось, чтобы пройти обратную дорогу от человека до грязной и несчастной, лишенной имени и свободы скотины, а ведь путь до человека длился миллионы лет.

Ее поражало, что в огромном постигшем людей бедствии их продолжают волновать житейские мелочи, что люди раздражаются друг против друга по пустякам.

Пожилая женщина шепотом говорила ей:

— Посмотри, докторша, на ту гранд-даму, она сидит у щелки, как будто только ее ребенку нужно дышать кислородом. Пани едет на лиман.

Ночью поезд останавливался два раза, и все вслушивались в скрипящие шаги охраны, ловили невнятные русские и немецкие слова.

Ужасно звучал язык Гете на ночных русских полустанках, но еще более зловещей казалась родная русская речь людей, служивших в немецкой охране.

К утру Софья Осиповна страдала вместе со всеми от голода и мечтала о глотке воды. И мечта ее была куцая, робкая, ей представлялась мятая консервная банка, на дне которой немного теплой жижи. Она почесывалась быстрым, коротким движением, каким собака вычесывает блох.

Теперь, казалось Софье Осиповне, она поняла различие между жизнью и существованием. Жизнь — кончилась, оборвалась, а существование длилось, продолжалось. И хоть было оно жалким, ничтожным, мысль о насильственной смерти наполняла душу ужасом.

Пошел дождь, несколько капель залетели в решетчатое окошечко. Софья Осиповна оторвала от подола своей рубахи тонкую полосу и придвинулась к стенке вагона, и в том месте, где имелась небольшая щель, просунула материю, ждала, пока лоскут напитается дождевой влагой. Потом она втянула лоскут в щель и стала жевать прохладную мокрую тряпку. А у стен и по углам вагона люди тоже стали рвать лоскуты, и Софья Осиповна ощутила гордость, — это она изобрела способ ловить, выуживать дождь.

Мальчик, которого Софья Осиповна толкнула ночью, сидел недалеко от нее и следил, как люди запускают тряпки в щели между дверью и полом. В неясном свете она увидела его худое, остроносое лицо. Ему, видимо, было лет шесть. Софья Осиповна подумала, что за все время ее пребывания в вагоне с мальчиком этим никто не заговаривал и он сидел неподвижно, не сказал ни с кем ни слова. Она протянула ему мокрую тряпку и сказала:

— Возьми-ка, паренек.

Он молчал.

— Бери, бери, — говорила она, и он нерешительно протянул руку.

— Как тебя зовут? — спросила она.

Он тихо ответил:

— Давид.

Соседка, Муся Борисовна, рассказала, что Давид приехал погостить к бабушке из Москвы и война отрезала его от матери. Бабушка погибла в гетто, а родственница Давида, Ревекка Бухман, которая едет с больным мужем, даже не позволяет мальчику сидеть возле себя.

К вечеру Софья Осиповна много наслушалась разговоров, рассказов, споров, сама говорила и спорила. Обращаясь к своим собеседникам, она говорила:

— Бридер иден [1], вот что я вам скажу.

Многие с надеждой ждали конца дороги, считали, что везут их в лагеря, где каждый будет работать по специальности, а больные попадут

[1] Братья евреи *(идиш)*.

в инвалидные бараки. Все почти беспрерывно говорили об этом. А тайный ужас, немой, молчаливый вой, не проходил, жил в душе.

Софья Осиповна узнала из рассказов, что не только человеческое живет в человеке. Ей рассказали о женщине, которая посадила парализованную сестру в корыто и вытащила ее зимней ночью на улицу, заморозила ее. Ей рассказали, что были матери, которые убивали своих детей, и что в вагоне едет такая женщина. Ей рассказали о людях, подобно крысам, тайно живших месяцами в канализационных трубах и питавшихся нечистотами, готовых на любое страдание, лишь бы существовать.

Жизнь евреев при фашизме была ужасна, а евреи не были ни святыми, ни злодеями, они были людьми.

Чувство жалости, которое испытывала Софья Осиповна к людям, возникало у нее особенно сильно, когда она смотрела на маленького Давида.

Он обычно молчал и сидел неподвижно. Изредка мальчик доставал из кармана мятую спичечную коробку и заглядывал в нее, потом снова прятал коробку в карман.

Несколько суток Софья Осиповна совершенно не спала, ей не хотелось. И в эту ночь она без сна сидела в зловонной темноте. «А где сейчас Женя Шапошникова?» — вдруг подумала она. Она слушала бормотания, вскрикивания и думала, что в спящих, воспаленных головах сейчас с ужасной живой силой стоят картины, которые словами уж не передать. Как сохранить, как запечатлеть их, если человек останется жить на земле и захочет узнать о том, что было?..

«Злата! Злата!» — закричал рыдающий мужской голос.

44

...В сорокалетнем мозгу Наума Розенберга совершалась привычная ему бухгалтерская работа. Он шел по дороге и считал: на позавчерашних сто десять — вчерашних шестьдесят один, на них шестьсот двенадцать за пятидневку, итого семьсот восемьдесят три... Жаль, что он не вел учет мужчин, детей, женщин... Женщины горят легче. Опытный бреннер кладет тела так, чтобы костистые, богатые золой старики горели рядом с телами женщин. Сейчас дадут команду — свернуть с дороги, — вот так же командовали год назад тем, которых они сейчас откопают и начнут вытаскивать из ям крючьями, привязанными к веревкам. Опытный бреннер по неразрытому холму может определить, сколько тел лежит в яме — пятьдесят, сто, двести, шестьсот, тысяча... Шарфюрер Эльф требует, чтобы тела называли фигурами, — сто фигур, двести фигур, но Розенберг зовет их: люди, убитый человек, казненный ребенок, казненный старик. Он зовет их так про себя, иначе шарфюрер впустит в него девять граммов металла, но он упорно бормочет: вот ты выходишь из ямы, казненный человек... не держись руками за маму, дитя, вы будете вместе, далеко ты не уйдешь от нее... «Что ты там бормочешь?» «Я ничего, это вам кажется». И он бормочет — борется, в этом его маленькая борьба... Позавчера была яма, где лежало восемь человек. Шарфюрер кричит: «Это издевательство, команда в двадцать бреннеров сжигает восемь фигур». Он прав, но что делать, если в деревушке было две еврейские семьи. Приказ есть приказ — раскопать все могилы и сжечь все тела... Вот они свернули с дороги, идут по траве, и вот в сто пятнадцатый раз посреди зеленой поляны серый холм — могила. Восемь копают, четверо валят дубовые стволы и распиливают их на поленья длиной в человеческое тело, двое разбивают их топорами и клиньями, двое подносят с дороги сухие старые доски, растопку, банки с бензином, четверо готовят место для костра, роют канаву для поддувала, — надо сообразить, откуда ветер.

Сразу исчезает запах лесной прели, и охрана смеется, ругается, зажимает носы, шарфюрер плюет, отходит на опушку. Бреннеры бросают лопаты, берутся за крючья, завязывают тряпками рты и носы... Здравствуйте, дедушка, опять вам пришлось посмотреть на солнце; какой вы тяжелый... Убитая мама и трое детей — два мальчика, один уже школьник, а девочка тридцать девятого года рождения, был рахит, — ничего, теперь его нет... Не держись руками за маму, дитя, она никуда не уйдет... «Сколько фигур?» — кричит с опушки шарфюрер. «Девятнадцать» — и тихо про себя: «Убитых людей». Все ругаются — полдня прошло. Зато на прошлой неделе раскопали могилу — двести женщин, все молодые. Когда сняли верхний слой земли, над могилой встал серый пар, и охрана смеялась: «Горячие бабы!» Поверх канавок, по которым тянет воздух, кладут сухие дрова, потом дубовые поленья, они дают богатый жаркий уголь, потом убитые женщины, потом дрова, потом убитые мужчины, снова дрова, потом бесхозные куски тел, потом банку бензина, потом в середку авиационную зажигательную бомбу, потом шарфюрер командует, и охрана заранее улыбается — бреннеры поют хором. Костер горит! Потом золу кидают в яму. Снова тихо. Было тихо, и стало тихо. А потом их привели в лес, и они не увидели холма среди зелени, шарфюрер приказал копать яму — четыре на два; все поняли — они выполнили задание: восемьдесят девять деревень, на них восемнадцать местечек, на них четыре поселка, на них два районных городка, на них три совхоза — два зерновых, один молочный, — итого сто шестнадцать населенных пунктов, сто шестнадцать холмов раскопали бреннеры... Пока бухгалтер Розенберг копает яму для себя и других бреннеров, он подсчитывает: последняя неделя — семьсот восемьдесят три, перед этим три декады в сумме дали четыре тысячи восемьсот двадцать шесть сожженных тел, общий итог — пять тысяч шестьсот девять сожженных тел. Он считает, считает, и от этого незаметно идет время, он выводит среднее число фигур, нет, не фигур, число человеческих тел; пять тысяч шестьсот девять делится на число могил — сто шестнадцать, получается сорок восемь и тридцать пять сотых человеческих тел в братской могиле, округляя, это будет сорок восемь человеческих тел в могиле. Если учесть, что работало двадцать бреннеров в течение тридцати семи дней, то на одного бреннера приходится... «Стройся», — кричит старший охранник, и шарфюрер Эльф зычно командует: «Ин ди грубе марш!» Но он не хочет в могилу. Он бежит, падает, снова бежит, он бежит лениво, бухгалтер не умеет бегать, но его не смогли убить, и он лежит в лесу на траве в тишине и не думает ни о небе над головой, ни о Златочке, которую убили беременной на шестом месяце, он лежит и считает то, что не успел досчитать в яме: двадцать бреннеров, тридцать семь дней, итого бреннеро-дней... — это раз; два — надо учесть, сколько кубов дров на человека; три — надо учесть, сколько часов горения в среднем на одну фигуру, сколько...

Через неделю его поймали полицейские и отвели в гетто.

И вот здесь, в вагоне, он все время бормочет, считает, делит, множит. Годовой отчет! Он должен его сдать Бухману, главному бухгалтеру Госбанка. И вдруг ночью, во сне, взрывая коросту, покрывшую его мозг и сердце, хлынули обжигающие слезы.

«Злата! Злата!» — зовет он.

45

Окно ее комнаты выходило на проволочную ограду гетто. Ночью библиотекарша Муся Борисовна проснулась, приподняла край занавески и увидела, как двое солдат тащили пулемет, на его полированном теле поблескивали синие пятна лунного света, очки шедшего впереди офицера поблескивали. Она слышала негромкий гул моторов. Машины приближались к гетто с потушенными фарами, и тяжелая ночная пыль серебрилась, клубясь вокруг их колес, — они, словно божества, плыли в облаках.

В эти лунные минуты, когда подразделения СС и СД, отряды украинских полицейских, подсобные части, автомобильная колонна резерва Управления имперской безопасности подошли к воротам спящего гетто, женщина измерила рок двадцатого века.

Лунный свет, мерное величавое движение вооруженных подразделений, черные могучие грузовики, заячье постукивание ходиков на стене, замершие на стуле кофточка, лифчик, чулки, теплый запах жилья — все несоединимое соединилось.

46

Дочь арестованного и погибшего в 1937 году старого доктора Карасика, Наташа, в вагоне время от времени пробовала петь. Иногда она напевала и ночью, но люди не сердились на нее.

Она была застенчива, всегда говорила едва слышным голосом, опустив глаза, ходила в гости только к близким родственникам и удивлялась смелости девушек, танцевавших на вечерах.

В час отбора людей, подлежащих уничтожению, ее не зачислили в кучку ремесленников и врачей, которым сохранили их полезную жизнь, — существование вянущей, поседевшей девушки было не нужно.

Полицейский подтолкнул ее к базарному пыльному холмику, на котором стояли три пьяных человека, одного из них, ныне начальника полиции, она знала до войны, — он был комендантом какого-то железнодорожного склада. Она даже не поняла, что эти трое творят приговор жизни и смерти народу; полицейский пихнул ее в гудящую тысячную толпу признанных бесполезными детей, женщин, мужчин.

Потом они шли к аэродрому под последним для них августовским зноем, мимо пыльных придорожных яблонь, в последний раз пронзительно кричали, рвали на себе одежду, молились. Наташа шла молча.

Никогда она не думала, что кровь бывает такой поразительно красной под солнцем. Когда на миг смолкали крики, выстрелы, хрипы, — из ямы слышалось журчание крови, — она бежала по белым телам, как по белым камням.

Потом было самое нестрашное — негромкий треск автомата и палач с простым, незлобивым, утомленным работой лицом, терпеливо ожидающий, пока она робко подойдет к нему поближе, станет на край журчащей ямы.

Ночью она, выжав намокшую рубашку, вернулась в город, — мертвые не выходят из могилы, значит, она была жива.

И вот когда Наташа пробиралась дворами в гетто, она увидела народное гулянье на площади — смешанный духовой и струнный оркестр играл печальную и мечтательную мелодию всегда нравившегося ей вальса, и при тусклой луне и тусклых фонарях по пыльной площади крутились пары — девушки, солдаты, шарканье ног смешивалось с музыкой. Увядшей девушке в этот миг стало на душе радостно, уверенно — и она все пела и пела потихоньку в предчувствии ждущего ее счастья, а иногда, если никто не видел, даже пробовала танцевать вальс.

47

Все, что было после начала войны, Давид помнил плохо. Но как-то ночью, в вагоне в мозгу мальчика возникло недавно пережитое.

В темноте бабушка ведет его к Бухманам. Небо в мелких звездах, а край неба светлый, зеленовато-лимонный. Листья лопуха касаются щеки, словно чьи-то холодные влажные ладони.

На чердаке, в убежище, за фальшивой кирпичной стеной сидят люди. Черные листы кровельного железа днем раскаляются. Иногда чердачное убежище заполняется гарным духом. Гетто горит. Днем в убежище все лежат неподвижно. Монотонно плачет Светланочка, дочь Бухманов. У Бухмана больное сердце, днем его все считают мертвым. А ночью он ест и ссорится с женой.

И вдруг лай собаки. Нерусские голоса: «Asta! Asta! Wo sind die Juden?», и над головой нарастает громыхание, немцы вылезли через слуховое окно на крышу.

Потом гремевший в черном жестяном небе немецкий кованый гром затих. Под стеной слышны лукавые, несильные удары — кто-то выстукивал стены.

В убежище наступила тишина, страстная тишина, с напружившимися мышцами плеч и шеи, с выпученными от напряжения глазами, с оскаленными ртами.

Маленькая Светлана под вкрадчивое постукивание по стене затянула свою жалобу без слов. Плач девочки внезапно оборвался. Давид оглянулся в ее сторону и встретил бешеные глаза матери Светланы, Ревекки Бухман.

После этого раз или два на короткий миг ему представились эти глаза и откинутая, словно у матерчатой куклы, голова девочки.

А вот то, что было до войны, помнилось подробно, вспоминалось часто. В вагоне он, словно старик, жил прошлым, лелеял и любил его.

48

Двенадцатого декабря, в день рождения Давида, мама купила ему книгу-сказку. На лесной поляне стоял серенький козлик, рядом тьма леса казалась особо зловещей. Среди черно-коричневых стволов, мухоморов и поганок видна была красная, оскаленная пасть и зеленые глаза волка.

О неминуемом убийстве знал один лишь Давид. Он ударял кулаком по столу, прикрывал ладонью от волка полянку, но он понимал, что не может оградить козленка.

Ночью он кричал:

— Мама, мама, мама!

Мать, проснувшись, подходила к нему, как облако в ночном мраке, — и он блаженно зевал, чувствуя, что самая большая сила в мире защищает его от тьмы ночного леса.

Когда он стал старше, его пугали красные собаки из «Книги Джунглей». Как-то ночью комната наполнилась красными хищниками, и Давид пробрался босыми ногами по выступавшему ящику комода в постель к матери.

Когда у Давида бывала высокая температура, у него появлялся один и тот же бред: он лежал на песчаном морском берегу, и крошечные, величиной с самый маленький мизинчик, волны щекотали его тело. Вдруг на горизонте поднималась синяя бесшумная гора воды, она все нарастала, стремительно приближалась. Давид лежал на теплом песочке, черно-синяя гора воды надвигалась на него. Это было страшней волка и красных собак.

Утром мама уходила на работу. Он шел на черную лестницу и выливал в банку из-под крабовых консервов чашку молока, об этом знала худая побирушка-кошка с тонким, длинным хвостом, с бледным носом и заплаканными глазами. Однажды соседка сказала, что на рассвете приехали люди с ящиком и отвратительную кошку-нищенку, слава богу, наконец, увезли в институт.

— Куда я пойду, где этот институт? Ведь это совершенно немыслимо, забудь ты об этой несчастной кошке, — говорила мама и смотрела в его умоляющие глаза. — Как ты будешь жить на свете? Нельзя быть таким ранимым.

Мать хотела его отдать в детский летний лагерь, он плакал, умолял ее, всплескивал в отчаянии руками и кричал:

— Обещаю тебе поехать к бабушке, только не в этот лагерь!

Когда мать везла его к бабушке на Украину, он в поезде почти ничего не ел, — ему казалось стыдно кушать крутое яйцо или взять из засаленной бумажки котлету.

У бабушки мама пожила с Давидом пять дней и собралась обратно на работу. Он простился с ней без слез, только так сильно обнял руками за шею, что мама сказала:

— Задушишь, глупенький. Здесь столько клубники дешевой, а через два месяца я приеду за тобой.

Возле дома бабушки Розы была остановка автобуса, ходившего из города на кожевенный завод. По-украински остановка называлась зупынка.

Покойный дедушка был бундовцем, знаменитым человеком, он когда-то жил в Париже. Бабушку за это уважали и часто выгоняли со службы.

Из открытых окон слышалось радио: «Увага, увага, говорыть Кыив...»

Днем улица была пустынна, она оживлялась, когда шли по ней студенты и студентки кожевенного техникума, кричали друг другу через улицу: «Белла, ты сдала? Яшка, приходи готовить марксизм!»

К вечеру возвращались домой рабочие кожзавода, продавцы, монтер из городского радиоцентра Сорока. Бабушка работала в месткоме поликлиники.

Давид в отсутствие бабушки не скучал.

Возле дома, в старом, никому не принадлежавшем фруктовом саду, среди дряхлых, бесплодных яблонь, паслась пожилая коза, бродили меченные краской куры, всплывали по травинкам немые муравьи. Шумно, уве-

ренно вели себя в саду горожане — вороны, воробьи, и, как робкие деревенские дивчины, чувствовали себя залетевшие в сад полевые птицы, чьих имен Давид не знал.

Он услышал много новых слов: глечик... дикт... калюжа... ряженка... ряска... пужало... лядаче... кошеня... В этих словах он узнавал отзвуки и отражения родной ему русской речи. Он услышал еврейскую речь и был поражен, когда мама и бабушка заговорили при нем по-еврейски. Он никогда не слышал, чтобы мать говорила на языке, непонятном ему.

Бабушка привела Давида в гости к своей племяннице, толстой Ревекке Бухман. В комнату, поразившую Давида обилием плетеных белых занавесок, вошел бухгалтер Госбанка Эдуард Исаакович Бухман, одетый в гимнастерку и в сапоги.

— Хаим, — сказала Ревекка, — вот наш московский гость, сын Раи. — И тут же прибавила: — Ну, поздоровайся с дядей Эдуардом.

Давид спросил главного бухгалтера:

— Дядя Эдуард, почему тетя Ревекка вас называет Хаим?

— О, вот это вопрос, — сказал Эдуард Исаакович. — Разве ты не знаешь, что в Англии все Хаимы — Эдуарды?

Потом заскреблась кошка, и когда, наконец, ей удалось когтями распахнуть дверь, все увидели посреди комнаты девочку с озабоченными глазами, сидевшую на горшке.

В воскресенье Давид пошел с бабушкой на базар. По дороге шли старухи в черных платках и заспанные, угрюмые железнодорожные проводницы, надменные жены районных руководителей с синими и красными сумками, шли деревенские женщины в сапогах-чоботах.

Еврейские нищие кричали сердитыми, грубыми голосами — казалось, им подавали милостыню не из жалости, а от страха. А по булыжной мостовой ехали колхозные грузовики-полуторки с мешками картошки и отрубей, с плетеными клетками, в которых сидели куры, вскрикивавшие на ухабах, как старые болезненные еврейки.

Больше всего привлекал и приводил в отчаяние, ужасал мясной ряд. Давид увидел, как с подводы стаскивали тело убитого теленка с полуоткрытым бледным ртом, с курчавой белой шерсткой на шее, запачканной кровью.

Бабушка купила пестренькую молодую курицу и понесла ее за ноги, связанные белой тряпочкой, и Давид шел рядом, и хотел ладонью помочь курице поднять повыше бессильную голову, и поражался, откуда в бабушке взялась такая нечеловеческая жестокость.

Давид вспомнил непонятные ему мамины слова о том, что родня со стороны дедушки — интеллигентные люди, а вся родня со стороны бабушки — мещане и торгаши. Наверное, потому бабушка не жалела курицу.

Они зашли во дворик, к ним вышел старичок в ермолке, и бабушка заговорила с ним по-еврейски. Старичок взял курицу на руки, стал бормотать, курица доверчиво кудахтнула, потом старик сделал что-то очень быстрое, незаметное, но, видимо, ужасное, швырнул курицу через плечо — она вскрикнула и побежала, хлопая крыльями, и мальчик увидел, что у нее нет головы, — бежало одно безголовое туловище, — старичок убил ее. Пробежав несколько шагов, туловище упало, царапая сильными, молодыми лапами землю, и перестало быть живым.

Ночью мальчику казалось, что в комнату проник сырой запах, идущий от убитых коров и их зарезанных детей.

Смерть, жившая в нарисованном лесу, где нарисованный волк подкрадывался к нарисованному козленку, ушла в этот день со страниц сказки. Он почувствовал впервые, что и он смертен, не по-сказочному, а в самом деле, с невероятной очевидностью.

Он понял, что когда-нибудь умрет его мама. Смерть придет к нему и к ней не из сказочного леса, где в полумраке стоят ели, — она придет из этого воздуха, из жизни, из родных стен, и от нее нельзя спрятаться.

Он ощутил смерть с той ясностью и глубиной, которая доступна лишь маленьким детям да великим философам, чья сила мысли приближается к простоте и силе детского чувства.

От стульев с просиженными сиденьями, на которые были положены фанерные дощечки, от толстого платяного шкафа шел спокойный, добрый запах, такой же, как от бабушкиных волос, платья. Теплая, обманно-спокойная ночь стояла вокруг.

49

В это лето жизнь сошла с граней кубиков, с картинок, нарисованных в букварях. Он увидел, какой синевой горит черное крыло селезня и сколько веселой насмешливости в его улыбке и покрякивании. Белые черешни светлели среди листвы, и он влез по шершавому стволу и дотянулся до ягоды, сорвал ее. Он подошел к теленку, привязанному на пустыре, и протянул ему кусочек сахара, — окаменев от счастья, увидел милые глаза огромного младенца.

Рыжий Пынчик подошел к Давиду и, ослепительно картавя, предложил:

— Давай деррруться!

Евреи и украинцы в бабушкином дворе походили друг на друга. Старуха Партыньская заходила к бабушке и протяжно говорила:

— Чи вы чули, Роза Нусиновна, Соня едет в Киев, опять помирилась с мужем.

Бабушка, всплескивая руками, смеясь, отвечала:

— Ну, вы бачилы комедию.

Этот мир казался Давиду милей, лучше, чем улица Кирова, где в асфальтированном колодце гуляла с пуделем завитая, раскрашенная старуха по фамилии Драко-Дракон, где возле парадного по утрам стоял автомобиль ЗИС-101, где соседка в пенсне, с папиросой в крашеных губах с бешенством шептала над коммунальной газовой плитой: «Троцкистка, ты опять сдвинула с конфорки мое кофе».

Мама его вела ночью с вокзала. Они прошли по освещенной луной булыжной улице мимо белого костела, где в нише стоял худенький, ростом с двенадцатилетнего мальчика, склоненный, в терновом венке Иисус Христос, мимо педтехникума, где когда-то училась мама.

Через несколько дней, в пятницу вечером, Давид увидел, как старики шли в синагогу в золотистой пыли, поднятой на пустыре босыми футболистами.

Пронзительная прелесть родилась из этого соединения украинских белых хат, скрипящих колодезных журавлей и ветхих узоров на бело-черных молитвенных одеждах, кружащих голову бездомной библейской стариной. И тут же рядом «Кобзарь», Пушкин и Толстой, учебники физики, «Детская болезнь «левизны» в коммунизме», приехавшие с гражданской войны сыновья сапожников и портных, тут же рядом инструктора райкомов, склочники и трибуны из райпрофсоветов, водители грузовиков, агенты уголовного розыска, лекторы по марксизму.

Приехав к бабушке, Давид узнал, что мама его несчастна. Первой ему сказала об этом толстая, с такими красными щеками, словно ей всегда стыдно, тетя Рахиль:

— Бросить такую чудную женщину, как твоё мать, чтоб вин уже не дождал.

А через день Давид уже знал, что папа его ушел к русской женщине, которая старше его на восемь лет, что он зарабатывает в филармонии две с половиной тысячи в месяц, что мама отказалась от алиментов и живет только на то, что сама зарабатывает — триста десять рублей в месяц.

Давид однажды показал бабушке кокон, хранившийся в спичечной коробке.

Но бабушка сказала:

— Фе, зачем тебе эта гадость, выкинь ее скоренько.

Два раза Давид ходил на товарную станцию, смотрел, как грузят в вагоны быков, баранов, свиней. Он слышал, как бык громко замычал, то ли он жаловался, то ли просил жалости. Душа мальчика наполнилась ужасом, а мимо вагонов шли железнодорожные рабочие в оборванных, замасленных куртках и не повернули утомленных, худых лиц в сторону кричащего быка.

Через неделю после приезда Давида бабушкина соседка, Дебора, жена рабочего-слесаря с завода сельскохозяйственных машин Лазаря Янкелевича, родила первенца. В прошлом году Дебора поехала гостить к се-

стре в Колыму, и ее во время грозы ударило молнией; ее откачивали, засыпали землей, и она два часа лежала, как неживая, а этим летом родила ребенка. Пятнадцать лет она не имела детей. Об этом бабушка рассказала Давиду, добавила:

— Так говорят люди, но ей, кроме того, делали в прошлом году операцию.

И вот бабушка с Давидом зашли к соседям.

— Ну, Лузя, ну, Деба,— сказала бабушка, поглядев на двуногого зверька, лежавшего в бельевой корзине. Она произнесла эти слова каким-то грозным голосом, точно предупреждая, чтобы отец и мать никогда не относились легкомысленно к случившемуся чуду.

В маленьком доме у железной дороги жила старуха Соргина с двумя сыновьями, глухонемыми парикмахерами. Их боялись все соседи, и старая Партыньская рассказывала Давиду:

— Воны тыхи, тыхи, доки не напьются. А як выпьють — кыдаються друг на друга, пидхватят ножи и крычать, верещать, як кони!

Как-то бабушка послала с Давидом библиотекарше Мусе Борисовне баночку сметаны... Комната у нее была крошечная. На столе стояла маленькая чашечка, к стене была прибита маленькая полочка, на ней стояли маленькие книжки, а над кроваткой висела маленькая фотография. На фотографии была снята мама с Давидом, завернутым в пеленочку. Когда Давид посмотрел на фотографию, Муся Борисовна покраснела и сказала:

— Мы с твоей мамой сидели на одной парте.

Он прочел ей вслух басню про стрекозу и муравья, а она прочитала ему тихим голосом начало стихотворения: «Плакала Саша, как лес вырубали...»

Утром двор гудел: у Соломона Слепого ночью украли шубу, зашитую на лето и пересыпанную нафталином.

Когда бабушка узнала о пропаже шубы у Слепого, она сказала:

— Слава богу, хоть чем-нибудь этого разбойника наказать.

Давид узнал, что Слепой был доносчиком и, когда происходило изъятие валюты и золотых пятерок, он выдал много людей. А в тридцать седьмом году он снова выдавал людей. Из тех, кого он выдал, двое были расстреляны, а один умер в тюремной больнице.

Ужасные ночные шорохи, невинная кровь и пение птиц — все соединилось в кипящую, обжигающую кашу. Понять ее Давид смог бы через много десятков лет, но жгущую прелесть и ужас ее он день и ночь ощущал своим маленьким сердцем.

50

Для забоя зараженного скота проводятся подготовительные меры — транспортировка, концентрация в пунктах забоя, инструктаж квалифицированных рабочих, отрытие траншей и ям.

Население, помогающее властям доставлять зараженный скот на пункты забоя, либо помогающее ловить разбежавшуюся скотину, делает это не из ненависти к телятам и коровам, а из чувства самосохранения.

При массовом забое людей кровожадная ненависть к подлежащим уничтожению старикам, детям, женщинам также не охватывает население. Поэтому кампанию по массовому забою людей необходимо подготовить по-особому. Здесь недостаточно чувства самосохранения, здесь необходимо возбудить в населении отвращение и ненависть.

Именно в такой атмосфере отвращения и ненависти готовилось и проводилось уничтожение украинских и белорусских евреев. В свое время на этой же земле, мобилизовав и раздув ярость масс, Сталин проводил кампанию по уничтожению кулачества как класса, кампанию по истреблению троцкистско-бухаринских выродков и диверсантов.

Опыт показал, что большая часть населения при таких кампаниях становится гипнотически послушна всем указаниям властей. В массе населения есть меньшая часть, создающая воздух кампании: кровожадные, радующиеся и злорадствующие, идейные идиоты либо заинтересованные в сведении личных счетов, в грабеже вещей и квартир, в открывающихся вакансиях. Большинство людей, внутренне ужасаясь массовым убийствам, скрывает свое душевное состояние не только от своих близких, но и от самих себя. Эти люди заполняют залы, где происходят собрания, посвященные истребительным кампаниям, и, как бы ни были часты эти собрания, вместительны эти залы, почти не бывало случая, чтобы кто-либо нарушил молчаливое единогласие голосования. И, конечно, еще меньше бывало случаев, когда человек при виде подозреваемой в бешенстве собаки, не отвел бы глаз от ее молящего взора, а приютил бы эту подозреваемую в бешенстве собаку в доме, где живет со своей женой и детьми. Но все же были такие случаи.

Первая половина двадцатого века будет отмечена как эпоха великих научных открытий, революций, грандиозных социальных преобразований и двух мировых войн.

Но первая половина двадцатого века войдет в историю человечества как эпоха поголовного истребления огромных слоев еврейского населения, основанного на социальных и расовых теориях. Современность с понятной скромностью молчит об этом.

Одной из самых удивительных особенностей человеческой натуры, вскрытой в это время, оказалась покорность. Были случаи, когда к месту казни устанавливались огромные очереди и жертвы сами регулировали движение очередей. Были случаи, когда ожидать казни приходилось с утра до поздней ночи, в течение долгого жаркого дня, и матери, знавшие об этом, предусмотрительно захватывали бутылочки с водой и хлеб для детей. Миллионы невинных, чувствуя приближение ареста, заранее готовили сверточки с бельем, полотенчиком, заранее прощались с близкими. Миллионы жили в гигантских лагерях, не только построенных, но и охраняемых ими самими.

И уже не десятки тысяч и даже не десятки миллионов людей, а гигантские массы были покорными свидетелями уничтожения невинных. Но не только покорными свидетелями: когда велели, голосовали за уничтожение, гулом голосов выражали одобрение массовым убийствам. В этой огромной покорности людей открылось нечто неожиданное.

Конечно, было сопротивление, были мужество и упорство обреченных, были восстания, была самопожертвенность, когда для спасения далекого, незнакомого человека другой человек рисковал своей жизнью и жизнью своей семьи. И все же неоспоримой оказалась массовая покорность!

О чем говорит она? О новой черте, внезапно возникшей, появившейся в природе человека? Нет — эта покорность говорит о новой ужасной силе, воздействовавшей на людей. Сверхнасилие тоталитарных социальных систем оказалось способным парализовать на целых континентах человеческий дух.

Человеческая душа, ставшая на службу фашизму, объявляет зловещее, несущее гибель рабство единственным и истинным добром. Не отказываясь от человеческих чувств, душа-предательница объявляет преступления, совершенные фашизмом, высшей формой гуманности, соглашается делить людей на чистых, достойных и на нечистых, недостойных. Страсть к самосохранению выразилась в соглашательстве инстинкта и совести.

В помощь инстинкту приходит гипнотическая сила мировых идей. Они призывают к любым жертвам, к любым средствам ради достижения величайшей цели — грядущего величия родины, счастья человечества, нации, класса, мирового прогресса.

И с инстинктом жизни наряду с гипнотической силой великих идей работала третья сила — ужас перед беспредельным насилием могущественного государства, перед убийством, ставшим основой государственной повседневности.

Насилие тоталитарного государства так велико, что оно перестает быть средством, превращается в предмет мистического, религиозного преклонения, восторга.

Чем иным можно объяснить рассуждения некоторых мыслящих, интеллигентных евреев о том, что убийство евреев необходимо для счастья человечества и что они, сознав это, готовы вести на убойные пункты своих собственных детей, — ради счастья родины они готовы принести жертву, которую когда-то совершил Авраам.

Чем иным можно объяснить то, что поэт, крестьянин от рождения, наделенный разумом и талантом, пишет с искренним чувством поэму, вос-

певающую кровавую пору страданий крестьянства, пору, пожравшую его честного и простодушного труженика-отца.

Одним из средств воздействия фашизма на человека является его полное или почти полное ослепление. Человек не верит, что его ждет уничтожение. Удивительно, насколько велик был оптимизм стоявших на краю могилы. На почве безумной, порой нечистой, а порой подлой надежды возникала покорность, соответствующая этой надежде,— жалкая, а порой и подлая.

Варшавское восстание, восстание в Треблинке, восстание в Собиборе, малые бунты и восстания бреннеров возникали из суровой безнадежности.

Но, конечно, полная и ясная безнадежность порождала не одни восстания и сопротивления, она порождала и неведомое нормальному человеку стремление быть подвергнутым казни.

Ведь люди спорили из-за очереди к кровавому рву, и в воздухе слышался возбужденный, безумный, почти ликующий голос:

— Евреи, не бойтесь, ничего страшного, пять минут—и готово!

Все, все рождало покорность—и безнадежность, и надежда. Ведь люди одинаковой судьбы не одинаковы по характеру.

Нужно задуматься над тем, что должен пережить и испытать человек, чтобы дойти до счастливого сознания скорой казни. Об этом следует задуматься многим людям, особенно тем, кто склонен поучать, как следовало бороться в условиях, о которых, по счастливому случаю, этот пустой учитель не имеет представления.

Установив покорность человека перед беспредельным насилием, нужно сделать последний вывод, имеющий значение для понимания человека, его будущего.

Претерпевает ли природа человека изменение, становится ли она другой в котле тоталитарного насилия? Теряет ли человек присущее ему стремление быть свободным? В ответе этом—судьба человека и судьба тоталитарного государства. Изменение самой природы человека сулит всемирное и вечное торжество диктатуре государства, в неизменности человеческого стремления к свободе—приговор тоталитарному государству...

Природное стремление человека к свободе неистребимо, его можно подавить, но его нельзя уничтожить. Тоталитаризм не может отказаться от насилия. Отказавшись от насилия, тоталитаризм гибнет. Вечное, непрекращающееся, прямое или замаскированное, сверхнасилие есть основа тоталитаризма. Человек добровольно не откажется от свободы. В этом выводе свет нашего времени, свет будущего.

51

Электрическая машина ведет математические расчеты, запоминает исторические события, играет в шахматы, переводит книги с одного языка на другой. Она превосходит человека в способности быстро решать математические задачи, память ее безупречна.

Есть ли предел прогрессу, создающему машину по образу и подобию человека? Видимо, нет этого предела.

Можно представить себе машину будущих веков и тысячелетий. Она будет слушать музыку, оценивать живопись, сама рисовать картины, создавать мелодии, писать стихи.

Есть ли предел ее совершенству? Сравнится ли она с человеком, превзойдет ли его?

Все новых и новых приростов электроники, веса и площадей будет требовать воспроизведение машиной человека.

Воспоминание детства... слезы счастья... горечь разлуки... любовь к свободе... жалость к больному щенку... мнительность... материнская нежность... мысли о смерти... печаль... дружба... любовь к слабым... внезапная надежда... счастливая догадка... грусть... беспричинное веселье... внезапное смятение...

Все, все воссоздаст машина! Но ведь площади всей земли не хватит для того, чтобы разместить машину, все увеличивающуюся в размере и весе, по мере того как она будет воссоздавать особенности разума и души среднего, незаметного человека.

Фашизм уничтожил десятки миллионов людей.

52

В просторном, светлом и чистом доме в лесной уральской деревне командир танкового корпуса Новиков и комиссар Гетманов заканчивали просмотр донесений командиров бригад, получивших приказ о выходе из резерва.

Бессонная работа последних дней сменилась тихим часом.

Новикову и его подчиненным, как и всегда в подобных случаях, казалось, что им не хватило времени для полного, совершенного овладения учебными программами. Но кончилась эпоха учения, овладения режимом работы моторов и ходовой части, артиллерийской техникой, оптикой, радиооборудованием; кончились тренировки в управлении огнем, оценке, выборе и распределении целей, выборе способа стрельб, определении момента открытия огня, наблюдении разрывов, внесении поправок, смене целей.

Новый учитель—война—быстро подучит, подтянет отстающих, заполнит пробелы.

Гетманов потянулся к шкафику, стоявшему в простенке между окнами, постучал по нему пальцем и сказал:

— Эй, друг, выходи на передний край.

Новиков открыл дверцу шкафа, вынул бутылку коньяка и налил два синеватых толстых стаканчика.

Командир корпуса, раздумывая, произнес:

— Кого же нам славить?

Новиков знал, за кого полагалось выпить, потому Гетманов и спросил: «За кого пить?»

Мгновение поколебавшись, Новиков сказал:

— Давайте, товарищ комиссар корпуса, выпьем за тех, кого мы с вами в бой поведем, пусть воюют малой кровью.

— Правильно,—прежде всего забота о вверенных кадрах,—проговорил Гетманов,—выпьем за наших хлопцев!

Они чокнулись, выпили.

Новиков с торопливостью, которую не мог скрыть, вновь налил рюмки и произнес:

— За товарища Сталина! За то, чтобы оправдать его доверие.

Он видел скрытую усмешку в ласковых, внимательных глазах Гетманова и, сердясь на себя, подумал: «Эх, заспешил».

Гетманов добродушно сказал:

— Что ж, ладно, за старичка, за батьку нашего. Доплыли до волжской воды под его водительством.

Новиков посмотрел на комиссара, но что прочтешь на толстом, скуластом, улыбающемся лице умного сорокалетнего человека с прищуренными, веселыми и недобрыми глазами.

Гетманов вдруг заговорил о начальнике штаба корпуса генерале Неудобнове:

— Славный, хороший человек. Большевик. Сталинец настоящий. Большой опыт руководящей работы. Выдержка большая. Я его помню по тридцать седьмому году. Его Ежов прислал произвести расчисточку в военном округе, а я, знаете, в ту пору сам не яслями заведовал. Но уж он поработал. Не дядя, а топор, по списку в расход пускал, не хуже Ульриха, Василь Васильича, оправдал доверие Николая Ивановича. Надо, надо его сейчас пригласить, а то еще обидится.

В тоне его как будто слышалось осуждение борьбы с врагами народа, борьбы, в которой, как знал Новиков, Гетманов участвовал. И снова Новиков глядел на Гетманова и не мог понять его.

— Да,—сказал медленно и неохотно Новиков,—кое-кто наломал в ту пору дров.

Гетманов махнул рукой.

— Пришла сегодня сводка генштабовская, жуткая: немец к Эльбрусу подходит, в Сталинграде спихивают наших в воду. И я прямо скажу, в этих делах есть наша доля,—по своим стреляли, перемолотили кадры.

Новиков внезапно ощутил прилив доверия к Гетманову, сказал:

— Да, уж ребята эти загубили замечательных людей, товарищ комиссар, много беды в армии натворили. Вот комкору Криворучко глаз на допросе выбили, а он следователю чернильницей башку разбил.

Гетманов сочувственно кивал и проговорил:

— Неудобнова нашего Лаврентий Павлович очень ценит. А уж Лаврентий Павлович в людях не ошибается, умная головушка, ох, умная.

— Да, да,— протяжно подумал, не проговорил Новиков.

Они помолчали, прислушиваясь к негромким, шипящим голосам из соседней комнаты.

— Врешь, это наши носки.

— Как ваши, товарищ лейтенант, да вы что, опупели окончательно?—И тот же голос добавил, уже переходя на «ты»:—Куда кладешь, не трогай, это наши подворотнички.

— На-ка, товарищ младший политрук, какие же они ваши—смотри.—Это адъютант Новикова и порученец Гетманова разбирали белье своих начальников после стирки.

Гетманов проговорил:

— Я их, чертей, все время наблюдаю. Шли мы с вами, а они сзади идут, на стрельбы, в батальоне у Фатова. Я по камушкам перешел через ручей, а вы перескочили и ногой дрыгнули, чтоб грязь сбить. Смотрю—мой порученец перешел по камушкам через ручей, а ваш лейтенант скакнул и ногой дрыгнул.

— Эй, вояки, потише ругайтесь,—сказал Новиков, и голоса по соседству сразу смолкли.

В комнату вошел генерал Неудобнов, бледный человек с большим лбом и густыми, сильно поседевшими волосами. Он оглядел рюмки, бутылку, положил на стол пачку бумаг и спросил Новикова:

— Как нам быть, товарищ полковник, с начальником штаба во второй бригаде? Михалев вернется через полтора месяца, я получил письменное заключение из окружного госпиталя.

— Да уж какой он начальник штаба без кишки и без куска желудка? — сказал Гетманов и налил в стакан коньяку, поднес Неудобнову.— Выпейте, товарищ генерал, пока кишка на месте.

Неудобнов приподнял брови, вопросительно посмотрел светло-серыми глазами на Новикова.

— Прошу, товарищ генерал, прошу,—сказал Новиков.

Его раздражала манера Гетманова чувствовать себя всегда хозяином, убежденным в своем праве многословно высказываться на совещаниях по техническим вопросам, в которых он ничего не смыслил. И так же уверенно, убежденный в своем праве, Гетманов мог угощать чужим коньяком, укладывать гостя отдыхать на чужой койке, читать на столе чужие бумаги.

— Пожалуй, майора Басангова временно назначим,—сказал Новиков,—он командир толковый, участвовал в танковых боях еще под Новоград-Волынском. Возражений нет у бригадного комиссара?

— Возражений, конечно, нет,—сказал Гетманов,—какие у меня могут быть возражения... Но соображения есть,—замкомандира второй бригады, полковник—армянин, начальник штаба у него будет калмык, добавьте—в третьей бригаде начальником штаба подполковник Лифшиц. Может быть, мы без калмыка обойдемся?

Он посмотрел на Новикова, потом на Неудобнова.

Неудобнов проговорил:

— По-житейски все это верно, от сердца говоря, но ведь марксизм дал нам другой подход к данному вопросу.

— Важно, как данный товарищ немца воевать будет,—вот в чем мой марксизм,—проговорил Новиков,—а где дед его богу молился,—в церкви, в мечети...—Он подумал и добавил:—Или в синагоге, мне все равно... Я так считаю: самое главное на войне—стрелять.

— Вот, вот, именно,—весело проговорил Гетманов.—Зачем же нам в танковом корпусе устраивать синагогу или какую-то там еще молельню? Все же мы Россию защищаем.—Он вдруг нахмурился и зло сказал:—Скажу вам по правде, хватит! Тошнит прямо! Во имя дружбы народов всегда мы жертвуем русскими людьми. Нацмен еле в азбуке разбирается, а мы его в наркомы выдвигаем. А нашего Ивана, пусть он семи пядей во лбу, сразу по шапке, уступай дорогу нацмену! Великий русский народ в нацменьшинство превратили. Я за дружбу народов, но не за такую. Хватит!

Новиков подумал, посмотрел бумаги на столе, постучал по рюмке ногтем и сказал:

— Я, что ли, зажимаю русских людей из особых симпатий к калмыцкой нации?—И, повернувшись к Неудобнову, проговорил:—Что ж, давайте приказ, майора Сазонова врио начальником штаба второй бригады.

Гетманов негромко произнес:

— Отличный командир Сазонов.

И снова Новиков, научившийся быть грубым, властным, жестким, ощутил свою неуверенность перед комиссаром... «Ладно, ладно,—подумал он, утешая самого себя.—Я в политике не понимаю. Я пролетарский военспец. Наше дело маленькое: немцев раскокать».

Но хоть он и посмеивался в душе над неучем в военном деле Гетмановым, неприятно было сознавать свою робость перед ним.

Этот человек с большой головой, со спутанными волосами, невысокий, но широкоплечий, с большим животом, очень подвижный, громкоголосый, смешливый, был неутомимо деятелен.

Хотя на фронте он никогда не был, в бригадах о нем говорили: «Ох, и боевой у нас комиссар!»

Он любил устраивать красноармейские митинги; речи его нравились, говорил он просто, много шутил, употреблял иногда довольно-таки крепкие, грубые слова.

Ходил он с перевалочкой, обычно опирался на палку, и если зазевавшийся танкист не приветствовал его, Гетманов останавливался перед ним и, опираясь на знаменитую палку, снимал фуражку и низко кланялся наподобие деревенского деда.

Он был вспыльчив и не любил возражений: когда с ним спорили, он сопел и хмурился, а однажды пришел в злость, замахнулся и в общем в некотором роде наддал кулаком начальника штаба тяжелого полка капитана Губенкова, человека упрямого и, как говорили о нем товарищи, «жутко принципиального».

Об упрямом капитане с осуждением говорил порученец Гетманова: «Довел, черт, нашего комиссара».

У Гетманова не было почтения к тем, кто видел тяжелые первые дни войны. Как-то он сказал о любимце Новикова, командире первой бригады Макарове:

— Я из него вышибу философию сорок первого года!

Новиков промолчал, хотя он любил поговорить с Макаровым о жутких, чем-то влекущих первых днях войны.

В смелости, резкости своих суждений Гетманов, казалось, был прямо противоположен Неудобнову.

Но оба эти человека при всей своей несхожести были объединены какой-то прочной общностью.

Новикову становилось тоскливо и от невыразительного, но внимательного взгляда Неудобнова, от его овальных фраз, всегда неизменно спокойных слов.

А Гетманов, похохатывая, говорил:

— Наше счастье, что немцы мужику за год опротивели больше, чем коммунисты за двадцать пять лет.

То вдруг усмехался:

— Чего уж, папаша наш любит, когда его называют гениальным.

Эта смелость не заражала собеседника, наоборот, поселяла тревогу.

До войны Гетманов руководил областью, выступая по вопросам производства шамотного кирпича и организации научно-исследовательской работы в филиале угольного института, говоря о качестве выпечки хлеба на городском хлебозаводе и о неверной повести «Голубые огни», напечатанной в местном альманахе, и о ремонте транспортного парка, и о низком качестве хранения товаров на базах облторга, и об эпидемии куриной чумы на колхозных птицефермах.

Теперь уверенно говорил о качестве горючего, о нормах износа моторов и о тактике танкового боя, о взаимодействии пехоты, танков и артиллерии при прорыве долговременной обороны противника, о танках на марше, о медицинском обслуживании в бою, о радиошифре, о воинской психологии танкиста, о своеобразии отношений внутри каждого экипажа и экипа-

жей между собой, о первоочередном и капитальном ремонте, об эвакуации с поля боя поврежденных машин.

Как-то Новиков и Гетманов в батальоне капитана Фатова остановились возле машины, занявшей первое место на корпусных стрельбах.

Командир танка, отвечая на вопросы начальства, незаметно проводил ладонью по броне машины.

Гетманов спросил у танкиста, трудно ли ему было добиться первого места. И тот, вдруг оживившись, сказал:

— Нет, чего же трудно. Уж очень я полюбил ее. Как приехал из деревни в школу, увидел и сразу полюбил ее до невозможности.

— Любовь с первого взгляда,— сказал Гетманов и рассмеялся, и в его снисходительном смехе было что-то осуждающее смешную любовь паренька к машине.

Новиков почувствовал в эту минуту, что и он, Новиков, плох, и он ведь умеет по-глупому любить. Но об этой способности любить по-глупому не хотелось говорить с Гетмановым, и, когда тот, став серьезным, назидательно сказал танкисту:

— Молодец, любовь к танку — великая сила. Поэтому ты и добился успеха, что полюбил свою машину,— Новиков насмешливо проговорил:

— А за что его, собственно, любить? Цель он крупная, поразить его легче легкого, шумит, как дурной, сам себя демаскирует, и экипаж балдеет от шума. В движении трясет, ни наблюдать толково, ни прицелиться толково нельзя.

Гетманов усмехнулся, посмотрел на Новикова. И вот сейчас Гетманов, наливая рюмки, точно так же усмехнулся, посмотрел на Новикова и сказал:

— Маршрут наш через Куйбышев лежит. Кое с кем удастся нашему комкору повидаться. Давайте за встречу.

«Вот только мне не хватало»,— подумал Новиков, чувствуя, что жестоко, по-мальчишески, краснеет.

Генерала Неудобнова война застала за границей. Лишь вначале 1942 года, вернувшись в Москву, в Наркомат обороны, он увидел баррикады в Замоскворечье, противотанковые ежи, услышал сигналы воздушной тревоги.

Неудобнов, как и Гетманов, никогда не спрашивал Новикова о войне, может быть, стеснялся своего фронтового невежества.

Новиков все хотел понять, за какие качества Неудобнов вышел в генералы, обдумывая жизнь начальника штаба корпуса, как березка в озерце, отраженную в листах анкет.

Неудобнов был старше Новикова и Гетманова и еще в 1916 году за участие в большевистском кружке попал в царскую тюрьму.

После гражданской войны он по партийной мобилизации некоторое время работал в ОГПУ, служил в пограничных войсках, был послан учиться в Академию, во время учебы был секретарем курсовой партийной организации... Потом он работал в военном отделе ЦК, в центральном аппарате Наркомата обороны.

Перед войной он дважды ездил за границу. Он был номенклатурным работником, был на особом учете, раньше Новиков не совсем ясно понимал, что это означает, какие особенности и какие преимущества имеют номенклатурные работники.

Удивительно быстро проходил Неудобнов обычно долгий период между представлением к званию и получением звания, казалось, нарком только и ждал представления Неудобнова, чтобы подписать его. Анкетные сведения обладали странным свойством — они объясняли все тайны человеческой жизни, причины успехов и неуспехов, но через минуту, при новых обстоятельствах, оказывалось, что они ничего не объясняли, а, наоборот, затемняли суть.

Война по-своему пересмотрела послужные списки, биографии, характеристики, наградные листы... И вот номенклатурный Неудобнов оказался в подчинении у полковника Новикова.

Неудобнову было ясно, что кончится война и кончится это ненормальное положение...

Он привез с собой на Урал охотничье ружье, и все любители в корпусе остолбенели, а Новиков сказал, что, наверное, царь Николка в свое время охотился с таким ружьем.

Неудобнову оно досталось в 1938 году по какому-то ордерку так же, как достались ему по ордеру, с каких-то особых складов — мебель, ковры, столовый фарфор и дача.

Шла ли речь о войне, о колхозных делах, о книге генерала Драгомирова, о китайской нации, о достоинствах генерала Рокоссовского, о климате Сибири, о качестве русского шинельного сукна либо о превосходстве красоты блондинок над красотой брюнеток — он никогда в своих суждениях не преступал стандарта.

Трудно было понять, то ли это сдержанность, то ли выражение его истинного нутра.

Иногда, после ужина, он становился разговорчив и рассказывал истории о разоблаченных вредителях и диверсантах, действовавших в самых неожиданных областях: в производстве медицинских инструментов, в армейских сапожных мастерских, в кондитерских, в областных дворцах пионеров, в конюшнях московского ипподрома, в Третьяковской галерее.

У него была превосходная память, и он, видимо, много читал, изучая произведения Ленина и Сталина. Во время споров он обычно говорил: «Товарищ Сталин еще на семнадцатом съезде...» — и приводил цитату.

Однажды Гетманов сказал ему:

— Цитата цитате рознь. Мало ли что было сказано! Было сказано: «Чужой земли не хотим, своей ни вершка не отдадим». А немец где?

Но Неудобнов пожал плечами, точно немцы, стоявшие на Волге, ничего не значили по сравнению со словами о том, что ни вершка своей земли не отдадим.

И вдруг все исчезало — танки, боевые уставы, стрельбы, лес, Гетманов, Неудобнов... Женя! Неужели он увидит ее снова?

53

Новикову показалось странным, что Гетманов, прочтя полученное из дому письмо, сказал: «Супруга жалеет нас, я ей описывал, в каких мы условиях живем».

Эта казавшаяся комиссару тяжелой жизнь смущала Новикова роскошью.

Впервые он сам выбрал себе дом для жилья. Он сказал как-то, уезжая в бригаду, что ему не нравится хозяйский диван, и, когда он вернулся, вместо дивана стояло кресло с деревянной спинкой, и адъютант его, Вершков, тревожился — по вкусу ли комкору это кресло.

Повар спрашивал: «Как борщ, товарищ полковник?»

С детских лет он любил животных. И сейчас у него жил под кроватью еж, хозяйски постукивая пятками, бегал ночью по комнате, а в клетке с эмблемой танка, сделанной ремонтниками, промышлял орешками молодой бурундучок. Бурундук быстро привык к Новикову и иногда садился к нему на колено, поглядывал ребячьим, доверчивым и пытливым глазком. Все были к зверьку внимательны и добры: и адъютант Вершков, и повар Орленев, и водитель «виллиса» Харитонов.

Все это не казалось Новикову незаметным, мелочью. Когда он перед войной принес в дом начальствующего состава щенка, и тот погрыз у соседки-полковницы туфлю, и налил за полчаса три лужи, в общей кухне поднялась такая кутерьма, что пришлось Новикову тут же расстаться с собакой.

Пришел день отъезда, и осталась неразобранной сложная свара между командиром танкового полка и его начальником штаба.

Пришел день отъезда, и с ним заботы о горючем, о продовольствии в дороге, о порядке погрузки в эшелоны.

Стала волновать мысль о будущих соседях, чьи стрелковые и артиллерийские полки выходят сегодня из резерва, движутся к железной дороге, волновала мысль о человеке, перед которым Новиков станет по команде «смирно» и скажет: «Товарищ генерал-полковник, разрешите доложить...»

Пришел день отъезда — не удалось повидать брата, племянницу. Ехал на Урал, думал, брат рядом, а оказалось — не нашлось для брата времени.

Вот уж командиру корпуса доложили о движении бригад, о платформах для тяжелых машин, о том, что еж и бурундук отправлены в лес, на волю.

Трудно быть хозяином, отвечать за каждый пустяк, проверять каждую мелочь. Вот уже установлены танки на платформах. Но не забыли ли поставить машины на тормоз, включили ли первую передачу, закрепили ли башни пушкой вперед, плотно ли закрыты крышки люков? Заготовили ли деревянные колодки, чтобы закрепить танки, предотвратить раскачивание вагонов?

— Эх, заложить прощальный преферансик,— сказал Гетманов.

— Не возражаю,—проговорил Неудобнов.

Но Новикову хотелось выйти на воздух, побыть одному.

В этот тихий предвечерний час воздух обладал удивительной прозрачностью, и самые незаметные и скромные предметы выглядели четко и выпукло. Дым вытекал из труб, не кудрявясь, скользил совершенно вертикальными прямыми струями. Потрескивали дровишки в полевых кухнях. Посреди улицы стоял темнобровый танкист, и девушка обняла юношу, положила голову ему на грудь, заплакала. Из штабных помещений выносили ящики и чемоданы, пищущие машинки в черных футлярах. Связисты снимали шестовку, протянутую к бригадным штабам, черные жирные провода втягивались в катушки. Стоявший за сараями штабной танк пыхтел, постреливал, дымил, готовясь к походу. Водители заливали горючее в новые грузовые «форды», стаскивали с капотов стеганые попонки. А мир вокруг застыл.

Новиков стоял на крыльце, оглядывался по сторонам, и ком суеты, забот откатился от него в сторону.

Перед вечером он на «виллисе» выехал на дорогу, ведущую к станции.

Танки выходили из леса.

Прохваченная заморозками земля позванивала под их тяжестью. Вечернее солнце освещало вершины дальнего елового леса, откуда шла бригада подполковника Карпова. Полки Макарова шли среди молодых берез. Танкисты украсили броню ветвями деревьев, и казалось, что еловые лапы и березовые листья рождены вместе с броней танков, гудением моторов, серебряным скрежетом гусениц.

Военные люди, глядя на идущие к фронту резервы, говорят: «Свадьба будет!»

Новиков, съехав с дороги, смотрел на проносившиеся мимо него машины.

Сколько драм, странных и смешных историй произошло здесь! О каких только ЧП не докладывали ему... Во время завтрака в штабном батальоне обнаружена в супе лягушка... Младший лейтенант Рождественский, образование 10 классов, чистил автомат, ранил случайным выстрелом в живот товарища, после чего младший лейтенант Рождественский сделал самоубийство. Красноармеец мотострелкового полка отказался принять присягу, сказал: «Присягать буду только в церкви».

Голубой и серый дымок цеплялся за придорожный кустарник.

Много разных мыслей было в головах под этими кожаными шлемами. Были в них и общие всему народу: горесть войны, любовь к своей земле,—но было и то удивительное различие, ради которого прекрасно общее в людях.

Ах, боже мой, боже мой... Сколько их—в черных комбинезонах, подпоясанных широкими ремнями. Начальство подобрало ребят широких в плечах, невысокого росточка, чтобы легче залазить в люк, шуровать в танке. Сколько одинаковых ответов в их анкетах и об отцах и матерях, и о годе рождения, и об окончании школы, и о курсах трактористов. Сливались зеленые сплюснутые танки «тридцатьчетверки» с одинаково откинутыми крышками люков, с одинаково приторочешым к зеленой броне брезентом.

Один танкист напевает; второй, полузакрыв глаза, полон страха и плохих предчувствий; третий думает о родном доме; четвертый жует хлеб с колбасой и думает о колбасе; пятый, открыв рот, тщится опознать птицу на дереве—не удод ли; шестой тревожится, не обидел ли он вчера грубым словом товарища; седьмой, полный хитрой и неостывающей злобы, мечтает ударить кулаком по морде недруга — командира «тридцатьчетверки», идущей впереди; восьмой складывает в уме стихи — прощание с осенним лесом; девятый думает о девичьей груди; десятый жалеет собаку,— поняв, что ее оставляют среди опустевших блиндажей, она бросилась на броню танка, уговаривала танкиста, быстро, жалко виляя хвостом; одиннадцатый думает о том, как хорошо уйти в лес, жить одному в избушке, питаться ягодами, пить ключевую воду и ходить босым; двенадцатый прикидывает—не сказаться ли больным и застрять где-нибудь в госпитале; тринадцатый повторяет сказку, слышанную в детстве; четырнадцатый вспоминает разговор с девушкой и не печалится, что разлука вечная, рад этому; пятнадцатый думает о будущем, хорошо бы после войны стать директором столовой.

«Ох, ребята»,—думает Новиков.

Они глядят на него. Наверное, он проверяет, исправна ли воинская форма, он слушает моторы, на слух угадывает опыт и неопытность механиков-водителей, следит, соблюдают ли заданную дистанцию машины и подразделения, не обгоняют ли друг друга лихачи.

А он смотрит на них такой же, как они, и то, что в них, то и в нем: и мысль о бутылке коньяка, самочинно раскупоренной Гетмановым, и о том, какой тяжелый человек Неудобнов, и о том, что больше уж не охотиться на Урале, а последняя охота оказалась неудачна—с треском автоматов, с большой водкой, с дурацкими анекдотами... и мысль о том, что он увидит женщину, которую любит много лет... Когда он шесть лет назад узнал, что она вышла замуж, он написал рапорт-записку: «Отбываю в бессрочный отпуск, приложение—наган № 10322»,—он служил тогда в Никольск-Уссурийске,—да вот не нажал на курок...

Робкие, угрюмые, смешливые и холодные, задумчивые, женолюбцы, безобидные эгоисты, бродяги, скупцы, созерцатели, добряки... Вот они, идущие в бой за общее правое дело. Эта истина настолько проста, что кажется неловким разговор о ней. Но об этой самой простой истине забывают именно те, кто, казалось, из нее должен исходить.

Где-то здесь решение старого спора — для субботы ли живет человек?

Как малы мысли о сапогах, о брошенной собачонке, мысль об избе в глухой деревеньке, ненависть к товарищу, отбившему девчонку... Но вот в чем суть.

Человеческие объединения, их смысл определены лишь одной главной целью—завоевать людям право быть разными, особыми, по-своему, по-отдельному чувствовать, думать, жить на свете.

Чтобы завоевать это право, или отстоять его, или расширить, люди объединяются. И тут рождается ужасный, но могучий предрассудок, что в таком объединении во имя расы, бога, партии, государства—смысл жизни, а не средство. Нет, нет, нет! В человеке, в его скромной особенности, в его праве на эту особенность—единственный, истинный и вечный смысл борьбы за жизнь.

Новиков чувствовал, что они добьются своего—осилят, перехитрят, переиграют в бою врага. Эта громада ума, трудолюбия, удали и расчета, рабочего умения, злости, это духовное богатство народных ребят—студентов, школьников из десятилеток, токарей, трактористов, учителей, электриков, водителей автотранспорта, злых, добрых, крутых, смешливых, запевал, гармонистов, осторожных, медлительных, отважных—соединится, сольется вместе, соединившись, они должны победить, уж очень богаты они.

Не один, так другой, не в центре, так на фланге, не в первый час боя, так во второй, а добьются, перехитрят и уж там всей громадой сломают, осилят... Успех в бою приходит именно от них, они его добывают в пыли, в дыму, в тот миг, когда умеют сообразить, развернуться, рвануть, ударить на долю секунды раньше, на долю сантиметра вернее, веселей, крепче, чем противник.

В них разгадка, в ребятах на машинах с пушками и пулеметами—главная сила войны.

Но суть и была в том, соединится ли, сложится ли в одну силу внутреннее богатство всех этих людей.

Новиков смотрел, смотрел на них, а в душе силилось счастливое, уверенное обращение к женщине, чувство: «Моей она будет, будет моей».

54

Какие это были удивительные дни.

Крымову казалось, что книга истории перестала быть книгой, а влилась в жизнь, смешалась с ней.

Обостренно ощущал он цвет неба и сталинградских облаков, блеск солнца на воде. Эти ощущения напоминали ему пору детства, когда вид первого снега, дробь летнего дождя, радуга наполняли его ощущением счастья. Это чудное чувство оставляет с годами почти все живые существа, привыкшие к чуду своей жизни на земле.

Все, что в современной жизни казалось Крымову ошибочным, неверным, здесь, в Сталинграде, не ощущалось. «Вот так было при Ленине», — думал он.

Ему казалось, что люди здесь относятся к нему по-иному, лучше, чем относились до войны. Он не чувствовал себя пасынком времени, — вот так же, как в пору окружения. Еще недавно в Заволжье он с увлечением готовился к докладам и считал естественным, что политуправление перевело его на лекторскую работу.

А сейчас в душе его то и дело поднималось тяжелое, оскорбленное чувство. Почему его сняли с боевого комиссарства? Кажись, он справлялся с делом не хуже других, получше многих...

Хороши были в Сталинграде отношения людей. Равенство и достоинство жили на этом политом кровью глинистом откосе.

Интерес к послевоенному устройству колхозов, к будущим отношениям между великими народами и правительствами был в Сталинграде почти всеобщим. Боевая жизнь красноармейцев и их работа с лопатой, с кухонным ножом, которым чистилась картошка, либо с сапожным ножом, которым орудовали батальонные сапожники, — все, казалось, имело прямое отношение к послевоенной жизни народа, других народов и государств.

Почти все верили, что добро победит в войне и честные люди, не жалевшие своей крови, смогут строить хорошую, справедливую жизнь. Эту трогательную веру высказывали люди, считавшие, что им-то самим вряд ли удастся дожить до мирного времени, ежедневно удивлявшиеся тому, что прожили на земле от утра до вечера.

55

Вечером Крымов после очередного доклада оказался в блиндаже у подполковника Батюка, командира дивизии, расположенной по склонам Мамаева Кургана и у Банного оврага.

Батюк, человек небольшого роста, с лицом замученного войной солдата, обрадовался Крымову.

На батюковском столе за ужином был поставлен добрый студень, горячий домашний пирог. Наливая Крымову водки, Батюк, прищурив глаза, проговорил:

— А я слышал, что вы к нам с докладами приехали, думал, к кому раньше пойдете — к Родимцеву или ко мне. Оказалось, все же к Родимцеву.

Он покряхтел, посмеялся.

— Мы здесь, как в деревне живем. Стихнет вечером, ну и начинаем с соседями перезваниваться: ты что обедал, да кто у тебя был, да к кому пойдешь, да что тебе начальство сказало, у кого баня лучше, да о ком написали в газете? Пишут не о нас, все о Родимцеве, по газетам судя, он один в Сталинграде воюет.

Батюк угощал гостя, а сам лишь выпил чаю с хлебом, оказалось, он был равнодушен к гастрономии.

Крымов увидел, что спокойствие движений и украинская медлительность речи не соответствуют трудным мыслям, передумать которые взялся Батюк.

Николая Григорьевича огорчило, что Батюк не задал ему ни одного вопроса, связанного с докладом. Доклад словно бы не коснулся того, что действительно занимало Батюка.

Поразил Крымова рассказ Батюка о первых часах войны. Во время общего отхода от границы Батюк повел свой полк на запад — отбить у немцев переправы. Отступавшее по шоссе высокое начальство вообразило, что он собирается предаться немцам. Тут же, на шоссе, после допроса, состоявшего из матерной брани и истерических выкриков, было приказано его расстрелять. В последнюю минуту, он уже стоял у дерева, красноармейцы отбили своего командира.

— Да, — сказал Крымов, — серьезное дело, товарищ подполковник.

— Разрыва сердца не получил, — ответил Батюк, — а порок все-таки нажил, это мне удалось.

Крымов сказал несколько театральным тоном:

— Слышите стрельбу в Рынке? Что-то Горохов делает сейчас?

Батюк скосил на него глаза.

— А что он делает? Наверное, в подкидного играет.

Крымов сказал, что его предупредили о предстоящей у Батюка конференции снайперов — ему интересно было присутствовать на ней.

— А, конечно, интересно, почему ж неинтересно, — сказал Батюк.

Они заговорили о положении на фронте. Батюка тревожило тихое, идущее по ночам сосредоточение немецких сил на северном участке.

Когда снайперы собрались в блиндаже командира дивизии, Крымов сообразил, для кого был испечен пирог.

На скамейках, поставленных у стены и вокруг стола, усаживались люди в ватниках, полные застенчивости, неловкости и собственного достоинства. Вновь пришедшие, стараясь не греметь, как рабочие, складывающие лопаты и топоры, ставили в угол свои автоматы и винтовки.

Лицо знаменитого снайпера Зайцева казалось по-домашнему славным — милый неторопливый крестьянский парень. Но, когда Василий Зайцев повернул голову и прищурился, стали очевидны суровые черты его лица.

Крымову вспомнилось случайное довоенное впечатление: как-то, наблюдая на заседании своего давнего знакомого, Николай Григорьевич вдруг увидел его, всегда казавшееся суровым, лицо совсем по-иному — заморгавший глаз, опущенный нос, полуоткрытый рот, небольшой подбородок соединились в рисунок безвольный, нерешительный.

Рядом с Зайцевым сидели минометчик Бездидько — узкоплечий человек с карими, все время смеющимися глазами и молодой узбек Сулейман Халимов, по-детски оттопырив толстые губы. Вытиравший платочком со лба пот снайпер-артиллерист Мацегура казался многосемейным человеком, характер которого не имеет ничего общего с грозным снайперским делом.

А остальные пришедшие в блиндаж снайперы — артиллерист-лейтенант Шуклин, Токарев, Манжуля, Солодкий — и вовсе выглядели робкими и застенчивыми парнями.

Батюк расспрашивал пришедших, склонив голову, и казался любознательным учеником, а не одним из самых опытных и умудренных сталинградских командиров.

Когда он обратился к Бездидько, в глазах у всех сидевших появилось веселое ожидание шутки.

— Ну, як воно дило, Бездидько?

— Вчора я зробыв нимцю велыкый сабантуй, товарищу подполковник, це вы вже чулы, а з утра убыв пять фрыцив, истратил четыре мины.

— Да, то не Шуклина работа, одной пушкой четырнадцать танков подбил.

— Потому он и бив одной пушкой, шо у него в батареи только одна пушка и осталась.

— Он немцам бардачок разбил, — сказал красавец Булатов и покраснел.

— Я его запысав як обыкновенный блиндаж.

— Да, блиндаж, — проговорил Батюк, — сегодня мина дверь вышибла. — И, повериувшись к Бездидько, укоризненно добавил по-украински: — А я подумав, от сукын сын Бездидько, шо робыть, хиба ж я его учыв так стрелять.

Особо стеснявшийся наводчик пушки Манжуля, взяв кусок пирога, тихо сказал:

— Хорошее тесто, товарищ подполковник.

Батюк постучал винтовочным патроном по стакану.

— Что ж, товарищи, давайте всерьез.

Это было производственное совещание, такое же, какое собиралось на заводах, в полевых станах. Но не ткачи, не пекари, не портные сидели здесь, не о хлебе и молотьбе говорили люди.

Булатов рассказал, как он увидел немца, шедшего по дороге в обнимку с женщиной, заставил их упасть на землю и, прежде чем убить, раза три дал им подняться, а затем снова заставил упасть, подымая пулями облачки пыли в двух-трех сантиметрах от ног.

— А убил я его, когда он над ней стоял, так крест-накрест и полегли на дорогу.

Рассказывал Булатов лениво, и рассказ его был ужасен тем ужасом, которого никогда не бывает в рассказах солдат.

— Давай, Булатов, без бреху, — прервал его Зайцев.

— Я без бреху, — сказал, не поняв, Булатов. — Мой счет семьдесят восемь на сегодняшний день. Товарищ комиссар не даст соврать, вот его подпись.

Крымову хотелось вмешаться в разговор, сказать о том, что ведь среди убитых Булатовым немцев могли быть рабочие, революционеры, интернационалисты... Об этом следует помнить, иначе можно превратиться в крайних националистов. Но Николай Григорьевич молчал. Эти мысли ведь не были нужны для войны, они не вооружали, а разоружали.

Шепелявый, белесый Солодкий рассказал, как убил вчера восемь немцев. Потом он добавил:

— Я сам, значит, уманьский колхозник, фашисты натворили больших чудесов в моем селе. Я сам маленько кровь потерял — был три раза раненный. Вот и сменял колхозника на снайпера.

Угрюмый Токарев объяснил, как лучше выбирать место у дороги, по которой немцы ходят за водой и к кухням, и между прочим, сказал:

— Жена пишет — гибли в плену под Можаем, сына мне убили за то, что назвал я его Владимиром Ильичом.

Халимов, волнуясь, рассказал:

— Я никогда не тороплюсь, если сердце держаем, я стреляю. Я на фронт приехал, мой друг был сержант Гуров, я учил его узбекски, он учил меня русски. Его немец убил, я двенадцать свалил. Снял с офицера бинок, себе на шею одел: ваше приказание выполиил, товариц политрук.

Все же страшноваты эти творческие отчеты снайперов. Всю жизнь Крымов высмеивал интеллигентских слюнтяев, высмеивал Евгению Николаевну и Штрума, охавших по поводу страданий раскулаченных в период коллективизации. Он говорил Евгении Николаевне о событиях 1937 года: «Не то страшно, что уничтожают врагов, черт с ними, страшно, когда по своим бьют».

И теперь ему хотелось сказать, что он всегда, не колеблясь, готов был уничтожать белогвардейских гадов, меньшевистскую и эсеровскую сволочь, потом кулачье, что никогда никакой жалости не возникало у него к врагам революции, но нельзя же радоваться, что наряду с фашистами убивают немецких рабочих. Все же страшновато от разговоров снайперов, хоть они знают, ради чего совершают свое дело.

Зайцев стал рассказывать о своем многодневном состязании с немецким снайпером у подножия Мамаева кургана. Немец знал, что Зайцев следит за ним, и сам следил за Зайцевым. Оба они казались равной примерно силы и не могли друг с другом справиться.

— В этот день он троих наших положил, а я сижу в балочке, ни одного выстрела не сделал. Вот он делает последний выстрел, без промаха стрельба, упал боец, лег на бок, руку откинул. Идет с их стороны солдат с бумагой, я сижу, смотрю... А он, я это понимаю, понимает, что сидел бы тут снайпер, убил бы этого с бумагой, а он прошел. А я понимаю, что бойца, которого он положил, ему не видно и ему интересно посмотреть. Тихо. И второй немец пробежал с ведеркой — молчит балочка. Прошло еще минут шестнадцать — он стал приподниматься. Встал. Я встал во весь рост...

Вновь переживая происшедшее, Зайцев поднялся из-за стола, — то особое выражение силы, которое мелькнуло на его лице, теперь стало единственным и главным выражением его, то уже не был добродушный широконосый парень, — что-то могучее, львиное, зловещее было в этих раздувшихся ноздрях, в широком лбе, в глазах, полных ужасного, победного вдохновения.

— Он понял — узнал меня. И я выстрелил.

На мгновение стало тихо. Так, наверное, было тихо после короткого прозвучавшего вчера выстрела, и словно бы снова послышался шум упавшего человеческого тела. Батюк вдруг повернулся к Крымову, спросил:

— Ну как, интересно вам?

— Здорово, — сказал Крымов и больше ничего не сказал.

Ночевал Крымов у Батюка.

Батюк, шевеля губами, отсчитывал в рюмочку капли сердечного лекарства, наливал в стакан воду.

Позевывая, он рассказал Крымову о делах в дивизии, не о боях, а о всяких происшествиях жизни.

Все, что говорил Батюк, имело отношение, казалось Крымову, к той истории, что произошла с самим Батюком в первые часы войны, от нее тянулись его мысли.

С первых сталинградских часов не проходило у Николая Григорьевича какое-то странное чувство.

То, казалось ему, попал он в беспартийное царство. То, наоборот, казалось ему, он дышал воздухом первых дней революции.

Крымов вдруг спросил:

— Вы давно в партии, товарищ подполковник?

Батюк сказал:

— А что, товарищ батальонный комиссар, вам кажется, я не ту линию гну?

Крымов не сразу ответил.

Он сказал командиру дивизии:

— Знаете, я считаюсь неплохим партийным оратором, выступал на больших рабочих митингах. А тут у меня все время чувство, что меня ведут, а не я веду. Вот такая странная штука. Да, вот кто гнет линию, кого линия гнет. Хотелось мне вмешаться в разговор ваших снайперов, внести одну поправку. А потом подумал, — ученых учить — портить. А по правде говоря, не только потому промолчал. Политуправление указывает докладчикам довести до сознания бойцов, что Красная Армия есть армия мстителей. А я тут начну об интернационализме да классовом подходе. Главное ведь — мобилизовать ярость масс против врагов! А то получилось бы как с дураком в сказке — пришел на свадьбу, стал читать за упокой...

Он подумал, проговорил:

— Да и привычка... Партия мобилизует обычно гнев масс, ярость, нацеливает бить врага, уничтожать. Христианский гуманизм в нашем деле не годится. Наш советский гуманизм суровый... Церемоний мы не знаем...

Он подумал, проговорил:

— Естественно, я не имею в виду тот случай, когда вас зазря расстреливали. И в тридцать седьмом, случалось, били по своим: в этих делах горе наше. А немцы полезли на отечество рабочих и крестьян, что ж! Война есть война! Поделом им.

Крымов ожидал ответа Батюка, но тот молчал, не потому что был озадачен словами Крымова, а потому, что заснул.

56

В мартеновском цеху завода «Красный Октябрь» в высоком полусумраке сновали люди в ватниках, гулко отдавались выстрелы, вспыхивало быстрое пламя, не то пыль, не то туман стояли в воздухе.

Командир дивизии Гурьев разместил командные пункты полков в мартеновских печах. Крымову подумалось, что люди, сидящие в печах, варивших недавно сталь, особые люди, сердца их из стали.

Здесь уже были слышны шаги немецких сапог и не только крики команды, но и негромкое щелканье и позванивание, — немцы перезаряжали свои рогатые автоматы.

И когда Крымов полез, вжав голову в плечи, в устье печи, где находился командный пункт командира стрелкового полка, и ощутил ладонями не остывшее за несколько месяцев тепло, таившееся в огнеупорном кирпиче, какая-то робость охватила его, — показалось, сейчас откроется ему тайна великого сопротивления.

В полусумраке различил он сидящего на корточках человека, увидел его широкое лицо, услышал славный голос:

— Вот и гость к нам пришел в грановитую палату, милости просим, — водочки сто грамм, печеное яичко на закуску.

В пыльной и душной полумгле Николаю Григорьевичу пришло в голову, что он никогда не расскажет Евгении Николаевне о том, как он вспоминал ее, забравшись в сталинградскую мартеновскую берлогу. Раньше ему все хотелось отделаться от нее, забыть ее. Но теперь он примирился с тем, что она неотступно ходит за ним. Вот и в печь полезла, ведьма, не спрячешься от нее.

Конечно, все оказалось проще пареной репы. Кому нужны пасынки времени? В инвалиды его, на мыло, в пенсионеры! Ее уход подтвердил, осветил всю безнадежность его жизни, — и даже здесь, в Сталинграде, нет ему настоящего, боевого дела...

А вечером в том же цеху Крымов после доклада беседовал с генералом Гурьевым. Гурьев сидел без кителя, то и дело вытирая красное лицо платком, громким, хриплым голосом предлагал Крымову водки, этим же голосом кричал в телефон приказания командирам полков; этим же громким хриплым голосом выговаривал повару, не сумевшему по правилам зажарить шашлык, звонил соседу своему Батюку, спрашивал его, забивали ли козла на Мамаевом кургане.

— Народ у нас, в общем, веселый, хороший, — сказал Гурьев. — Батюк — мужик умный, генерал Жолудев на Тракторном — мой старинный друг. На «Баррикадах» Гуртьев, полковник, тоже славный человек, но он уж очень монах, совсем отказался от водки. Это, конечно, неправильно.

Потом он стал объяснять Крымову, что ни у кого не осталось так мало активных штыков, как у него, шесть — восемь человек в роте; ни кому так трудно не переправиться, как к нему, ведь, бывает, с катеров третью часть снимают ранеными, — вот разве только Горохову в Рынке так достается.

— Вчера вызвал Чуйков моего начальника штаба Шубу, что-то не сошлось у него при уточнении линии переднего края, так мой полковник Шуба совсем больной вернулся.

Он поглядел на Крымова и сказал:

— Думаете, матом крыл? — И рассмеялся. — Что мат? Матом я его сам каждый день крою. Зубы выбил, весь передний край.

— Да, — протяжно сказал Крымов. Это «да» выражало, что, видимо, достоинство человека не всегда торжествовало на сталинградском откосе.

Потом Гурьев стал рассуждать о том, почему так плохо пишут газетные писатели о войне.

— Отсиживаются, сукины дети, ничего сами не видят, сидят за Волгой, в глубоком тылу, и пишут. Кто его лучше угостит, про того он и пишет. Вот Лев Толстой написал «Войну и мир». Сто лет люди читают и еще сто лет читать будут. А почему? Сам участвовал, сам воевал, вот он и знает, про кого надо писать.

— Позвольте, товарищ генерал, — сказал Крымов. — Толстой в Отечественной войне не участвовал.

— То есть как это «не участвовал»? — спросил генерал.

— Да очень просто, не участвовал, — проговорил Крымов, — Толстой ведь не родился, когда шла война с Наполеоном.

— Не родился? — переспросил Гурьев. — Как это так, не родился? А? Как вы считаете?

И у них загорелся вдруг яростный спор. Это был первый спор, возникший после доклада Крымова. К удивлению Николая Григорьевича, оказалось, что переспорить собеседника ему не удалось.

57

На следующий день Крымов пришел на завод «Баррикады», где стояла Сибирская стрелковая дивизия полковника Гуртьева.

Он с каждым днем все больше сомневался, нужны ли его доклады. Иногда ему казалось, что слушают его из вежливости, как неверующие слушают старика священника. Правда, приходу его бывали рады, но он понимал, рады ему по-человечески, а не его речам. Он стал одним из тех армейских политотдельцев, что занимаются бумажными делами, болтаются, мешают тем, кто воюет. Лишь те политработники были на месте, которые не спрашивали, не разъясняли, не составляли длинных отчетов и донесений, не занимались агитацией, а воевали.

Он вспоминал довоенные занятия в университете марксизма-ленинизма, и ему и его слушателям было смертно скучно штудировать, как катехизис, «Краткий курс истории партии».

Но вот в мирное время эта скука была законна, неизбежна, а здесь, в Сталинграде, стала нелепа, бессмысленна. К чему все это?

Крымов встретился с Гуртьевым у входа в штабной блиндаж и не признал в худеньком человеке, одетом в кирзовые сапоги, в солдатскую, не по росту, куцую шинель, командира дивизии.

Доклад Крымова состоялся в просторном, с низким потолком блиндаже. Никогда за все время своего пребывания в Сталинграде Крымов не слышал такого артиллерийского огня, как в этот раз. Приходилось все время кричать.

Комиссар дивизии Свирин, человек с громкой складной речью, богатой острыми, веселыми словами, перед началом доклада сказал:

— А к чему это ограничивать аудиторию старшим командным составом? А ну, топографы, свободные бойцы роты охраны, недежурящие связисты и связные, пожалуйте на доклад о международном положении! После доклада кино. Танцы до утра. — Он подмигнул Крымову, как бы говоря: «Ну вот, будет еще одно замечательное мероприятие сегодня для отчета и вам и нам».

По тому, как улыбнулся Гуртьев, глядя на шумевшего Свирина, и по тому, как Свирин поправил шинель, накинутую на плечи Гуртьеву, Крымов понял дух дружбы, царивший в этом блиндаже.

И по тому, как Свирин, сощурив и без того узкие глаза, оглядел начальника штаба Саврасова, а тот неохотно, с недовольным лицом, сердито поглядел на Свирина, Крымов понял, что не только дух дружбы и товарищества царит в этом блиндаже.

Командир и комиссар дивизии сразу же после доклада ушли по срочному вызову командарма. Крымов разговорился с Саврасовым. Это был человек, видимо, тяжелого и резкого характера, честолюбивый и обиженный. Многое в нем — и честолюбие, и резкость, и насмешливый цинизм, с которым говорил он о людях, — было нехорошо.

Саврасов, глядя на Крымова, произносил монолог:

— В Сталинграде придешь в любой полк и знаешь: в полку самый сильный, решительный — командир полка! Это уже точно. Тут уж не смотрят, сколько у дяди коров. Смотрят одно — башка... Есть? Тогда хорош. Липы тут нет. А в мирное время как бывало? — Он улыбнулся своими желтыми глазами прямо в лицо Крымову. — Знаете, я политику терпеть не могу. Все эти правые, левые, оппортунисты, теоретики. Не выношу аллилуйщиков. Но меня и без политики схарчить раз десять хотели. Хорошо еще, что я беспартийный, — то пьянку мне пришьют, то, оказывается, я бабник. Притворяться мне, что ли? Не умею.

Крымову хотелось сказать Саврасову, что вот и в Сталинграде его, крымовская, судьба не выправляется, болтается он без настоящего дела. Почему Вавилов, а не он комиссаром в дивизии Родимцева? Почему Свирину партия доверяет больше, чем ему? Ведь в самом деле он и умный, и шире взгляд, и опыт партийный больше, и мужества хватит, а понадобится, и жестокости хватит, рука не дрогнет... Да ведь, по сути, они по сравнению с ним ликбезовцы! Ваше время истекло, товарищ Крымов, катись.

Разжег, распалил, расстроил его этот желтоглазый полковник.

Да чего ж тут сомневаться, господи, вот и личная его жизнь рухнула,

пошла под откос... Тут дело не в том, конечно, что Женя увидела его материальную беспомощность. Это ей все равно. Она человек чистый. Разлюбила! В бывших, в битых не влюбляются. Человек без ореола. Да, да, вылетел из номенклатуры... А впрочем, чиста-то она чиста, но и для нее материальное значит. Ведь не пойдет за нищего художника, хоть он и мажет бредовую свою мазню, которую она объявила гениальной...

Многое из этих мыслей мог бы высказать Крымов желтоглазому полковнику, но он лишь возразил ему в том, в чем был с ним согласен.

— Ну что вы, товарищ полковник, вы уж очень упрощаете. В довоенное время смотрели не только на то, сколько у дядьки коров. А подбирать кадры по одному лишь деловому признаку тоже ведь нельзя.

Война не давала вести разговор о том, что было до войны. Грохнул тяжелый разрыв, и из тумана и пыли возник озабоченный капитан, в штаб звонили из полка. Немецкий танк открыл огонь по штабу полка, а автоматчики, проскочившие вслед за танком, забрались в каменный дом, где находились управленцы тяжелого дивизиона; управленцы, сидя на втором этаже, завязали с немцами бой. Танк зажег деревянный дом по соседству, и сильный ветер с Волги нес пламя на командный пункт командира полка Чамова, и Чамов со своим штабом начал задыхаться и решил менять командный пункт. Но менять днем командный пункт под огнем артиллерии, под секущими очередями тяжелых пулеметов, державших Чамова под обстрелом, было трудно.

Все эти события происходили одновременно на участке обороны дивизии. Одни спрашивали совета, другие поддержки артиллерии, третьи просили разрешения на отход, четвертые информировали, пятые хотели информации. И у каждого было особое дело, и у всех общим было лишь то, что речь шла о жизни и смерти.

А когда чуть притихло, Саврасов спросил у Крымова:

— А не пообедать ли нам, товарищ батальонный комиссар, пока начальство не вернулось из штаба армии?

Он не подчинялся введенному командиром и комиссаром дивизии правилу — и не отказался от водки. Поэтому он предпочитал обедать отдельно.

— Гуртьев — вояка хороший, — сказал немного захмелевший Саврасов, — грамотный, честный. Но в чем беда — жуткий аскет! Монастырь завел. А у меня на девок волчий интерес, люблю это дело, как паук. При Гуртьеве — не дай бог анекдот рассказать. Но с ним мы воюем, в общем, складно. А комиссар меня не любит, хотя по натуре он монах не хуже меня. Думаете, меня Сталинград состарил? Друзья вот эти, я тут, наоборот, поправился.

— Вот и я этой комиссарской породы, — сказал Крымов.

Саврасов покачал головой.

— Той, да не той. Не в этой водке тут дело, а в этой, — и он постучал пальцем по бутылке, а потом себя по лбу.

Они уже кончили обед, когда вернулись с командного пункта Чуйкова командир и комиссар дивизии.

— Что нового произошло? — быстро и строго спросил Гуртьев, оглядев стол.

— Вот ранило нам начальника связи, тыркались немцы на стыке с Жолудевым, домик подожгли на стыке Чамова и Михалева. Чамов почихал, дыму наглотался, а в общем, ничего особенного, — ответил Саврасов.

Свирин, глядя на раскрасневшееся лицо Саврасова, ласково и протяжно проговорил:

— Все водочку, водочку, товарищ полковник, пьем.

58

Командир дивизии запросил командира полка майора Березкина о положении в доме «шесть дробь один»: не лучше ли отвести оттуда людей?

Березкин посоветовал командиру дивизии не выводить людей, хотя дому и грозило окружение. В доме находятся наблюдательные пункты заволжской артиллерии, передающие важные данные о противнике. В доме находится саперное подразделение, которое может парализовать движение немцев на танкоопасных направлениях. Немцы вряд ли начнут общее наступление, прежде чем не ликвидируют этот очаг сопротивления, их правило хорошо известно. А при некоторой поддержке дом «шесть дробь один» сумеет продержаться долго и тем расстроить немецкую программу. Так как связные могут добраться до осажденного дома лишь в редкие ночные часы, а проволочная связь постоянно рвется, хорошо бы подкинуть туда радиста с передатчиком.

Командир дивизии согласился с Березкиным. Ночью политрук Сошкин с группой красноармейцев сумел пройти в дом «шесть дробь один», передать защитникам его несколько ящиков патронов и ручных гранат. Одновременно Сошкин доставил в дом «шесть дробь один» девушку-радистку и передатчик, взятый с узла связи.

Вернувшийся под утро политрук рассказал, что командир отряда отказался написать отчетное донесение, сказал:

— Бумажной ерундой мне некогда заниматься, мы отчитываемся только перед фрицами.

— Вообще у них там ничего не поймешь, — сказал Сошкин, — все этого Грекова боятся, а он с ними, как ровня, лежат вповалку, и он среди них, «ты» ему говорят и зовут «Ваня». Вы извините, товарищ командир полка, не воинское подразделение, а какая-то Парижская коммуна.

Березкин, покачивая головой, спросил:

— Отчет отказался писать? Это — мужичок!

Потом комиссар полка Пивоваров произнес речь о партизанах-командирах.

Березкин примирительно сказал:

— Что ж, партизанщина? Инициатива, самостоятельность. Я сам иногда мечтаю: попал бы в окружение и отдохнул бы от всей этой бумажной волокиты.

— Кстати, о бумажной волоките, — сказал Пивоваров. — Вы напишите подробное донесение, передам комиссару дивизии.

В дивизии серьезно отнеслись к рапорту Сошкина.

Комиссар дивизии велел Пивоварову получить подробные сведения о положении в доме «шесть дробь один» и вправить Грекову мозги. Тут же комиссар дивизии доложил о морально-политическом неблагополучии члену Военного совета и начальнику политотдела армии.

В армии еще серьезней, чем в дивизии, отнеслись к сведениям политрука. Комиссар дивизии получил указание, не откладывая дела, заняться окруженным домом. Начальник политотдела армии, бригадный комиссар, написал срочное донесение начальнику политуправления фронта, дивизионному комиссару.

Радистка Катя Венгрова пришла в дом «шесть дробь один» ночью. Утром она представилась управдому Грекову, и тот, принимая рапорт сутулившейся девушки, вглядывался в ее глаза, растерянные, испуганные и в то же время насмешливые.

У нее был большой рот с малокровными губами. Греков несколько секунд выжидал, прежде чем ответить на ее вопрос: «Разрешите идти?»

За эти секунды в его хозяйской голове появились мысли, не имевшие отношения к военному делу: «А ей-богу, славненькая... ноги красивые... боится... Видно, мамина дочка. Ну сколько ей, от силы восемнадцать. Как бы мои ребята не стали с ней кобелировать...»

Все эти соображения, прошедшие через голову Грекова, неожиданно завершились такой мыслью: «Кто тут хозяин, кто немцев здесь до озверения довел, а?»

Потом он ответил на ее вопрос:

— Куда вам идти, девушка? Оставайтесь возле своего аппарата. Чего-нибудь накрутим.

Он постучал пальцем по радиопередатчику, покосился на небо, где ныли немецкие бомбардировщики.

— Вы из Москвы, девушка? — спросил он.

— Да, — ответила она.

— Вы садитесь, у нас тут просто, по-деревенски.

Радистка шагнула в сторонку, и кирпич скрипел под ее сапогами, и солнце светилось на дулах пулеметов, на черном теле грековского трофейного пистолета. Она присела, смотрела на шинели, наваленные под

разрушенной стеной. И ей на миг стало удивительно, что в этой картине для нее уже не было ничего удивительного. Она знала, что пулеметы, глядящие в пролом стены, системы Дегтярева, знала, что в обойме трофейного «Вальтера» сидят восемь патронов, что бьет «Вальтер» сильно, но целиться из него плохо, знала, что шинели, наваленные в углу, принадлежат убитым и что убитые похоронены неглубоко,—запах гари смешивался с другим, ставшим привычным для нее запахом. И радиопередатчик, данный ей этой ночью, походил на тот, с которым она работала под Котлубанью,—та же шкала приема, тот же переключатель. Ей вспомнилось, как она в степи, глядясь в пыльное стекло на амперметре, поправляла волосы, выбившиеся из-под пилотки.

С ней никто не заговаривал, казалось, буйная, страшная жизнь дома идет мимо нее.

Но когда седой человек, она поняла из разговора, что он минометчик, выругался нехорошими словами, Греков сказал:

— Отец, что ж это? Тут наша девушка. Надо поаккуратней.

Катя поежилась не от ругательных слов старика, а от взгляда Грекова.

Она ощутила, что, хотя с ней и не заговаривают, в доме растревожены ее появлением. Она, казалось, кожей почувствовала напряжение, возникшее вокруг нее. Оно продолжалось, когда завыли пикировщики, и бомбы стали рваться совсем близко, и застучали обломки кирпича.

Она все же привыкла несколько к бомбежкам, к свисту осколков— не так терялась. А чувство, возникавшее, когда она ощущала на себе тяжелые, внимательные мужские взгляды, по-прежнему вызывало растерянность.

Накануне вечером девушки-связистки жалели ее, говорили:

— Ох и жутко тебе там будет!

Ночью посыльный привел ее в штаб полка. Там уже по-особому чувствовалась близость противника, хрупкость жизни. Люди казались какими-то ломкими—вот они есть, а через минуту их нет.

Командир полка сокрушенно покачал головой, проговорил:

— Разве можно детей на войну посылать?

Потом он сказал:

— Не робейте, милая, если что будет не так, прямо по передатчику мне сообщите.

И сказал он это таким добрым, домашним голосом, что Катя с трудом удержала слезы.

Потом другой посыльный отвел ее в штаб батальона. Там играл патефон, и рыжий командир батальона предложил Кате выпить и потанцевать с ним под пластинку «Китайская серенада».

В батальоне было совсем жутко, и Кате представлялось, что командир батальона выпил не для веселья, а чтобы заглушить невыносимую жуть, забыть о своей стеклянной хрупкости.

А сейчас она сидела на груде кирпича в доме «шесть дробь один» и почему-то не испытывала страха, думала о своей сказочной, прекрасной довоенной жизни.

Люди в окруженном доме были особо уверенными, сильными, и эта их самоуверенность успокаивала. Вот такая же убеждающая уверенность есть у знаменитых докторов, у заслуженных рабочих в прокатных цехах, у закройщиков, кромсающих драгоценное сукно, у пожарников, у старых учителей, объясняющих у доски.

До войны Кате представлялось, что она должна прожить несчастливую жизнь. До войны она смотрела на подруг и знакомых, ездящих на автобусе, как на расточителей. Люди, выходящие из плохоньких ресторанов, казались ей необычайными существами, и она иногда шла следом за такой вывалившей из «Дарьяла» или «Терека» компанией и прислушивалась к разговору. Приходя из школы домой, она торжественно говорила матери:

— Знаешь, что сегодня было, меня девочка угостила газированной водой с сиропом, натуральный, пахнет настоящей черной смородиной!

Нелегко было им на эти деньги, оставшиеся из четырехсотрублевого жалованья матери, после вычета подоходного и культурного налога, после вычета госзайма строить бюджет. Новых вещей они не покупали, перешивали старые, в оплате дворничихи Маруси, убирающей в квартире места общего пользования, они не участвовали, и, когда приходили дни их уборки, Катя мыла полы и выносила мусорное ведро; молоко они брали не у молочниц, а в государственном магазине, где очереди были очень большие, но это давало экономию в шесть рублей в месяц; а когда в государственном магазине не было молока, Катина мать ходила вечером на базар,—там молочницы, спеша на поезд, отдавали молоко дешевле утреннего, и получалось почти в одну цену с государственной ценой. На автобусе они никогда не ездили, это было слишком дорого, а на трамвай садились, когда надо было ехать большое расстояние. В парикмахерскую Катя не ходила, мама сама подстригала ей волосы. Стирали они, конечно, сами, лампочку жгли неяркую, чуть светлей той, что горела в местах общего пользования. Обед они готовили на три дня. Обед состоял из супа, иногда из каши с постным маслом, и Катя как-то съела три тарелки супа, сказала: «Ну вот, сегодня у нас обед из трех блюд».

Мать не вспоминала о том, как жили они при отце, а Катя уже не помнила этого. Лишь иногда Вера Дмитриевна, мамина подруга, говорила, глядя, как мать и дочь готовятся обедать: «Да, были когда-то и мы рысаками».

Но мама сердилась, и Вера Дмитриевна не распространялась по поводу того, что происходило, когда Катя и ее мать были рысаками.

Как-то Катя нашла в шкафу фотографию отца. Она впервые увидела его лицо на снимке и сразу, точно кто-то подсказал ей, поняла, что это отец. На обороте фотографии было написано: «Лиде — я из дома бедных Азров, полюбив, мы умираем молча». Она ничего не сказала матери, но, приходя из школы, вынимала фотографию и подолгу всматривалась в темные, казавшиеся ей грустными глаза отца.

Однажды она спросила:

— Где папа сейчас?

Мать сказала:

— Не знаю.

А когда Катя пошла в армию, мать впервые заговорила с ней об отце, и Катя узнала, что отец был арестован в 1937 году, узнала историю его второй женитьбы.

Всю ночь они не спали, говорили. И все смешалось — мать, обычно сдержанная, говорила с дочерью о том, как покинул ее муж, говорила о своей ревности, унижении, обиде, любви, жалости. И удивительно было Кате, мир человеческой души оказался таким огромным, перед ним отступала даже ревущая война. А утром они простились. Мать притянула Катину голову к себе, вещевой мешок оттягивал Кате плечи. Катя произнесла: «Мамочка, и я из дома бедных Азров, полюбив, мы умираем молча...»

Потом мать легонько толкнула ее в плечо:

— Пора, Катя, иди.

И Катя пошла, как шли в эту пору миллионы молодых и пожилых, пошла из материнского дома, чтобы, может быть, никогда в него не вернуться либо вернуться уже другой, навек разлученной со временем своего недоброго и милого детства.

Вот она сидит рядом со сталинградским управдомом Грековым, смотрит на его большую голову, на его губастое, хмурое мурло.

(Продолжение следует.)

Правое дело Василия Гроссмана*

Горький удел выпал роману «Жизнь и судьба» и его автору. Такого, кажется, не случалось ни до, ни после.

Рукопись романа, представляющего собой вторую часть дилогии о Сталинградской битве (первая часть — роман «За правое дело» — опубликована в 1952 году), была сдана в редакцию журнала «Знамя» в 1961 году. Несколько газет уже напечатали отрывки из нового произведения видного писателя, автор был бодр, на подъеме: завершена многолетняя работа! И вдруг, по редакционной докладной, рукопись и все черновые варианты были изъяты, чтоб и следов не осталось. Но поистине рукописи не горят: по случайно уцелевшему следу отбывший четверть века в заточении роман все-таки пришел сегодня к советскому читателю.

Легко понять, почему так испугались тогда возможной публикации «Жизни и судьбы»: в нем прямо названы такие явления, о которых мы лишь теперь начинаем говорить открыто, да и то стараясь выдать их с привычной оглядкой за единичные и нехарактерные факты и черты, тогда как прозорливый писатель уже тогда видел в них определенную систему.

Из всех романов о войне дилогия Василия Гроссмана оказалась наиболее близка той русской эпической традиции, которая была утверждена Л. Толстым в «Войне и мире». И если вообще трудно представить, чтобы прозаик, стремящийся правдиво воспроизвести страшный будничный труд войны, мог миновать опыт великого романиста, то Гроссман воспринял эти классические уроки вполне сознательно, последовательно, целеустремленно.

Как у Толстого в центре повествования находилась семья Ростовых — Болконских, так здесь семья Шапошниковых — Штрумов; как там ключевые сцены были связаны со сражением за Москву, так здесь со сражением за Сталинград; сходным образом переносится повествование из тыла в действующую армию и неприятельское войско.

Легко обнаружить и многие достаточно характерные частные аналогии: Платон Каратаев — красноармеец Вавилов, Наташа Ростова — Евгения Шапошникова и т. д.; да и вообще и автор, и герои часто вспоминают фразы и ситуации из «Войны и мира»: видно, крепко владела душой писателя толстовская эпопея. Но дилогия не так уж прямо и послушно вторила образцу, это было талантливое продолжение той магистральной традиции русского эпического мышления, когда на изображаемые события падает эпохальный отсвет, а избранные автором социальные характеры, сохраняя свою индивидуальность, становятся, как теперь принято говорить, типологически значимыми.

Выросши на той же толстовской традиции, что и основная масса романов о войне, дилогия оказалась благодаря глубине и напряженности художнической мысли не панорамной, а истинно эпической — в ней нет иллюстративности, она следует пестрому и в то же время державному движению жизни, прочно ориентируясь на судьбу народа.

Как Сталинградская битва стянула все коренные проблемы противоборства двух станов, вобрала в себя все предшествовавшие события войны и предопределила будущие, так и роман о ней позволил не только запечатлеть художественную картину величайшего сражения, но и попытаться объяснить те исторические закономерности, которые предопределили нашу конечную победу над фашизмом.

Автор не старался воссоздать панораму битвы, хотя и сохраняет историческую канву и некоторые подлинные факты. В его эпическом замысле эта битва предстает своего рода осью романного мира, вокруг которой разворачиваются судьбы людей и общества.

* Публикация романа в каждом номере журнала будет сопровождаться послесловием А. Бочарова.

Наши критики часто сетовали: где же эпопея, подобная «Войне и миру», о войне 1941—1945 годов? Дилогия «Жизнь и судьба» с ее мощной историко-философской концепцией и явилась произведением такого размаха. Возьму на себя смелость сказать, что ее как раз и не хватало, чтобы представить полную палитру прозы о минувшей войне — от «окопной правды» до развитого эпоса.

Взлетная сила романа

Хорошо бы прочитать подряд оба романа дилогии — тогда возникнет целостная грандиозная картина, в которой найдут свое место и оставшиеся в первой части лейтенант Ковалев, боец Вавилов, шахтер Новиков, и перешедшие в этот роман персонажи, в том числе и фигуры немецких офицеров Баха и Ленарда. Но можно и сразу погрузиться в «Жизнь и судьбу», свободно чувствуя себя в кругу прежних и новых героев. Ведь дилогия напоминает систему «зондов», направленных в самые далекие друг от друга сферы бытия и обнаруживших исторически значительные события и судьбы.

Как во всяком эпическом романе, особенно романе о войне, одни персонажи уходят со сцены или погибают, другие появляются. Автор не сводит героев искусственно, они движутся по своим жизненным орбитам, но, как и в мироздании, сцеплены единой силой притяжения, противостоящей беспрестанному напору энтропии.

То длительные, то краткие сигналы «зондов» назначены передать ощущение полноты жизни: ведь и в самих событиях действительности не всегда наличествует завершенность, но всегда приоткрывается какая-то важная частица жизни и судьбы: жизни и судьбы народной, жизни и судьбы человеческой. А какое богатство интонации создается благодаря этой жизненной полноте: то неспешное раздумье, то драматизм событий, то проникновенное чувство, то почти нестерпимый накал диалогов...

Необычайно трудно удерживать такое огромное эпическое полотно на исторически коротком отрезке нескольких месяцев Сталинградской битвы. Роман вроде основан на пространственном размещении: от ставки Гитлера до колымского лагеря, от еврейского гетто до уральской танковой кузницы, но на самом деле он не только роман пространства, но и роман времени. Времени художественно спрессованного, что вполне оправдано не только стремительностью войны, где на фронте год службы засчитывался за три (а то и за целую жизнь), но прежде всего движением авторской мысли.

В одном из прямых авторских рассуждений говорится, что время то создает ощущение долгой жизни, то сжимается, сморщивается — в зависимости от событий, в которых всегда присутствует "одновременное чувство длительности и краткости... Слагаемых здесь бесконечное множество». Вот автор и пытается уловить и передать это многообразие слагаемых, образующих особый романный ритм, в котором соединились стремительность и неспешность.

Вихрь эпизодов в первой части дилогии концентрировался вокруг нескольких эпических центров. Первым таким центром был образ красноармейца Вавилова, выросший из сталинградских очерков Гроссмана о людях великого русского подвига, суровости и душевной силы. Такой образ позднее создаст Шолохов в «Судьбе человека», а еще десять лет спустя — Е. Носов в «Усвятских шлемоносцах». Как Андрей Соколов у Шолохова лишен того юмора, которым отличались характеры в «Они сражались за Родину», так и Вавилов был лишен «теркинского» начала, выражал не доброту и мягкость народной души, а ее суровость, непримиримость, неистовую раскалившуюся мощь.

Вторым центром стало описание обороны сталинградского вокзала батальоном Филяшкина, когда все до одного бойцы погибли, но ни один не отступил, не дрогнул. В каждого человека всматривается писатель, выявляя ту душевную силу, которая позволила людям так достойно исполнить свой долг.

И третий центр — августовская бомбежка города, где с поразительной силой открылись трагизм, героика, жизненная стойкость не только воинов, но и ополченцев-рабочих и всех жителей.

Замедленное развитие действия в этих своеобразных «повестях в романе» словно оттеняло динамичность кратких, как свист снаряда, глав-«зарисовок», воплощая в беспрестанной их пульсации противоречивый и величественный характер бытия тех лет.

В «Жизни и судьбе» темп повествования несколько ускорился, здесь уже почти нет таких «повестей» — разве только оборона дома шесть дробь один в Сталинграде да «поглощение» эшелона в лагере уничтожения. Зато гораздо энергичнее развивается внутренний драматизм судеб, неожиданные их перепады. И на то есть свое объяснение. Гроссман многое переосмыслил после XX съезда партии и разоблачения культа личности, а главное, обрел в себе решимость художественно реализовать вновь сложившуюся историко-философскую концепцию. Наряду с прямой схваткой двух смертельно непримиримых станов возникла еще сила культа личности, наложившая отпечаток на судьбы почти всех героев. Поэтому вместо прямого контраста, главенствовавшего в композиции и характерах первой части дилогии, здесь стала преобладать внутренняя противоречивость явлений, судеб, характеров.

И сегодня этот роман нельзя правильно оценить не только вне военной прозы минувших десятилетий, но и вне круга «товарищей по несчастью» — лишь теперь напечатанных произведений 60—70-х годов,— ибо в них тоже шла речь о том, как осложнили реальный ход истории последствия культа личности.

При каком обязательном условии возникает тот истинный социально-философский роман, традиция которого поддерживалась в советской прозе и «Тихим Доном», и «Мастером и Маргаритой», и «Русским лесом»? Когда писатель не просто живописует события истории, но способен подняться выше — пронизать повествование о коренных явлениях действительности светом своей мысли, самобытного взгляда на развитие общества, нации, человечества. Настойчивое постижение исторической истины — вот что объединяет в дилогии Гроссмана все картины, все сюжетные ходы, всех героев.

Мало населить роман характерными для времени фигурами. Ему, как и мирозданию, нужно придать цель, высший смысл, заставить все сущее работать на этот смысл. В романе «За правое дело» таким высшим смыслом была идея: народ, поднявшийся за правое дело, непобедим. Теперь эта идея дополнилась некоторыми обертонами: жизнь неповторима, драгоценна и непобедима; жизненная энергия упрямо противостоит насилию.

Почему автор начал «Жизнь и судьбу» не с боев в Сталинграде, а с гитлеровского концлагеря, где находились самые разные люди самых разных национальностей? (Так роман «За правое дело» открывался встречей Гитлера и Муссолини в апреле сорок второго года, накануне летнего наступления.) Ему понадобилось дать своего рода запев, обозначить основные линии будущего движения событий и авторской мысли, заявить о «вселенском» масштабе действия, в котором речь идет о глобальной битве насилия и свободы, столкновении двух идеологий.

Даже в лагере, где все вроде равны перед лицом единой судьбы, перед нами проходят разные люди: старый большевик Мостовской, католический священник Гарди, бригадный комиссар Осипов, бывший меньшевик Чернецов, толстовец Иконников, верховодивший среди русских военнопленных майор Ершов. Различны у них представления о добре, долге и назначении человека, по-разному будут они вести себя перед лицом общей судьбы, трагичен будет конец всех честных и стойких людей — и в этом проявляется та диалектика, которой пронизано все эпическое изображение в романе: видеть сложную сущность каждого жизненного явления и особенно сложную сущность человека. Только в лагере Мостовской поймет, что прежнее деление людей на друзей и врагов подправлено жизнью: «Теперь он узнавал в мыслях чужого то, что было дорого ему десятки лет назад, а чужое иногда непонятным образом проявлялось в мыслях и словах друзей».

В этой же главе начинается спор между Иконниковым и Мостовским, вторгающийся в едва ли не самую чувствительную зону нервной системы всей повествовательной ткани — соотношение высокой цели и жестоких средств. Здесь прорезается и сокровенная авторская мысль об однообразии бесчеловечия и неповторимости жизни. Наконец, как камертоном, задается тональность всего романа: мы понимаем, что узников ждет смерть; и этот факел жизни перед смертью, особенно яркий по контрасту, влечет и завораживает нас. И во всем романе затем будет главенствовать эта странная и трудноуловимая завораживающая сила, когда все неотвратимо вращается в трагичном по своей сути треугольнике: жизнь — смерть — судьба.

Пусть не шокирует читателя непривычная жизненная дуга романа, концами которой оказываются два концлагеря — немецкий и советский, две крайние, самые нижние точки бытия, ибо Сталинград имел в историко-художественной концепции Гроссмана величайшее значение не только для войны, но и для всей жизни советского и немецкого народов, социалистического и фашистского государств. Трагическое зарево Сталинграда осветило всю жизнь, до самых нижних точек. На этих точках униженные и оскорбленные по давней русской романной традиции яснее проявляют общественную, нравственную сущность событий социальной жизни. Писателю надо было понять, почему мы отступили до Сталинграда, почему оказались несломленными и откуда взяли силу для наступления. 90 дней обороны и 100 часов окружения вобрали в себя и стойкость, и напор, и боевой дух. Из каких глубин поднялось все это?

Свобода против насилия

Главное, что волнует Гроссмана в дилогии,— это свободное, вольное течение жизни; для того, собственно, и совершали революцию, чтобы освободить энергию жизни и человека.

Поэтому так обостренно внимателен он к торжеству и поруганию жизни, к хрупкости человеческого естества и его могучей жизненной силе.

Все состояния жизни предстают в романе — от рождения сына у Веры на барже, ставшей тесным жильем эвакуированных сталинградских жителей, до последних минут жизни военврача Софьи Осиповны в гитлеровской газовой камере.

Вызванный в штаб летчик Викторов идет по среднерусскому лесу и дивится несказанной его красоте, дивной поляне; заканчивается эта сценка поразительно найденными словами: «Наверное, над этой поляной никогда не пролетал ни Ю-88, ни ночной «Хейнкель». В них — и психологическая реакция летчика, у которого в подсознании засели проклятые вражеские самолеты, и эмоциональный авторский образ: даже тень от фашистского самолета поганила бы эту жизнь!

Расцвела в сталинградском пекле коротенькая любовь Сережи Шапошникова и радистки Кати; «вечная история Дафниса и Хлои» — возвышает ее автор; и потому словно растворились оба возлюбленных в горящем, грохочущем, пыльном воздухе Сталинграда. Так бесследно истаивал во вражеском тылу лейтенант Травкин в «Звезде» Эм. Казакевича, а радистка Катя верно ждала, не выключая приемника, настроенного на волну разведгруппы; только у Казакевича была романтическая повесть-легенда, а у Гроссмана — короткий романтический блик в эпическом построении.

И, конечно же, безмерно трепетен мир такой непрочной и короткой боевой жизни защитников города — и когда горящая нефть из разбомбленных хранилищ захлестывает горстку командиров, и когда отбивают штурм немцев уцелевшие после сокрушительной бомбежки бойцы из полка майора Березкина. Жизнь и смерть неразделимы, смерть обрывает жизнь, а жизнь продолжается вопреки смерти: «На переднем крае хоронили погибших, и убитые проводили первую ночь своего вечного сна рядом с блиндажами и укрытиями, где товарищи их писали письма, брились, ели хлеб, пили чай, мылись в самодельных банях». О, как жарко горит факел жизни под порывами ветра смерти, как велика, как хрупка и как невытеснима жизнь!

Выразитель своего рода «научной ипостаси» авторских воззрений академик Чепыжин будет развивать перед Штрумом идеи о противоположности жизни и

неживой материи: «Мне представляется, жизнь можно определить как свободу... Основной принцип жизни — свобода. Вот тут и пролегла граница — свобода и рабство, неживая материя и жизнь... Вся эволюция живого мира есть движение от меньшей степени свободы к высшей. В этом суть эволюции живых форм». Нужно будет внимательно и неспешно вчитаться в эту беседу Штрума с Чепыжиным, чтобы почувствовать, сколь глубоко понимал Гроссман сущность свободы как непременного свойства всей жизни, а человеческой в особенности.

Вот и такую важную для него, совсем маленькую — в полстранички! — 50-ю главку второй части он начнет словами: «Человек умирает и переходит из мира свободы в царство рабства. Жизнь — это свобода, и потому умирание есть постепенное уничтожение свободы... сознание угасло, огонь свободы погас».

Это отнюдь не абстрактные суждения, имеющие в виду некий натурфилософский «феномен жизни», о котором нынче стало так модно писать, утапливая в нем любые социальные аспекты. Такой «феномен» никогда не был главным для серьезных писателей — для них неизменно притягательна жизнь осмысленная, социальная, как бы глубоко ни проникали они в мир подсознания, инстинктов, непредсказуемых побуждений. Главная эпическая идея, дающая внутренний импульс всей дилогии,— противостояние жизни и насилия или, что равнозначно для автора, свободы и насилия.

Разные виды насилия предстают в романе — и прежде всего сама война как грознейшая и нагляднейшая форма насилия над жизнью и свободой. Но ни в одном случае мы не встретим насилия рока, неведомой необоримой силы, всегда это ясно определенное насилие — фашизма, государства, социальных обстоятельств; на идее рока здание эпопеи возвести невозможно.

Столь же насыщены реальным социальным смыслом в романе и понятия добра и зла. Какое напряжение звучит в письме «абстрактного гуманиста» Иконникова, где тот высказывает свои мысли о вечной и неистребимой «частной доброте отдельного человека к отдельному человеку» в отличие от идеи религиозного и общественного добра, способного причинить многое зло во имя конечного торжества этой идеи. В сущности, это близкие самому автору мысли о высочайшей ценности каждого отдельного человеческого существования и о жестоких средствах, столь часто пускаемых в ход для достижения высоких целей. И нельзя пройти мимо того, что «проповедник бессмысленной доброты» Иконников окажется апостолом чести и за отказ строить лагерь уничтожения будет казнен, а комиссар Осипов — во имя «общественного добра»! — спровадит в лагерь уничтожения Ершова, заподозрив в нем ненадежного соперника по организации подпольного движения сопротивления.

Именно потому, что понятия добра и зла для Василия Гроссмана остросоциальны, он и ведет речь не столько о добре и зле, сколько о свободе и насилии, всегда называя «точный адрес» зла, а не просто толкуя о роке и фатальной неизбежности.

Не рок наваливается на евреев, оказавшихся в оккупации, а сознательная истребительная сила фашизма. И потому такое значение приобрел в романе эпизод гибели очередного эшелона евреев в лагере уничтожения: вся гамма жизни — отчаяние, стойкость, вера — откроется в описании этого научно поставленного процесса, превращающего «жизнь и все виды связанной с ней энергии в неорганическую материю» (вот как откликаются чепыжинские формулировки: не просто жизнь и смерть, а противоборство жизни и неживой материи!).

А до какого высокого пафоса поднимается автор, говоря о покорности! Начав с покорности евреев, идущих из гетто к рвам массовых расстрелов и едущих в эшелоне в лагерь уничтожения, он тут же по внешне непостижимой логике мысли переходит к дерзновенным общим выводам: о массовой покорности, заставляющей безропотно ждать ареста или смиренно наблюдать за уничтожением невинных; о покорности, вызванной подавлением человеческого духа сверхнасилием тоталитарной системы. Опять-таки покорность, податливость являются для автора — равно как и доносительство, жестокость, двуличие — не биологическими качествами человека, а результатом свинцового социального насилия.

Но, верит Гроссман, как бы ни были могущественны насилие и сверхнасилие, как бы ни было велико до поры до времени послушание миллионных масс, как бы ни превращалось насилие в предмет мистического преклонения, все равно человек, обращенный в рабство, становится рабом по судьбе, а не по природе своей. «Природное стремление человека к свободе неистребимо, его можно подавить, но нельзя уничтожить... Человек не откажется от свободы. В этом выводе свет нашего времени, свет будущего». И каждый раз автор неотступно вглядывается, как люди приемлют свою судьбу — подчиняясь, упорствуя, не сдаваясь.

Трудно представить, но тем не менее остается фактом: во всем огромном мироздании романа нет места убежденным изменникам родины — их психология автора не интересовала. У него есть люди и нелюди, люди свободные и люди несвободные. Оттого и даст он сцену, в которой действуют возле печей крематория в лагере уничтожения двое советских военнопленных — Жученко и Хмельков. Жученко был из людей со сдвинутой психикой, мы узнаем лишь, что на его лице блуждала какая-то детская и оттого особенно неприятная улыбка, а руки с длинными и толстыми пальцами всегда казались немытыми. Бывший же парикмахер из Керчи Хмельков, о котором до войны никто не думал плохо, прошел в плену все мучения побоев, голода, кровавого поноса, издевательств, подсознательно выбирая все время одно — жизнь, «большего он не хотел». И вот очутился у печей. Он сравнивает себя с Жученко, и временами ему кажется, что он совсем не такой, как этот патологически радующийся своей работе тип, но потом на него накатывало прозрение: они одинаковы, ибо богу и людям безразлично, в каком душевном состоянии совершается истребительное дело. Жученко постоянно тревожил его, потому что был просто уродом, а Хмельков был все-таки человеком, «он смутно знал, что в пору фашизма человеку, желающему остаться человеком, случается выбор более легкий, чем спасенная жизнь,— смерть».

Позднее А. Адамович покажет нам в «Карателях» целую галерею извергов из зондеркоманды: от сходного с Жученко рядового карателя Тупиги до философствующего командира роты. Есть и у Гроссмана командир зондеркоманды штурмбанфюрер Кальтлуфт, добросовестный работник, оправдывающий себя простым исполнительством: «судьба толкала его на путь палача, убившего пятьсот девяносто тысяч людей». Но автор лишает его этого нехитрого утешения: «Судьба ведет человека, но человек идет потому, что хочет, и он волен не хотеть».

И именно самооправдания Кальтлуфта подводят к одной из главнейших идей книги: правильность выбора судьбы определяется не судом небесным, не судом государства и даже не судом общества; «высший суд — это суд грешного над грешным». «Не святой, не праведник, а жалкий, раздавленный фашизмом грязный и грешный человек, сам испытавший ужасную власть тоталитарного государства, сам падавший, склонявшийся, робевший, подчинявшийся, произнесет приговор.

Он скажет:

— Есть в страшном мире виноватые! Виновен!»

Вот ясный ответ писателя на все плетения словес о роке, судьбе, безволии маленького человека. Судит тот, кто выстоял в ужасной схватке, и право судить дано ему перенесенным страданием.

Эта неизменная ясность позиции объясняет, почему автору интересно человеческое в человеке не вообще, а при столкновении с социальными обстоятельствами. Как бы ни играла судьба человеком, какой бы ужасной ни была его участь, человек не игрушка в руках судьбы, в его власти сохранить в себе человеческое, если даже он не в силах побороть обстоятельства. Эта идея и служит основой эпического романного мышления в «Жизни и судьбе».

Несовместимость насилия и свободы волновала в те годы и Пастернака в «Докторе Живаго»; открывающаяся теперь возможность сопоставить оба романа даст богатый материал для уяснения гуманистических начал нашей литературы.

Обоих писателей неотступно мучил вопрос: являются ли насилие и жестокость неотъемлемыми свойствами революции или это личные качества Сталина? Только Гроссман, отвечая на этот вопрос, задумался над тем, отчего стал воз-

можен фашизм в Германии и культ личности у нас, а Пастернак углубился в философию революции. Пастернак отвергал идею, по которой к лучшему будущему человечество может прийти только через вооруженную борьбу и насилие. Насилие отвергал в конечном счете и Гроссман. Для обоих с трагической очевидностью определилось в качестве святого закона жизни, что свобода человека превыше всего, в мире нет цели, ради которой можно принести в жертву свободу человека.

И не предстанет ли художническая стойкость Гроссмана тем более значительной, если мы вспомним, что он писал о насилии государства и о жестокости, которой так опасался и автор «Доктора Живаго», как раз в то время, когда в 1958 году Пастернака принудили отказаться от Нобелевской премии и исключили из Союза писателей за его «антисоветский клеветнический роман», «грязный пасквиль»?! Жили оба писателя в разных жизненных измерениях, кажется, не были даже знакомы, но сошлись в одной точке судьбы. И уж вдвойне знаменательно, что сошлось в одной точке и время публикации их романов в советских журналах.

Никто не принуждает нас считать их ответы целиком правильными — и уж тем более единственно правильными,— но знать их нам необходимо, без этого историческая истина будет неполной.

В одном из выступлений А. Н. Яковлев произнес: «Родословная социализма — в свободолюбии, свободомыслии и прогрессе». Эта сердцевина социализма — свободолюбие как осуществление коренного свойства человеческой жизни и свободомыслие как естественное состояние, обеспечивающее прогресс,— и служила Гроссману ориентиром при всей спорности некоторых его рассуждений (о чем еще речь впереди).

Еще в первой части дилогии он твердо сформулировал: «Героями истории, истинными историческими личностями, вождями человечества есть и будут лишь те, кто осуществляет свободу, в свободе видит силу человека, народа и государства, борется за социальное, расовое и трудовое равенство всех людей, народов и племен мира». Это принял он и за неизменную точку отсчета в «Жизни и судьбе». Жизнь — это свобода. И судьба человечества зависит от осуществления свободы человека.

А. БОЧАРОВ

Владимир ЦЫБИН

На переломе

* * *

Уже подтаяло слегка,
уже капель стучит по раме
и мелодичные снега
слагаются в созвучья сами.

В них отразились
дрожь ветвей,
скольженье птичьего полета;
им, а не памяти своей
бесстрашно верю отчего-то.

Я слышу — в душу мне сквозит
непроницаемый, как омут,
весны младенческий язык,
который в почки запеленут.

Дано грядущее мне в дар —
я подчинен его разбегу,
пока забвеньем дышит даль
и музыка течет по снегу.

Дана мне ясность, как беда,
что мне труднее год от года.
А жизнь одна,
а даль одна —
непостижимы, как свобода.

* * *

Я умерших спросил в холодном сне,
страшась ответ услышать: — Где вы все?

— Хоть мы везде, хоть нет нас, но с земли зеленой
никуда мы не ушли.

Качались тени, так на ветке лист,
без имени, без времени, без лиц.

— Я вижу вас...
— Скажи, какие мы?
А я молчу: нет облика у тьмы.

Иль наяву, иль далеко-о во сне
тишь чутко вызревала на росе.

И я из сна, оттуда, как росток,
тянулся в мир, где веет холодок,

где жизнь мою качают, как весы,
то — вдаль, то — вспять
кукушка и часы...

* * *

К себе привык и к прошлому
привык,
но, словно день грядущий окликая,
вдруг мысль войдет в тебя —
и ты велик,
лицо сотрется, и проступит лик,
хотя под кожей кровь сквозит
живая.

Полулицо еще и полулик,
еще в черты твои он не проник
и все-таки уже страшит,
тревожит,
что это —
твой неведомый двойник
тебя заменит и забыть поможет.

Вот так когда-то каменной киркой
тесал пастух гранит,
чтоб поглядеть
— какой? —
и в ужасе, и в восхищенье видел,
как под его дрожащею рукой
из камня грозно появлялся идол...

Баллада жизни

Когда иссякнул жизни срок,
он запер сердце на замок,—
все, что любил, что помнить мог,
все привалил тяжелым камнем.
И кто-то времени поток
остановил:
— Живи века нем!

Не слышал больше, как песок
струился возле детских ног,
как задыхается цветок
от зноя и как утром ранним
день нескончаем и глубок.
Он смерть позвал.
Но смерти нет
тому, кто умер столько лет.

...Нам это все дано в завет,
ведь в час,
когда в безвестность канем,
в небытие,— на жизнь, на свет
оттуда, где живущих нет,
на эту жизнь, на этот свет
глазами всех живущих глянем.

Баллада о встрече

Вишня звезду накрыла белым прохладным краем.
Недвижно стареет время над стертым дождями камнем.

— Тут ли, Иван, не знаю, ты ли лежишь под вишней?
— Как ты узнала, мама, как ты нашла над Вислой?

— Видишь меня?
— Нет. Вижу возле избы березку.
— Это я рассыпаю русской землицы горстку.

— А дома?..
— Все так же тихо. Одна я осталась в доме.
— Мне б горстку степного ветра, мне б горстку
всего в ладони...

— А я ведь твою рубашку прежнюю постирала.
— Другая на мне — из глины, и холодно в ней мне, мама.
— Слышишь — мой голос высох, стара я по всем приметам...
А тишь засыпают ветры вечным вишневым цветом.

Баллада портрета

На портрете — давние года,
на портрете — девочка, гордячка:
белый бантик, черные глаза,
и у ног в ошейнике собачка...

Девочке — за восемьдесят лет,
воззвала, у рамки стоя, к чуду:

— Жить хочу я, перейти в портрет,
только там я вечно юной буду...
— Будет так! —
и стало вдруг темно,—
все переменилось, словно в сказке:
старая — ушла на полотно,
растворилась на тона и краски.
По веленью творческого духа
на портрете, как судьбы итог,
в бантике кокетливом — старуха
с маленькой собачкою у ног.

...Девочка прищурилась на свет,
что-то в грудь ее вошло, тревожа.
— Это старый бабушкин портрет,
говорят — я на нее похожа...

И, как в нечто тайное окно,
на стене зияло полотно.

* * *

Часто стучатся звуки
куда, в какую дату?
Туда мои разлуки
текут по циферблату.

Где встретила нас стылость —
там, годы отсевая,
сосна остановилась,
как стрелка часовая.

Стоит — к поляне вышла,
вся в птичьем перещелке.
И падают неслышно
на сердце мне иголки.

А век еще не прожит,
а век еще загадан,
и тишь сказать не может,
что вечность где-то рядом...

* * *

День потемнел,
раскатно-медный
катился гром по краю дня,
и синь над высью заповедной
тускнела, словно полынья.

Еще дрожа,
не знали ивы,
что древним холодом высот
гром молодой и торопливый
куда-то мимо пронесет,

уравновесятся минуты,
и станет в небе не черно,
лишь тень,
как знак бессильной смуты,
скользнет — и больше ничего.

Так почему в тревоге вещей
во мне, покорна и вольна,
мысль о бессмертии трепещет
не в силах вспомнить —
кто она?..

Вадим ШЕФНЕР

Новые стихи

Осенью сорок первого

Память, минувшее унаследуй,
Помни сентябрь сорок первого года.
Друг мой, не веровавший в победу,
Жизнь за Отчизну бесстрашно отдал.

Это теперь незрячим и зрячим
Видно сквозь годы, что в отдаленьи
Май сорок пятого нам маячил
В дни самых горестных отступлений.

Ну а тогда не каждый, не всякий
Верил, что злую силу осилим, —
Но, не колеблясь, в час контратаки
Жизнь был готов отдать за Россию.

Память людская, все унаследуй, —
Помни и тех, что давней порою
Просто за Родину, не за победу
Пали... смертью героев.

Степной путь

Я шел дорогою степной
В безлунной тишине,
И кто-то следом шел за мной, —
Иль то казалось мне?

И душу мне сжимала жуть,
И темен был восток...
О солнце, солнце, не забудь
Воскреснуть в должный срок!

...Вот наконец настал рассвет,
Иду при свете дня, —
И никого, я знаю, нет
Там, позади меня.

Скорей же, ночь, вернись ко мне,
Стань спутницей моей!
С самим собой наедине
Идти еще страшней.

* * *

Молчаливые фильмы, трамваи с площадкой открытой,
Чехарда и лапта, дровяной деревянный сарай...
Возникают из тьмы очертания давнего быта, —
И душа экскурсанткой вступает в покинутый рай.

Как светло и привольно живется там детям и взрослым!
Все капризы мои моментально прощаются мне;
В мире этом еще не обижен никто и не сослан,
И не болен никто, и никто не убит на войне.

Там счастливые сны до утра моей матери снятся,
Там осенней порой вечера так уютно длинны, —
И на книжную полку, где с Фетом соседствует Надсон,
Даргомыжский и Лютер степенно глядят со стены.

В том домашнем раю, в безмятежно-безгрешном покое,
Беспечально, бессмертно родные звучат голоса, —
А на Среднем проспекте копытами цокают кони,
И на кухне чуть свет музыкально гудят примуса.

* * *

Листаю пожелтевшие газеты,
Разглядываю тусклые клише.
Нестрого смотрят на меня портреты
Строжайших тех, которых нет уже.

Толпятся пассажиры на вокзале;
В даль вечную умчат их поезда.
Тех, что спиной к фотографу стояли,
В лицо я не увижу никогда.

Георгий ШЕНГЕЛИ

Из литературного наследия

* * *

Окно одно и смотрит в коридор;
Обои цвета кирпича и ржави,
И в комнате прохлада, темнота
И восковая тишина паркетов.
А за окном, за галереей ломкой, —
Сияющий в июльском полдне двор;
Мерцают стены, черепица рдеет,
А из-за крыши выдвинулся купол,
И на кресте, видавшем генуэзцев,
Уснули голуби, — их грудь слегка
Под смуглым блеском меди розовеет...
Окно одно.
К нему прильнул мой тростниковый столик,
И беленькая Женя в белой рамке
Отворотилась от сиянья полдня
И смотрит на меня... Мне двадцать лет...
Мне двадцать лет, и я люблю работать,
Я рад, когда могу сюда вернуться,
К моим листкам, исписанным стихами,
К моим тетрадям, где пытаюсь я
Слить воедино Штирнера и Канта,
К моим английским перьям и печаткам,
Карандашам — что иглы заостренным, —
Все в первоученическом порядке,
И я — поэт, и я — пишу, люблю...
Пойду гулять на мол иль на бульвар,
Иль в шахматы играть, иль на свиданье,
И, точно тайна сладкая, дрожит
Воспоминанье о тетрадях ждущих,
О Штирнере, о перьях и печатках...
Так институтка помнит и хранит
Свой первый поцелуй гардемарину.
Теперь мне тридцать. Все ушло, ушло.
Нет Жени. Кант забыт. Мой стол завален
Газетами, засыпан пеплом. Я
К нему сажусь на полчаса в неделю.
Стихи искусней, и статьи умней,
И платят много. Но сама работа
Столь постарела, опостыла так,
Что я готов читать Шерлока Холмса,
Чтобы о ней еще хоть час не думать...
Таков закон. И через десять лет
Я, где-нибудь в больнице дотлевая,
Припомню вдруг с сегодняшней тоскою,
С сегодняшнею жалостью к себе,
Не тот июльский полдень, не окно,
Глядящее на генуэзский купол,
А нынешнюю комнату мою,
И пыльный стол, и желтые газеты
И прохриплю: «Как было хорошо!»

1924

* * *

Я распилил янтарную сосну,
Я сколотил чудеснейшие полки,
По ним расставил маленькие книги,
Которые когда-то написал!
Теперь пора им отдохнуть немного,
Теперь пора вдохнуть им запах смольный:
Когда, быть может, вновь достану их, —
По-новому мне их слова повеют...
В смолистую пила впивалась плоть,
Входили гвозди мягко и упруго,
Ладонь горела, распахнулся ворот,
И седина в сосновой теплоте
Незримо таяла и исчезала...
Теперь я знаю, для чего Господь
Сосновые сколачивает ложа
Своим любимым: чтобы, отдохнув,
Они могли с помолодевшим, с ним
По-новому беседовать и новым
Сосновым духом обласкать его!

12/X 1926

Вплавь

Я вышел утром. Был тот серый, теплый,
Немного аметистовый денек,
Когда приятен горький дым асфальта
И запах сыроватого газона,
И у невзрачной девушки навстречу
Так мягко шоколадятся глаза.

В такие дни всегда немного грустно, —
И оттого, что ты большой и старый,
И оттого, что знаешь все на свете
И слишком трезво смотришь на людей.
А хорошо бы за угол внезапно
Свернуть, — чтобы совсем не по дороге, —
Глазеть на склянки в окнах москательной,
Поссориться с мальчишкой босоногим,
За три копейки выпить у киоска
Стакан воды с сиропом ядовитым
И вдохновенно в школу опоздать!..

Я был свободен. Мог купить сигару
В серебряной обертке; мог нанять
Автомобиль и за город поехать;
Мог выпить ледяной бокал коктейля;
Мог посетить чертоги букиниста, —
Приобрести Гюго в сафьяне синем,
Или (не больше спичечной коробки)
Конфуция в английском переводе,
Или мадам Жанлис... Я грустно шел;
Мне не хотелось ничего, что мог я
В богатом городе себе купить
На щедро заработанные деньги.
Я грустно шел. На площади Арбатской,
Тогда еще загроможденной сквером,
Уборною, киосками и прочим,
Я увидал толпу. Она теснилась
К бульвару Гоголевскому. Конечно,

И я побрел глядеть, еще не зная,
На что глядят, но по веселым лицам
Поняв, что там не драка, не мертвец,
Не распродажа... Остроносый Гоголь
Сидел на постаменте, норовя
Кого-то клюнуть. Рядом (с удивленьем
Я увидал) второй такой же Гоголь,
Но уменьшенный втрое, восседал
На постаменте, тоже уменьшенном.

«А! Киносъемка!» — догадался я,
Споткнувшись тут же о змеистый кабель
К юпитеру... «Но для чего бы надо
Лепить модель и привозить сюда,
Когда оригинал стоит на месте?»

Тут зажужжала вольтова дуга
В юпитере, и страшным синим светом
Все обдало; на статуях обеих
Рельефны стали, резки и упрямы
Малейшие изгибы, срезы, ямки
Усов, ноздрей и глаз, — как на луне,
Когда ее в большой бинокль поймаешь.
Казалось: мир застыл в неверном блеске,
В каком-то мертвом, фосфорном сиянье,
И межпланетным холодом сейчас
Охватит всех. Вдруг рупор режиссера
Команду подал. Гоголь (тот, второй)
Как на шарнире голову рванул
Направо, дернулся, вскочил, — как будто
Аршин складной расправили, — и вновь
Сломился, сел, закоченел... Громадный
Ком тошноты мне к горлу подкатил!
Я ощутил с железным омерзеньем
Оживший труп, — скачок за грань закона,
За логику; из истины — в кошмар!..

Я шел и думал: как прекрасна жизнь
В ее прозрачном и н е о б р а т и м о м
Течении! Ах, — вплавь! Немедля — вплавь!

1935

Философия классицизма

Все любят (много раз я проверял)
Заглядывать в чужие окна, если
Там свет зажжен. Воспитанные люди
Довольствуются, правда, быстрым взглядом,
Чуть замедляя шаг. А я люблю,
Особенно в хороший летний вечер,
Греметь в трамвае по кольцу бульваров,
Когда, как золотые соты, окна
Мелькают по стенам.
Глядишь сквозь них, —
Таким спокойствием, таким уютом
Полны там комнаты! Всегда удачно
Поставлены буфет, кровать, кушетка;
Всегда сверкает чайный стол; всегда
Нарядны занавески и картины,
И кажется, что дружная семья,
Прозрачные и радостные люди, —
Там обитают, что веселый смех

Лишь за трамвайным грохотом неслышен...
На самом деле — далеко не так:
Буфет облуплен, и кровать промята,
Несвежи занавески; на картине —
Какой-нибудь затрушенный пейзаж
Иль гурия грудастая, а люди
Подсчитывают с радостною злобой,
Кто и в каком объеме жизнь заел
Другому... Чаще — так.
И всё же, всё же
Иллюзия непобедима.
Я
Видал модели под стеклом — фрегат
Или собор; в хрустальном пресс-папье —
Париж или Неаполь; панорамы
В брелоках или ручках — Ниагара,
Везувий, Эйфелева башня. Помню
На святках «со звездой ходили»; в звездах
Посередине грот бывал, — «вертепик»,
Со всем, что надо: ясли и ребенок,
И прочее, — приятно освещенный
Огарочком...
Все это я любил
За блеск, за четкость, за уют, за воздух.

Не правда ли? Здесь ключ.
Подумать только:
Стена. Стена! Тупая плоскость, камень,
Дурная непрерывность. И ее —
Вдруг пронизает, в третье измеренье
Прорвавшись, блеск и воздух! Есть — пространство,
Есть — ритм!..
А дом? Подумать только: дом!
Огромная и гулкая коробка,
Где страшно отдается голос; где —
Мрак, нежить, мусор, паутина, крысы.
Громадный череп с выветренным мозгом!
И вдруг — в нем соты, светлые ячейки,
Некрупные, где внятен каждый голос,
Где форточка уже дает прохладу,
Где кафель печки дышит теплотой,
Где самовар шумит, поет пьянино,
Смеются дети...
Вдумайтесь: буфет!
Его чертил беззлобый неудачник,
Понасадив каких-то глупых шишек,
Карнизиков ненужных, заострив
Углы, чтобы коленкой натыкаться;
В нем сохла колбаса, и прел пирог,
И тараканы подъедали крошки,
В нем плесень пробиралась в закутки,
В нем волгла соль. А тут, мелькнув на миг,
Являет он лишь суть свою: прекрасный
Разлив доски дубовой, ясный лак
И — вещность. Колбасой и пирогом
Не пахнет он, и — неприметны шишки...
Картины! Ну глядеть — иди в музей:
Лишь Эрмитаж достоин Клод Лоррена
Или Брюллова. В быт идут оглодки, —
Мазил, где нет рисунка, цвета, формы,
Где вместо содержанья — сантимент,
Сей маргарин души. А пролетая,
Ты видишь золотой клинок багета,
Лазури клок, иль крон зеленых сгусток,

Иль плавный выгиб женского бедра.
Опять — лишь суть: обрывок спектров жгучих, —
Плоть радуги!..
А люди! Незаметны
Ни скулы грубые, ни узкий лоб
Ни плоские — облатками — глаза;
Не слышно глупых шуток, злобных вскриков;
Видны тела лишь в их прекрасной сути:
Лицо, чело, движенья умных рук.
Мне не узнать, что этот — регистратор,
Та — машинистка, тот — пьянчуга, тот —
Не по летам ретивый старикашка.
Я вижу — вот отец, придя с работы,
Рад отдохнуть; вот мать дает ребенку
Грудь, налитую нежным молоком;
Вот школьник сел за книжку; вот поэт
Глядит в простор, уже перо макая.
Всё — только суть; всё — так, как нужно.
Миг
Достаточен, чтобы схватить все это —
В единстве, в установке, в существе,
В идее, воплощенной зримо.
Правда,
Всё это есть у классиков: трехмерность,
Объемность, расчлененность, свет и воздух,
И краска, и — та доминанта жизни,
Что в основном стремится вверх и вверх?

25/IX 1937

Ожидание

Надвигается ночь. Надвигается ужас ночной.
Раскрывается с хрустом огромное пресное небо.
Повисает луна. Повисают под белой луной
Меловые ковриги небесного дутого хлеба.

Этот мертвый, как проповедь, этот банальный пейзаж,
Эти мертвые хлебы, подобие вялых батонов,
Неотвязной, астмической тяжестью давят... Глаза ж
Ищут знамений рдяных, и сердце стоит, захолонув...

И они возникают. И мне угрожают они
Безысходностью гибели, мертвою хваткой измора, —
И в громах тяжкомраморных серые сходят огни...
Я не знал никогда, что мой город зовется Гоморра.

1941

* * *

Я горестно люблю Сороковые годы.
Спокойно. Пушкин мертв. Жизнь, как шоссе, пряма.
Торчат шлагбаумы. И, камер-юнкер моды,
Брамбеус тратит блеск таланта и ума.

Одоевский дурит и варит эликсиры.
Чай пьют чиновники с ванильным сухарем.
И доживают век Прелесты и Плениры,
Чьи моськи жирные хрипят вдесятером.

Что делать, боже мой? Лампады богаделен —
И те едва чадят у замкнутых ворот.
Теснят Нахимова, и Лермонтов пристрелен,
И Достоевского взвели на эшафот.

Как поздним октябрем в душе буреет опаль
Листвы безжизненной, и моросит тоска...
Но будет, черт возьми, но грянет Севастополь
И подведет итог щепоткой мышьяка.

4/I 1949

* * *

Это все еще — «только так»,
Это все еще — бивуак...
Не налажен письменный стол,
Не такую ручку добыл,
И не все трактаты прочел,
И не все словари купил.
А потом — на дворе зима
Или дьявольская жара;
И — от женщины без ума —
Не дотянешься до пера.
Вот закончится ледоход,
Вот поэма в печать пойдет,
Вот разок покажусь врачу,
Вот бессонницу полечу,
Вот в Туркмению полечу —
Улыбнуться опять лучу,
Вот пальто сошью по плечу,
Вот редактора проучу,
Вот директор, авось, помрет,
Или так его черт возьмет...
Разве можно тут жить, в Москве,
С вечным дребезгом в голове?
Тут портянкой закрыт зенит,
Тут, как зуд, телефон звонит,
Тут в чертогах библиотек
Нужных книг не найдешь вовек,
А работать надо, как вол,
А читатель прет на футбол.
Но не хнычь, не ной, подожди:
Вот промоют окно дожди,
Вот объявят войне войну,
Вот откроют стране страну,
И куплю я голландский шкап,
И достану шотландский драп,
И добуду пищу уму,
И весну проведу в Крыму.
Только это бы, — а потом
Настоящую жизнь начнем!
Все, что нынче, все «только так»,
Мимолетное, бивуак!
И не будем считать обид:
Это так, на ходу, транзит.
Настоящая жизнь — потом:
Вольный труд и свободный дом;
Послезавтра — жизнь!.. А пока
Дайте адрес гробовщика.

30/XII 1949

Педагогика

Раз — топором! И стала рдяной плаха.
В опилки тупо ткнулась голова.
Казненный встал, дыша едва-едва,
И мяла спину судорога страха.

Лепечущие липкие слова
Ему швырнули голову с размаха,
И, вяло шевелясь, как черепаха,
Вновь на плечах она торчит, жива.

И с той поры, взбодрен таким уроком,
Он ходит и косит пугливым оком,
И шепчет всем: «Теперь-то я поэт!

Не ошибусь!» — и педагогов стая
Следит за ним. И ей он шлет привет,
С плеч голову рукой приподымая.

1955

Публикация Вадима ПЕРЕЛЬМУТЕРА

В. БАЛЯЗИН

Возвращение

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. В. ЧАЯНОВА

28 сентября 1987 года в конференц-зале ВАСХНИЛ английский профессор Теодор Шанин выступал с лекцией: «А. В. Чаянов в мировой экономической науке». Многие из собравшихся впервые услышали имя Чаянова за полтора месяца до этого, прочитав в газете «Московские новости» материалы «круглого стола», собранного журналистом Львом Воскресенским с участием докторов наук Н. К. Фигуровской, В. П. Данилова и М. О. Чудаковой, где рассказывалось о реабилитации пятнадцати ученых-аграрников, репрессированных в самом начале тридцатых годов по обвинению в подготовке антисоветских заговоров и кулацких мятежей.

По именам двух главных обвиняемых «преступная организация» получила тогда название «кулацко-эсеровской группы Кондратьева — Чаянова».

Более чем через полвека, 16 июля 1987 года, по протесту Генерального прокурора СССР А. М. Рекункова Верховный суд нашей страны отменил постановления, принятые в 1931, 1932, 1935 годах, и прекратил уголовное дело за отсутствием состава преступления.

Теодор Шанин оказался крепким бритоголовым человеком средних лет, с огненными черными очами и темпераментом, неожиданным для хрестоматийного англичанина. Не подходя к микрофонам, он «погнал» лекцию, мгновенно заполнив зал густым баритоном и шквалом совершенно неожиданной информации, где перемешалось все — история и математика, философия и животноводство, агрономия и искусствознание, мелиорация и антиквариат, бухгалтерия и библиофильство, драматургия и вопросы кооперации. Шквал этот не утихал полтора часа, а мы, потрясенные услышанным, с трудом успевали за мыслью лектора.

— В шестидесятых годах,— начал Шанин,— английский ученый Дэниэл Торнер, специалист по истории и экономике индийского крестьянства, работая в Париже, неожиданно обнаружил книгу, написанную каким-то незнакомым ему немцем и изданную в Берлине в двадцатых годах. Фамилия немца была довольно необычной — то ли Хаянофф, то ли Шаянофф, но Торнер, не обратив на это внимания, углубился в чтение и, закончив его, вдруг понял, что познакомился с выдающейся концепцией, глобально объясняющей многие экономические загадки развития мирового крестьянства.

Он стал искать другие работы гениального немца, но тщетно: историки науки ни в Германии, ни во Франции, ни в Англии сведениями о герре Шаяноффе не располагали.

Прошло несколько лет, и таинственный немец оказался русским агрономом-экономистом, профессором Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, директором Научно-исследовательского института сельскохозяйственной экономии Александром Васильевичем Чаяновым. Так и не отыскав русского оригинала, книгу Чаянова перевели с немецкого на английский, затем на французский, испанский, японский... А уже в 1967 году в Париже увидело свет его первое восьмитомное собрание сочинений.

К сорока двум годам — а именно в этом возрасте его арестовали — Чаянов написал более пятидесяти книг по самым разным вопросам сельского хозяйства, а кроме того, романтические повести и стихи, пьесу и исторические эссе, детективный киносценарий и социальную утопию. Он был автором пособия для музейных работников по старой западной гравюре, и он же читал лекции по краеведению и истории Москвы на историческом факультете МГУ.

...Я слушал английского профессора со смешанным чувством большой человеческой благодарности к нему и с горечью за то, что накануне столетнего юбилея выдающегося русского ученого иностранец открывает нам нашу историю и еще одного гения привозит к нам из-за рубежа, а мы в который уж раз дивимся необыкновенной талантливости сынов России и столь же необычайной жестокости и несправедливости, выпавшей на их долю.

И вспомнились многие иные примеры и судьбы, но более других казалась мне схожей с судьбой Чаянова жизнь выдающегося космического инженера Юрия Кондратюка, о котором мы узнали после того, как благодаря его расчетам американцы высадились на Луне. И тогда же нам поведали, что основной труд своей жизни — «Завоевание межпланетных пространств» — техник новосибирского элеватора Юрий Кондратюк издал на свою мизерную зарплату, потом попал в тюрьму по роковой 58-й статье, накануне войны чудом освободился и в 1941 году ушел ополченцем на фронт, тогда же погибнув где-то под Москвой.

Теперь мы гордимся тем, что новое русское имя появилось на карте Луны, но даем в энциклопедиях лишь коротенькую справочку о замечательном ученом и никак не соберемся выпустить хоть сколь-нибудь подробную его биографию. И все же сегодня нет у нас специалиста, работающего в области космических исследований, который не знал бы имени Кондратюка, а в конце шестидесятых годов таких людей в нашей стране были единицы...

Александр Васильевич Чаянов родился в Москве 17(29) января 1888 года. Его отец, Василий Иванович Чаянов, происходил из крестьян Владимирской губернии. (Нерусская на первый взгляд фамилия — «чаян» по-тюркски «скорпион», а также «весельчак» — может быть объяснена и совсем по-иному: «чаять» означает «надеяться, думать, уповать». Отсюда и происхождение фамилии легко уподобляется такой русской фамилии, как Жданов.)

В пореформенную пору мальчиком пришел Василий Чаянов в Иваново-Вознесенск и начал работать на ткацкой фабрике. Со временем он стал пайщиком, затем компаньоном хозяина, а потом завел и собственное дело.

Из Иваново-Вознесенска В. И. Чаянов переехал в Москву. Здесь он женился на Елене Константиновне Клепиковой, происходившей из мещан города Вятки. Мать будущего ученого окончила Петровскую земледельческую и лесную академию в первой группе женщин, туда принятых. То, что она была агрономом, не могло не сыграть роли в выборе жизненного пути ее сына. В 1899 году одиннадцатилетний Саша Чаянов поступает в реальное училище. Мы вряд ли ошибемся, увидев в этом шаге рано определившийся интерес мальчика к естественным наукам, ведь реальные училища в отличие от гимназий давали естественноматематическое образование. В их старших классах преподавались прикладные предметы механико-технологического и химико-технологического циклов, а также основы коммерции. В отличие от классических гимназий преподавание в реальных училищах было более живым, более приближенным к потребностям действительности. Ни латыни, ни древнегреческого языка в программе не было, зато были языки немецкий и французский (правда, это не помешало А. В. Чаянову потом выучить и латынь). Программа реальных училищ была сориентирована на поступление в технические, сельскохозяйственные и промышленные высшие учебные заведения.

Отдали Сашу в лучшее реальное училище города. Размещалось оно на Мясницкой улице в доме Лингарта и Ригеля (№ 59). Плата за учебу здесь была самой высокой из всех реальных училищ Москвы: за восемь лет обучения нужно было внести более двух тысяч рублей.

(В 1906 году Саша Чаянов окончит училище и поступит в Московский сельскохозяйственный институт, как с 1894 года станет официально называться бывшая Петровская земледельческая и лесная академия.)

Жили тогда Чаяновы в Малом Харитоньевском переулке, где все напоминало о далекой старине. В домах, расположенных поблизости, бывали Пушкин, Гоголь, Щепкин, Веневитинов. Интерес к истории здесь порождало все: по преданию, в старом Юсуповском саду в одном из флигелей в самом начале XIX века жили Надежда Осиповна и Сергей Львович Пушкины. И именно сюда, «к Харитонью в переулок», волею поэта приезжала Татьяна Ларина и слышала по утрам ранний звон колоколов. Звоны колоколов слышит и юный Чаянов, и эта диковинная музыка увлекает его. Он уже не просто слушает колокольные звоны, он различает их, а затем и начинает изучать.

В 1920 году он напишет книгу «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии». И в этой книге, где действие будет происходить в далеком будущем, фантазия автора самым причудливым образом переплетется с прошлым города его детства. В фантастической Москве 1984 года он предложит читателю «музыкальную программу, исполняемую на кремлевских колоколах в сотрудничестве других московских церквей».

И вот как опишет он начало этого концерта: «Через минуту густой удар Полиелейного колокола загудел и пронесся над Москвой. Ему в октаву отозвались Кадаши, Никола Большой Крест, Зачатьевский монастырь — и ростовский перезвон охватил всю Москву. Медные звуки, падающие с высоты на головы стихшей толпы, были подобны взмахам крыл какой-то неведомой птицы. Стихия ростовских звонов, окончив свой круг, постепенно вознеслась куда-то к облакам, а кремлевские колокола начали строгие гаммы рахманиновской литургии».

Именно в юности Чаянов на всю жизнь заболел историей Москвы и в конце концов стал одним из крупнейших ее историков-краеведов.

На книжных «развалах» и в лавках антикваров не было ему равного... Библиофил и коллекционер Чаянов вспомнит в «Путешествии моего брата Алек-

сея», как покупал у букиниста Николаева «Азбуку социальных наук» Флеровского, как «с горящими глазами прозелита рылся он в рукописных и книжных сокровищах шибановского антикваритета» и как «положил начало своему иконному собранию, найдя у Елисея Силина Новгородского Спаса».

В 1925 году директор Научно-исследовательского института сельскохозяйственной экономии при Тимирязевской сельскохозяйственной академии и ее профессор А. В. Чаянов напишет книгу, которая, как и многие другие его произведения, выйдет за рамки его главной специальности.

Книга, названная «Петровско-Разумовское в его прошлом и настоящем», есть не что иное, как путеводитель по ТСХА, в котором причудливо будут сочетаться и переплетаться прошлое и настоящее, история и современность.

Но какое, спросите вы, отношение имеет все это к научной деятельности Чаянова? Отвечу: самое прямое и непосредственное. Чаянов был из тех, кого нельзя понять и оценить без знания всего, чем они интересовались и жили. Нельзя писать о Чаянове только как об экономисте-аграрнике, как нельзя писать о профессоре химии А. П. Бородине, оставляя в стороне Бородина-композитора, или, постигая Леонардо, сузить необозримый диапазон его дарования до скульптуры и живописи, не касаясь его занятий механикой, оптикой, анатомией. Как и всякий другой человек, Чаянов может быть понят только в том случае, если мы подойдем к нему как к целостной, диалектически противоречивой личности.

Чаянов всю жизнь старался постичь историю и проникновение в нее начал с того, что его окружало,— города и Академии. И так как в Академии прошла большая часть его сознательной жизни, познакомимся с ее историей и мы, останавливаясь на тех моментах, какие Александр Васильевич отразил в своем краеведческом очерке.

21 ноября 1865 года в истории Петровско-Разумовского, отмечал А. В. Чаянов в путеводителе, началась новая эпоха. В этот день здесь была открыта Петровская земледельческая и лесная академия, Петровка.

«Все надежды, оживлявшие интеллигенцию того времени, отразились на уставе Академии, нашли в нем свое отражение»,— писал впоследствии один из ее выпускников, знаменитый писатель В. Г. Короленко. Демократизм Академии проявлялся порой в весьма неожиданных формах. Так, в состав студентов зачислялись все желающие — без предъявления документов и без экзаменов. За первые семь лет существования Академии из 1111 ее слушателей лишь 139 имели при поступлении среднее образование.

Это была в полном смысле слова вольная сельскохозяйственная школа, гордившаяся такой традицией и долго ее сохранявшая. Один из любимых учителей А. В. Чаянова, профессор А. Ф. Фортунатов, так же, как и его талантливый ученик, не чуравшийся поэтических опытов, писал о Петровке — очаге агрономической науки:

...так много выросло умов,
Где расцвели столь многие мечтания,
Откуда разнеслись по тысячам домов
Живые семена осмысленных основ
Агрономического знания.

Две особенности отличали в те годы Петровку. Олицетворением одной из них стал бородатый студент в косоворотке, с суковатой палкой в руке — московский обыватель с ужасом вспоминал, что именно здесь, на территории Петровской академии, в старом гроте, Сергей Нечаев и его сообщники убили студента Иванова и бросили его тело в пруд. Второй же присущей Петровке ипостасью было истовое и в высшей степени плодотворное служение науке: К. А. Тимирязев ставит здесь свои знаменитые опыты по физиологии растений, Г. Г. Густавсон совершенствует химический анализ сельскохозяйственных веществ, И. А. Стебут закладывает научные основы русского земледелия, М. К. Турский создает науку о лесе, Р. И. Шредер закладывает фундамент научного садоводства, а А. П. Людоговский пишет первый в России курс сельскохозяйственной экономии.

...В начале 1894 года решением властей Петровская академия была закрыта, но в том же году, 26 сентября, она трансформировалась в Московский сельскохозяйственный институт, куда было категорически запрещено принимать и старых слушателей Академии, и прежних ее профессоров.

Но жизнь брала свое — к 1905 году Московский сельскохозяйственный институт уже ничем не отличался от своей альма матер. Именно в это время, в 1906 году, сюда поступил восемнадцатилетний Александр Чаянов.

«Когда-нибудь,— писал впоследствии А. В. Чаянов,— будет написана подробная история студенчества Петровской академии, история расскажет и о «революционном четвертаке», и о Дубасовских обысках, подкрепленных дулами артиллерийских орудий, о фракции «большого чайника», о деле Дробовича и тех днях 1906 г., когда общежитие Академии охранялось от посторонних элементов полицией и вооруженными патрулями, а под их охраной, как в наиболее безопасном месте, происходили заседания почти всех революционных организаций Москвы. Но вряд ли кто сможет сосчитать число потопленных в пруду во время обысков тайных типографий, связок прокламаций и даже бомб».

Отсюда вовсе не следует, что сам А. В. Чаянов топил в пруду гектографы или тем более бомбы. Его жизненной страстью, хотя и не единственной, но почти всепоглощающей, была наука.

Однако как человек в высшей степени общественный он занимался ею, исходя из потребностей не чисто академического знания, холодного и нередко абстрактного, но как делом, которое бы делало жизнь людей легче и радостней.

Такое понимание общественной роли науки проистекало у молодого Чаянова из представлений, почерпнутых им прежде всего в студенческо-преподавательской среде Петровки.

Из ее преподавателей, пожалуй, раньше других был выделен им Алексей Федорович Фортунатов, земский врач и статистик, в 1906 году уже профессор, награжденный за труды по сельскохозяйственной статистике Большой золотой медалью Русского географического общества.

Скорее всего именно он, старый народник, резко критиковавший российские порядки, но и не воспринявший в полной мере новое экономическое учение Маркса, заложил идейно-теоретические основы мировоззрения молодого Чаянова. Правда, Чаянов пошел дальше своего учителя — он старательно штудировал Маркса, но все же в работах его, даже самых поздних, народническая закваска постоянно давала себя знать.

Студент Чаянов окончил кафедру, которой заведовал А. Ф. Фортунатов, и потом еще пятнадцать лет работал рука об руку со своим старым профессором до его последнего дня — 13 апреля 1925 года, когда Алексей Федорович скончался на шестьдесят девятом году жизни.

Не менее сильное влияние оказал на студента Чаянова и другой профессор Петровки — Николай Николаевич Худяков. Интеллигент бог весть в каком поколении, он отличался необыкновенно широкой эрудицией.

Осенью 1886 года двадцатилетнего Николая Худякова исключили из института с «волчьим билетом» за то, что им была устроена вечеринка, на которой произносились революционные речи. Худяков вынужден был уехать из России в Германию и вернулся обратно лишь в 1894 году, получив блестящую подготовку в Берлинском университете.

По словам Чаянова, лишь на втором году обучения на первой же лекции Худякова студенты, уходя с занятий, наконец-то ощутили, что «нашли ту дверь, через которую входят в подлинный, действительный храм науки».

Третьим профессором, чье благотворное влияние долгие годы испытывал А. В. Чаянов, был Дмитрий Николаевич Прянишников — человек широчайшего научного диапазона: агрохимик, биохимик и физиолог мирового класса, ученик, сподвижник и преемник К. А. Тимирязева.

Двадцатилетним студентом третьего курса Александр Чаянов публикует свою первую научную работу. Внимание молодого ученого привлекли сюжеты, связанные с кооперацией в сельском хозяйстве Италии. Анализируя положение, создавшееся в ее аграрном секторе, Чаянов отмечал, что всего за два десятилетия «страна, бывшая ранее синонимом голодного, бедного и малокультурного народа, с подавляющей мощностью сумела развить свои производительные силы, с поразительной быстротой создала колоссальное национальное хозяйство и подняла на значительную высоту благосостояние народных масс».

Чаянов называет это экономическим Возрождением Италии и связывает его прежде всего с кооперированием ее сельского хозяйства, когда тысячи бедных маленьких хозяйств сливались в различные союзы и на началах самодеятельности создали мощную экономическую организацию кредита, закупок, сбыта, организовали производственную кооперацию, поддержали дело агрономической помощи крестьянам. Он приводит в статье несколько примеров, годных и для российских условий. Так, в одном из районов неподалеку от Милана, рассказывает Чаянов, 300 крестьянских семей, объединившись на время страды, создали кооперативный ресторан. В другой области Италии обычная «вкладочная» сберегательная касса взяла на себя функции кредитного учреждения, в третьей был создан агрономический синдикат для покупки удобрений... Чаянов призывал русских крестьян следовать примеру итальянцев, создавая и у себя в деревнях различные кооперативы.

Эта работа Чаянова важна была по меньшей мере по двум обстоятельствам. Во-первых, ею он определил одну из сфер своих основных интересов — проблему кооперирования в сельском хозяйстве и, во-вторых, сразу же продемонстрировал широту кругозора, не замыкаясь в рамках исследований какого-то одного типа кооперации.

Вскоре появилась и вторая работа Чаянова «Общественные мероприятия по скотоводству в Бельгии», написанная после того, как он, студент выпускного курса, в течение двух месяцев проработал в этой стране. Возвратившись оттуда, Чаянов сделал доклад на объединенном заседании Комитета скотоводства и Комитета ссудосберегательных и промышленных товариществ, в котором не только подробно осветил современное состояние скотоводства в Бельгии, но и снова поставил вопросы, оказавшиеся тесно связанными с отечественной практикой.

Чаянов отметил, что в Бельгии весьма поощряется племенное дело и лучшие экземпляры животных отмечаются денежными премиями и медалями. Система наград многоступенчата и разнообразна — от районных конкурсов до национальных, где приз доходит до 6000 франков, причем главнейшей целью конкурсов является сохранение лучших животных в собственной стране.

Не так обстоит дело у нас, в России,

замечал Чаянов. Так, например, лучшие животные холмогорской породы увозятся с русского Севера, и из-за этого «холмогорская порода на месте с каждым годом скудеет хорошим племенным материалом, что резко отражается на ее качестве».

Чаянов рассказал своим слушателям и о «конкурсах стойл», проводимых по всей стране, и о выставках, и о том, что в столь маленькой стране, как Бельгия, только по вопросам молочного дела выходит шесть периодических изданий.

Вместе с тем Чаянов сказал: «Давая общую характеристику кооперативным начинаниям, мы должны подчеркнуть, что они... с основания до вершины проникнуты коммерческим духом и бесконечно далеки от тех идей «взаимопомощи трудового народа», которые склонны навязывать кооперации особенно российские приверженцы трудовой теории».

В 1910 году Чаянов оканчивает институт, и его оставляют на два года при кафедре аспирантом.

Через полгода снова возник вопрос о командировке за границу. Однако прежде молодой ученый отчитался о работе, которую уже выполнил, и по заявлению Фортунатова и Прянишникова ему выдали диплом ученого агронома I разряда. Вслед за тем ученый агроном был допущен к экзаменам, «аналогичным магистерским по отделу сельхозэкономии» и сдал их в начале 1912 года.

Прежде чем отправиться за границу, А. В. Чаянов уже не просто определил круг своих интересов, но заявил о них, опубликовав в разных русских периодических изданиях статьи по проблемам кредита в крестьянском хозяйстве, о роли участковой агрономии в крестьянском хозяйстве, о реформе страхования скота в России, о положении льноводства в российском Нечерноземье и об опыте анкетного исследования денежных элементов крестьянского хозяйства Московской губернии.

Отправившись за границу во второй раз, Чаянов побывал не только в Париже, Берлине и Лондоне, как то было предусмотрено планом его командировки, но и в Италии и Швейцарии.

Возвратившись на родину, он продолжает пропагандировать все то полезное, о чем узнал, находясь за границей. Но прежде и больше всего занимали Чаянова внутренние проблемы отечественного сельского хозяйства. Он последовательно разрабатывает те же вопросы, что и раньше, и, кроме того, приступает к главным проблемам, волновавшим ученого всю жизнь: разработке теории трудового крестьянского хозяйства и изучению принципов, форм и методов деятельности сельской кооперации.

Но прежде необходимо было создать оптимальный организационно-производственный план функционирования семейного крестьянского хозяйства с учетом различных видов деятельности (земледелия, животноводства, садоводства и т. п.) применительно к каждому из регионов России. И Чаянов начинает изучать это хозяйство как большой и сложный организм, в его многообразных экономико-производственных связях с окружающей природной и народнохозяйственной средой, а также и как некую клеточку социального организма. Молодой ученый сосредоточивает свое внимание на вопросах производства и потребления, финансирования и специализации, ищет пути и способы, наиболее выгодные трудовому крестьянину для приспособления его хозяйства к рынку.

Отношение Чаянова, а потом и появившихся у него учеников и последователей к этим проблемам трансформировалось в связи с изменениями реальной действительности: одно дело, когда исследовалось трудовое крестьянское хозяйство дореволюционного времени, другое — когда Россия вступила в полосу социалистических преобразований. Неизменным оставалось лишь глубоко сочувственное отношение к крестьянину, любовь к нему, искреннее желание помочь великому труженику и страстотерпцу, кормильцу и опоре России.

В 1912 году в Москве вышла из печати первая часть книги А. В. Чаянова «Очерки по теории трудового хозяйства», в которой выдвигалось положение, впоследствии получившее развитие во многих трудах Чаянова, из-за которого его стали постоянно подвергать ожесточенной критике. Он написал тогда, что «всякое трудовое хозяйство имеет естественный предел своей продукции, который определяется соразмерностью годового труда со степенью удовлетворения потребностей хозяйствующей семьи». Этот постулат, уже тогда подкрепленный цифровым и фактическим материалом, он сделал в дальнейшем одним из главных вопросов своей научной и общественной деятельности.

Через год вышел и второй выпуск «Очерков по теории трудового хозяйства», посвященный основам сложения потребительского бюджета. Именно в это время Чаянов систематизирует и свои знания и представления о кооперации, прочитав в 1913 году в Москве курс лекций на Старообрядческих сельскохозяйственных курсах.

Чаянов начинает лекции с констатации того, что за последние десять лет в Западной Европе урожаи зерна поднялись с 60 до 150 пудов на десятину (с десяти до 24 центнеров с гектара), заметно улучшились породы, возросла продуктивность скота. И подобные изменения, подчеркивал Чаянов, сделались возможными лишь вследствие объединения крестьян в кооперативы, что позволило им применять технические улучшения, непосильные для отдельных мелких хозяев.

Всемерно ратуя за создание кооперативов, А. В. Чаянов знакомил своих

слушателей и с историей кооперативного движения в России и в мире, однако более всего он говорил о практике образования кредитных товариществ, различных производственных кооперативов и страховых обществ. «Дождевые капли,— скажет он своим слушателям и читателям,— стекаясь вместе, дают мощные реки, которым не страшны никакие преграды. Подобно им, крестьянские хозяйства, соединяясь в кооперативы, приобретают огромную силу, нужную нам для экономического возрождения русской деревни». Для обоснования своих утверждений Чаянов привлекает огромный фактический материал, используя 258 работ по бюджетной статистике тринадцати стран — России, Германии, Англии, Франции, США, Японии и других.

Постоянно занимала Александра Васильевича и проблема русского льна. После ржи и пшеницы лен занимал в сельском хозяйстве страны едва ли не самое важное место. Традиционно русская культура, под которую в те годы было отведено около миллиона десятин, лен был основой хозяйства на гигантской территории — от Новгорода и Пскова до Брянска и Нижнего Новгорода.

В это же время Чаянов исследует экономическую и земледельческую стороны мелиорации, увязывая их с тем же трудовым крестьянским хозяйством.

Все это было сделано Чаяновым за три-четыре года. Отдавая должное его необычайному трудолюбию и разносторонности, Ученый совет Московского сельскохозяйственного института присвоил Александру Васильевичу в 1913 году звание доцента. Было ему тогда 25 лет. Он многое уже успел сделать, но еще большее ждало его впереди.

1913 год стал определенной вехой в истории России, явившись последним мирным годом, после которого началась первая мировая война, а затем гражданская, затормозившие развитие сельского хозяйства страны более чем на десять лет. 1913 год был вследствие этого вершиной в развитии русского сельского хозяйства (имея в виду валовой объем продукции). И вместе с тем что это была за «вершина»! Три четверти России жило и работало в деревнях, в 20 миллионах дворов. И почти каждый третий из этих дворов не имел ни лошади, ни пахотного инвентаря. Бедняцкие хозяйства составляли 65 процентов всех крестьянских хозяйств России, середняцкие — 20 процентов, но совместно на их долю приходилось лишь 28 процентов производства товарного зерна. И это зерно выращивалось на земле, которую обрабатывали при помощи восьми миллионов сох и косуль, шести миллионов плугов и восемнадцати миллионов деревянных борон. И все же производство хлеба, мяса, молока и льна достигло в 1913 году такого уровня, на который наша страна смогла выйти к 1925, а вторично — лишь к 1940 году.

Научная и общественная деятельность А. В. Чаянова вплоть до 1917 года проходила в условиях столыпинской аграрной реформы.

По столыпинской реформе царское правительство предоставляло желающим земли на хуторах и так называемых «отрубах», а также разрешало переселяться на окраины России — в Сибирь, Казахстан, Среднюю Азию.

О бедственном положении переселенцев много писали, много говорили, но мало что для них делали. Среди тех, кто решился на практические шаги, был молодой воронежский ученый, агроном Сократ Константинович Чаянов — двоюродный брат Александра Васильевича. Первым из агрономов-опытников С. К. Чаянов двинулся вместе с переселенцами в Казахстан и там в 1908 году начал работать на Темирском опытном поле под Актюбинском — первом опытном участке Переселенческого управления, посылавшего на казахскую целину крестьян из Южной России и с Украины. Впервые в истории земледелия С. К. Чаянов поставил под сомнение утверждение скептиков, что в условиях полупустыни, при осадках менее 400 миллиметров в год земледелие невозможно. Работы, проводившиеся С. К. Чаяновым до 1911 года, доказали, что при соответствующей агротехнике в сочетании с рациональной системой производства даже при 150—200 миллиметрах осадков в год можно получать неплохие урожаи.

Приехав в 1911 году в Москву, Сократ Константинович многое рассказал брату о положении переселенцев, о подлинном ходе реформы на окраинах России, еще раз убедительно подтвердив, что столыпинская реформа привела к дальнейшему обогащению кулачества и обеднению мелких хозяев.

Историки-марксисты с самого начала определили столыпинскую реформу как коренной поворот аграрно-политического курса самодержавия, подчеркнув ее буржуазную сущность, когда устранение крепостничества в земледелии приняло, по словам Ленина, «формы насильственного кризиса, общенациональной революции». Историки народнического толка прежде всего обращали внимание на антинародный характер столыпинщины, отмечая как важнейший и отрицательнейший ее результат дальнейшее обнищание части трудового крестьянства.

Первая мировая война привела к сокращению многих видов промышленной продукции и потребительских товаров. Из-за многомиллионных мобилизаций, оторвавших основные силы производителей от земли, стало приходить в упадок сельское хозяйство. В армию было взято и множество тягловой силы. Особо тяжелый удар был нанесен сельскому

хозяйству оказавшихся в зоне военных действий западных областей России, Украины и Прибалтики. Вследствие всего этого в стране сначала возникли продовольственные трудности, а потом наступил и настоящий голод. Даже в армии и в военных лазаретах пришлось снизить нормы довольствия.

Пытаясь наладить дезорганизованное войной хозяйство, царское правительство 17 августа 1915 года образовало для руководства экономикой несколько «Особых совещаний» — центральных государственных учреждений, наделенных чрезвычайными полномочиями. В их числе было и «Особое совещание для обсуждения и объединения мероприятий по продовольственному делу». Опираясь на систему государственно-монополистических предприятий, на военные и бюрократические правительственные органы и различные общественные комитеты, лиги, союзы и организации, «Особое совещание по продовольствию» изыскивало возможности интенсификации сельскохозяйственного производства, устанавливало максимально допустимые цены на продовольствие, следило за его распределением, выясняло запасы продовольствия и потребности в нем и т. п.

А. В. Чаянов принимал деятельное участие в работе нескольких комиссий этого совещания и, кроме того, оперативно и энергично работал над злободневной проблематикой, предложенной военными условиями.

В работе «Война и крестьянское хозяйство» (1914) Чаянов обращал внимание на симптомы надвигающегося сельскохозяйственного и продовольственного кризиса. Он указывал, что Россия в 1912 году продавала за границу льна 15 миллионов пудов, хлеба — 548 миллионов пудов на сумму более 546 миллионов рублей, семян масличных растений — на 31 миллион рублей, а скота, птицы, мяса, сала, масла и сыра накануне войны было продано на сумму около 190 миллионов рублей. Теперь эта продажа прекратилась. Вторым затруднением Чаянов считал транспортные сбои из-за военных перевозок; третьим — прекращение ввоза из-за границы химических и минеральных удобрений.

Сохраняя верность интересующей его проблеме крестьянского трудового хозяйства, он написал в годы войны и серию очерков, посвященных вопросам арендной платы и связанной с нею цены на землю, исследовал потребление крестьянской семьи в связи с состоянием ее бюджета, и впервые коснулся важнейшей стороны хозяйственной деятельности на селе — значения машин в сельском хозяйстве.

В последнем вопросе он четко противопоставил трудовое крестьянское хозяйство капиталистическому и констатировал различный характер использования машин в том и другом. Противопоставление Чаяновым трудового крестьянского хозяйства капиталистическому — одно из принципиальных положений его концепции.

Не оставлял он и второй своей традиционной темы — кооперации. Здесь его внимание было привлечено к изучению рынков с точки зрения того, какое место на всероссийском рынке должна занимать сельскохозяйственная кооперация, а также того, при каких условиях кооператоры смогут добиться успехов при сбыте своей продукции.

Кроме этих вопросов, Чаянов занимался в годы войны организацией льноводческих кооперативов, кормовой проблемой, скотоводством, агрономией, продолжал изучение бюджетов крестьянских хозяйств.

Все летнее время он проводил в экспедициях, руководил, как мы бы теперь сказали, летней студенческой практикой, а осенью, зимой и весной преподавал в родной Петровке, вел занятия в семинарах общественной агрономии и даже вместе со студентами организовывал самооборону, когда московские черносотенцы-охотнорядцы шли в Петровско-Разумовское бить профессоров-немцев.

И все же львиную долю времени Александр Васильевич отдавал работе по организации хлебозаготовок и продовольственного дела. Он занимался продовольственной проблемой и в масштабе Всероссийского Земского союза — общественной организации, созданной для помощи раненым, а затем расширившей свою деятельность и проводившей различные мероприятия по налаживанию работы тыла, трудился на ниве продовольственного дела в Московской губернии, организовывал заготовки хлеба на Тамбовщине.

Особый интерес представляют для нас лекции о продовольственном вопросе, прочитанные Александром Васильевичем в апреле 1917 года на курсах по подготовке культпросветчиков при Московском Совете студенческих депутатов.

В этих лекциях Чаянов не только воспроизводил историю продовольственного вопроса в годы первой мировой войны, но и давал ряд принципиальных оценок, высказывая немало интересных соображений и приводя не один любопытный и многозначительный факт.

«В настоящее время, — сказал А. В. Чаянов, начиная первую лекцию,— мы стоим перед долгими годами тяжелой и ответственной творческой работы строительства новой России.

В области политического строительства и строительства гражданского почти все находится в нашей власти, власти человеческих законов...

Не то мы видим в области жизни экономической. Здесь, помимо наших человеческих законов, перед нами стоят законы экономической жизни, законы, которых изменить мы не в силах и к которым должны так приспособить наши человеческие законы, чтобы равнодейст-

вующую экономической жизни приспособить к нашему идеалу».

И спрашивая затем, с чего нужно начинать эту работу, Чаянов отвечает: с продовольственного вопроса.

В самом начале войны, говорил Чаянов, более всего боялись, что Россия задохнется от обилия продуктов, ибо при закрытых границах некуда будет девать массу товарного хлеба. Были ли такие опасения безосновательными? Нет, отвечал Чаянов, не были.

Перед войной Россия посылала на экспорт 600 миллионов пудов (9600 тысяч тонн), то есть одну седьмую часть урожая. Правда, отмечал докладчик, это отнюдь не означало изобилия, ибо в иных местностях крестьяне недоедали.

Но вопреки ожиданиям цены на хлеб внутри России не упали и кризиса перепроизводства не произошло. Более того, в начале 1915 года появились первые признаки надвигающейся разрухи. Начались перебои в снабжении населения хлебом и сахаром, и пока что причиной тому были транспортные неувязки — половина подвижного состава железных дорог была изъята на военные перевозки. Кроме того, хлебный вопрос был дезорганизован произвольными ценами при закупках хлеба для армии.

Вмешательство государства не только не помогло устранить кризисные явления, но, напротив, еще более усугубило положение, ибо царская власть «принялась за это дело путем полицейских запрещений и приказаний». Эти меры произвели хаос в экономике.

Для того чтобы исправить положение, в 1915 году в Москве собрался I съезд по вопросам дороговизны, и на нем был принят план продовольственной кампании, выдвинутый экономистом В. Г. Громаном и поддержанный группой его коллег. План этот затем был поддержан Всероссийским Земским союзом и Союзом городов.

Съезд исходил из того, что для исправления создавшегося положения прежде всего требовалось взять на строгий учет всю совокупность продовольствия в стране и на этой основе разработать затем план снабжения страны и план перевозок продуктов. Нужно было создать единый государственный аппарат, задачей которого было бы «передать хлеб из рук производителя в печь булочника и в лавку торговца», причем при создании этого аппарата предусматривалась самая активная роль общественности.

И, наконец, следовало построить такую координированную систему цен, которая учитывала бы цены на все другие товары и была сообразна им. Однако царская власть, проводя этот план в жизнь, «коверкала его до неузнаваемости... и в итоге мы получили тот кризис, перед которым сейчас находимся». Весной 1917 года Временное правительство еще надеялось решить продовольственный вопрос при помощи различных общественных институтов, среди которых не последнюю роль играла «Лига аграрных реформ».

В Лигу, созданную в апреле 1917 года из представителей Земского союза, Вольного Экономического общества, Московского и Харьковского обществ сельского хозяйства и ряда научных организаций, входили ученые-аграрники из «организационно-производственной группы» — А. В. Чаянов, А. Н. Челищев, Н. П. Макаров, А. А. Рыбников.

Руководители Лиги явились активными участниками Главного земельного комитета — учреждения, созданного Временным правительством для разработки временных мер и подготовки проведения земельной реформы при министре земледелия.

Лига имела более пятидесяти отделений, в основном в губернских городах, и проводила разнообразную деятельность, чаще всего сводившуюся к обсуждениям и прениям по различным аспектам аграрного вопроса. Так как Лига имела 12 своих изданий, то ход дискуссий на ее заседаниях широко освещался в печати.

Выступая в 1918 году на последнем Третьем Всероссийском съезде «Лиги аграрных реформ» с докладом «Природа крестьянского хозяйства и земельный режим», А. В. Чаянов заявил: «Кладя крестьянское хозяйство в основу будущего народнохозяйственного строя в России, мы должны учитывать, что оно по самой природе своей отлично от хозяйства, капиталистически организованного, в рамках которого привыкли мы обычно разрешать экономические проблемы. Хозяйство крестьянское есть прежде всего хозяйство семейное, весь строй которого определяется размером и составом хозяйствующей семьи, соотношением ее потребительских запросов и ее рабочих рук».

Это положение, антикапиталистическое по самой своей сути, направленное на защиту некапиталистического крестьянского хозяйства, впоследствии объявили основной теоретической установкой так называемой «антимарксистской неонароднической школы», которая исходила из того, что, работая на своей земле и не эксплуатируя чужого труда, крестьянин оказывается в таком положении, когда категории заработной платы, прибавочной стоимости и рентных отношений как бы размываются и классическая политэкономия уже не может дать традиционные ответы на новые, не рассматривавшиеся ею обстоятельства и ситуации.

Следующий этап жизни и деятельности А. В. Чаянова связан со временем гражданской войны, когда в Советской России проводилась система чрезвычайных политических и экономических мероприятий, вошедших в историю под названием «военного коммунизма».

Борьба за хлеб стала борьбой за социализм.

Народный комиссариат продовольствия получил неограниченные полномочия в борьбе за хлеб, вплоть до применения оружия и арестов всех, кто противился мероприятиям продовольственной диктатуры.

Будучи человеком вдумчивым и объективным, воспитанным к тому же в уважении к великим принципам социальной справедливости, Чаянов видел, что проводимая система мер не ставит перед собою задачу подрыва или тем более уничтожения трудового крестьянского хозяйства, а направлена лишь на то, чтобы выстоять в смертельной борьбе с контрреволюцией. В этих невероятно тяжелых условиях пролетарское государство честно соблюдало социальную справедливость. Продразверстка была строго дифференцированной и нигде, ни при каких обстоятельствах не ущемляла батраков и бедных крестьян, перенеся всю свою тяжесть на деревенского кулака-мироеда. Социально справедливым было и распределение продовольствия.

Это совпадало со взглядами и принципами Александра Васильевича, высказанными им еще в 1917 году в книге «Что такое аграрный вопрос». Чаянов толковал это понятие не просто как проблему устранения остатков феодализма в сельском хозяйстве и не только как проблему земельного переустройства, но ставил во главу угла два принципа, которые почитал самыми важными: достижение наибольшей производительности народного труда, прилагаемого к земле, и демократизация распределения национального дохода, понимаемая как «наиболее равномерное распределение его между всеми трудящимися над его созданием».

У Советской власти самыми привилегированными категориями граждан были красноармейцы, дети, рабочие, занятые на тяжелом производстве и транспорте. Затем шли рабочие и служащие, трудившиеся по найму, но на менее тяжелых работах,— торговцы, конторщики, сторожа, учителя, извозчики, кустари и т. п. Еще меньше получали директора и управляющие конторами и предприятиями, а также юристы, литераторы, музыканты, служители религиозных культов. И, наконец, меньше всех прочих получали лица, живущие на капитал: домовладельцы, хозяева увеселительных заведений, гостиниц и т. п.

Дополнительные пайки получали беременные женщины и кормящие матери и все дети, а с 1920 года шесть миллионов детей стали получать питание бесплатно. Декретом от 20 августа 1919 года в Москве, Петрограде и двадцати советских губерниях был введен паек «Красная Звезда», предназначенный для нетрудоспособных членов семей красноармейцев. К концу 1920 года его получали три миллиона человек.

По мере общего улучшения продовольственного положения в стране нормы увеличивались, круг привилегированных групп расширялся.

Что же касается ученых, то они с самого начала были на особом положении. Через «Комиссию по улучшению быта ученых», возглавлявшуюся А. М. Горьким («Комиссия» охватывала и наиболее выдающихся писателей и деятелей искусства), ученые получали особый «академический» паек. Получал его и А. В. Чаянов.

Дело продовольственного нормирования было сосредоточено не только в руках Наркомпрода, но и в руках потребительской кооперации, и Чаянов имел возможность не просто следить за проведением в жизнь ленинской продовольственной политики, но и по мере сил участвовать в ее реализации.

Декретом ВЦИК и Совнаркома от 11 апреля 1918 года «О потребительских кооперативных организациях» кооперация привлекалась к закупкам и заготовкам продуктов и их распределению среди населения.

В заготовительный сезон 1918—1919 годов кооперация заготовила 25 600 тысяч пудов зерна (четверть всех хлебных заготовок в стране), 2100 тысяч пудов льна, а также много масла, мяса, кожи и шерсти.

Расширение продразверстки не только затормозило развитие кооперации, но и привело к резкому сокращению числа кооперативов и сильно ослабило их деятельность.

Что же делал Александр Васильевич в годы гражданской войны как ученый? И сразу ли понял он всю глубину Октября?

Нужно ответить прямо: всей глубины и эпохальности происшедшего не поняли тогда многие великие умы. Чаянов не был большевиком, но он был социалистом, демократом по убеждениям и аналитиком по складу ума. Он был честным русским интеллигентом и патриотом, а свершившаяся на земле его Родины революция захватила весь народ, который он искренне и глубоко любил и в служении которому видел смысл своей жизни.

В 1918 году Чаянов продолжает работать над кругом своих традиционных проблем. Он публикует статьи и книги по общественной агрономии, изучает взаимосвязь льноводства, льняного рынка и льняной кооперации, высказывает ряд мыслей об организации кооперативного сбыта.

Кроме этих проблем, в первый год Советской власти он занимается также популяризацией идей организации крестьянского хозяйства на русском Севере, углубляет теорию водного хозяйства, исследует вопросы кредитования крестьянского хозяйства, читает лекции о кооперации в Университете имени Шанявского и в Петровской академии.

Однако самым значительным трудом, над которым Чаянов работал в это время, была книга «Основные идеи и формы организации крестьянской кооперации».

В этой монографии он обобщил все, что писал и говорил раньше о крестьянской

кооперации, построив книгу на материале, накопленном им за десять лет работы. Рассматривая сельское хозяйство России как конгломерат самых разнообразных хозяйственных форм и образований, Чаянов признавал, что самыми распространенными из них являются две формы — капиталистическая и противостоящая ей семейно-трудовая. Внешне капиталистическое хозяйство — значительно более крупное, а семейно-трудовое — более мелкое. Однако суть коренного отличия одного от другого вовсе не в этом. Капиталистическое хозяйство строится на наемном труде, семейно-трудовое — на совершенно иной основе, ему «свойственны иные мотивы хозяйственной деятельности и даже иное понимание выгодности». Закономерным шагом развития последних, считал А. В. Чаянов, должно стать объединение этих некапиталистических семейных трудовых коллективов в некапиталистические же кооперативы.

В беседах с иноземными кооперативными деятелями Чаянову часто приходилось обсуждать разнообразные определения принципов кооперативного движения. Однако при всей их пестроте важнейшими были добровольность вступления в ряды кооператоров, независимость движения, демократичность управления и открытый характер организации. Особо отмечалось, что в кооперативы должны приниматься только труженики и ни в коем случае нельзя допускать в них нетрудовые элементы. Говорили также и о том, что сущность кооперации выражается отнюдь не в ее организационных формах и принципах, а в тех социальных целях, которые она перед собою ставит — в ее борьбе за неимущих, в ее социалистической, а иногда и в христианской подоплеке.

Из этих трех социальных целей Чаянову близки были две первые и особенно борьба за неимущих. Гражданский пафос его книг, статей и лекций о кооперации был направлен против кулаков, ростовщиков и торговцев, беззастенчиво и безжалостно грабивших и эксплуатировавших крестьян, а в кооперации он видел организацию, которая могла бы мощно и эффективно противостоять сельским мироедам, защищая от них своих членов. Социалистическую подоплеку кооперации Чаянов понимал в значительной мере в духе русских социалистов-утопистов, основывая свой общественный идеал на совокупности их работ. Чаянов преклонялся и перед одним из основателей утопического социализма Робертом Оуэном, которого он в своем «Кратком курсе кооперации» не просто называл основателем кооперативного движения, но о «возвышенном учении» которого писал так: «Он говорил, что люди дружными, общими усилиями должны помогать друг другу жить и, основывая особые общества, совместно устраивать свою хозяйственную жизнь».

Эта идея казалась Чаянову пригодной для любого времени и для любого общества, ибо была общечеловеческой, а общечеловеческое он всегда ставил выше классового, за что подвергался постоянной критике со стороны догматиков, почитавших себя ортодоксами и безупречными истолкователями теории марксизма.

Далее Чаянов замечает, что степень благополучия трудовой семьи зависит от напряжения ее усилий, так как «один и тот же крестьянский работник может управиться в лето и с двумя, и с пятью десятинами посева, может выработать в год и двести и пятьсот рублей дохода». Однако «тягостность высокого напряжения труда бывает настолько тяжела для семьи, что в ее глазах всякое дальнейшее напряжение работы будет неизмеримо более тягостно, чем отказ от удовлетворения потребностей, могущих быть покрытыми только в результате этого напряжения.

Поэтому степень напряжения труда в семейном хозяйстве обычно устанавливается своего рода подвижным равновесием между тягостностью труда и тягостностью отказа от дальнейшего удовлетворения потребностей».

Чаянов замечает и прямую связь между повышением рыночных цен на продукты и ослаблением напряженности труда, так как те же потребности станут покрываться меньшим количеством затрачиваемой трудовой энергии.

Он отмечал и то, что «успех кооперации измеряется ростом доходов ее членов, а не прибылями самого кооператива», и, таким образом, приходил к выводу, что успех кооперации «есть доход его членов и больше ничего». Исходя из этого А. В. Чаянов делал вывод, что «сельская кооперация самодовлеющего существования не имеет, но является коллективно организованной частью семейного производства, живущего одной жизнью с материнским организмом».

Высказав исходные теоретические и методологические посылки, Александр Васильевич переходил затем к проблеме объединения кооперативов в группы и к анализу их деятельности.

К первой категории он отнес кооперативы, занимающиеся обработкой земли: машинные, мелиорационные и водные товарищества, товарищества совместной обработки.

Ко второй — кооперативы, в которых акцентировалось внимание на биологических процессах (племенные и селекционные союзы и общества).

В третью им были включены кооперативы, занимающиеся первичной переработкой сельскохозяйственных продуктов,— маслодельные, молотильные, овощесушильные, картофелетерочные (крахмальные) и тому подобные производства.

И, наконец, в четвертую категорию были объединены кооперативы, связывающие хозяйство с внешним миром, кооперативы закупочные и сбытовые, кре-

дитные, земельные и арендные товарищества, страховые союзы.

Рассматривая деятельность различных производственных кооперативов, он пропагандировал передовые методы и приемы хозяйствования, знакомя крестьян с новейшими достижениями сельскохозяйственной науки и доходчиво разъясняя, каким образом рядовой кооператор может с успехом ими пользоваться.

Эмпирические построения и рекомендации Чаянова, приведенные в «Основных идеях и формах крестьянской кооперации», как правило, не подвергались критике, но зато целую бурю вызвали его обращения к экономической теории, которые сразу же были квалифицированы как антимарксистские, антисоветские и антисоциалистические попытки подмены научной теории теорией лживой и враждебной. Особенное неистовство страстей забурлило вокруг сомнений, высказанных Чаяновым при анализе деятельности земледельческой артели. Некоторые его подходы могли быть истолкованы недобросовестными и предвзятыми критиками как ревизия марксизма.

«Многие полагают,— писал Александр Васильевич,— что существующее частичное кооперирование хозяйств есть только переходная фаза и что со временем все процессы сельскохозяйственного производства будут кооперированы в «интегральную» земледельческую артель, своего рода земледельческую коммуну... Трудовая коммуна всегда будет слабее трудового кооперированного хозяйства, так как по своей структуре она принуждена организовывать в крупных формах не только те отрасли хозяйства, которые ей выгодно так организовать, но также и те, в которых мелкое производство технически всегда более совершенно.

Поэтому коммуна, как и всякое крупное хозяйство, будет проигрывать по сравнению с кооперированными семейными хозяйствами во внутрихозяйственном транспорте, в тщательности наблюдения и ухода за биологическими процессами, не имея в то же время никаких преимуществ в других отраслях организационного плана.

Таковы соображения, заставляющие нас признать, что переход от частичной кооперации к полной, к коммунизации производства с технической точки зрения не может почитаться явлением прогрессивным».

Крестьянское хозяйство, писал А. В. Чаянов, должно кооперировать и коллективизировать те отрасли, в которых крупная форма производства имеет свои преимущества, но оставлять в индивидуальном семейном хозяйстве все то, что лучше организуется в мелком предприятии. Отсюда-то и далеко не все отрасли хозяйства целесообразно укрупнять или кооперировать.

«Однако целый ряд авторов и общественных деятелей,— говорил он,— подходящих к кооперации не столько с точки зрения организации земледелия, сколько с точки зрения осуществления на земле различных социальных идеалов, отрицают указанную предельность кооперативной организации земледелия и считают возможными кооперативное обобществление всего крестьянского хозяйства в целом. С их точки зрения, формы современного кооперативного движения представляют собою только ступени к интегральной земледельческой кооперации, первые трещины в постройке хозяйственного индивидуализма.

Поэтому интегральную земледельческую кооперацию в виде трудовой земледельческой артели полагают они единственной совершенной формой кооперации, рассматривая другие формы только как постепенное к ней приближение».

Сравнивая земледельческую артель с крупным частновладельческим, то есть капиталистическим, хозяйством, Чаянов высказывает сомнение в ее конкурентоспособности. Он полагает, что артель проигрывает из-за того, что в ней совершенно иная, чем у капиталиста, «природа стимуляции человеческой работы».

Капиталист, как правило, платит деньги, соответствующие или пропорциональные трудовому напряжению работника.

«В некоторых отдельных случаях,— пишет А. В. Чаянов,— в небольших артелях, духовно спаянных или воодушевленных какой-либо религиозной идеей, стимуляция работы может быть выше, чем где-либо в иных формах хозяйственной организации. Однако из этих случаев нельзя выводить общего правила.

В многочисленных артелях, духовная связь между членами которых слаба, а энтузиазм общего действия непрочен, отмеченная стимуляция притупляется и появляется принцип, вульгарно выражаемый в положении: «зачем я буду работать больше, чем работает мой сосед, раз его и мое вознаграждение будет равно».

Чаянов пишет далее: «Вряд ли можно конструировать артельное движение в земледелии как длительное и массовое, строя его на фундаменте энтузиазма.

Поэтому организаторам артельного земледелия в первую очередь придется всегда разрешать два основных вопроса: как наладить в артели рабочую дисциплину и увеличить в психологии артельщиков стимулы к повышению напряженности работы?

В решении этих основных проблем — ключ всего дела. Все остальное, в сущности,— техника».

Отыскивая далее уязвимые и слабые стороны артели. Чаянов называет прежде всего нехватку рабочих рук во время уборки и покоса и малую занятость в периоды затиший.

Заключая главу, Чаянов писал: «Мы... не видим никаких особенных стимулов для того, чтобы самодеятельный крестьянин, организовавший кооперативно все, что требовало в его хозяйстве крупную форму производства, пожелал бы попасть в исполнители приказаний коллективной воли, хотя и товарищеской, но все же не

его собственной. Мы... вообще сомневаемся, чтобы артель дала бо́льшую годовую оплату труда крестьянину, чем он получит ее в своем частично кооперированном хозяйстве.

Психологического же напряжения артель потребует в значительно большей степени, чем единоличное хозяйство.

Поэтому, не отрицая возможности некоторого развития артельного земледелия, мы все же полагаем, что главное течение прогрессивной эволюции земледелия пойдет не по артельному, а по кооперативному руслу».

Мы потому столь подробно остановились здесь на книге Чаянова «Основные идеи и формы организации крестьянской кооперации», что через три года она сыграла определенную роль в связи с работой В. И. Ленина над знаменитой и во многом основополагающей его статьей «О кооперации». Но об этом чуть позже.

За год до того, как книга Чаянова вышла в свет, он сдал докторский экзамен. Это давало Александру Васильевичу право получить звание профессора и занять кафедру в любом из вузов. С 1918 года он стал одним из самых молодых профессоров Петровки и в этом качестве высказал немало ценных мыслей о задачах и методике работы высших учебных заведений.

Серьезное изменение социальной среды в высшей школе и возникновение в связи с этим новых методов преподавания и новых принципов ее функционирования постоянно занимали его. Чаянов был сторонником создания при вузах краткосрочных курсов, где могли бы обучаться специалисты-практики. Он предложил открыть курсы кооператоров, и, когда они начали работать, вел семинары по практике кооперативной работы и читал лекции на темы: «Учение о рынке», «Крестьянское хозяйство», «Кооперация по сбыту».

В 1918 году Чаянов работал и на курсах по лекторско-преподавательскому делу, знакомя слушателей с тем, как следует использовать иллюстративные средства. Кроме Петровки и Университета имени Шанявского, Чаянов преподавал и в Коммунистическом университете имени Свердлова.

Наконец, он размышлял и об изменении принципов руководства вузами, полагая, что управление любым из них должно строиться на демократических началах, когда наряду с преподавателями вузом управляли бы и студенты.

В 1919 году в первом номере журнала «Высшая школа» появилась статья молодого профессора, в которой он размышляет над соотношением профессиональных и общих знаний в курсе высшей школы и отстаивает взгляд К. А. Тимирязева на современного специалиста как на человека, которому надо знать «что-нибудь обо всем и все — о чем-нибудь».

Статья во многом оказалась неожиданной. Автор утверждал, что «всякое высшее образование есть и может быть только самообразованием», а высшая школа наряду с книгами есть только «одно из наиболее крупных пособий».

Главное, что дает высшая школа своим питомцам,— не знания, а культура,— тот Прометеев огонь, который она зажигает в них. «Питомец высшей школы среди обывателей,— писал Чаянов,— подобен магометанину, побывавшему в Мекке, среди других магометан. Его кругозор широк, он лучше видит, он быстрее и шире мыслит».

Самым мощным педагогическим фактором Чаянов считал «ученичество у мастера», работу в одной с ним лаборатории над общей проблемой изо дня в день. Высшая школа должна учить студента мыслить и обсуждать осмысливаемое. И только тогда, только при условии, что в этой школе будет он не обучаться, а изучать, а сама высшая школа будет не фабрикой дипломов, а фабрикой научных открытий, из стен ее выйдет ученый.

В 1919 году Александр Васильевич возглавил «Высший семинарий сельскохозяйственной экономии и политики». Под громким названием объединялась небольшая группа ученых-энтузиастов, занявших несколько комнат на третьем этаже корпуса рыбоведения на территории Петровки, где, кроме группы Чаянова, размещались еще ихтиологи и огородники.

«Высший семинарий» начал свою деятельность с разработки методов сельскохозяйственного районирования, с отыскания способов научно верного и обоснованного разделения страны на однородные в сельскохозяйственном отношении районы.

Начатые в Московской губернии Б. Н. Книповичем и К. Н. Никитиным, эти работы со временем вышли и за пределы России. Группа Книповича и Никитина была преобразована в Кабинет сельскохозяйственной географии и стала изучать географию юго-востока и центра СССР, а также США и Канады. Выбор зарубежных стран не был случайным: климатические и почвенные условия в Северной Америке более всего напоминали отечественные. Кроме того, их изучение давало возможность ближе познакомиться с техникой, агрономией и животноводством этих стран.

В 1919 году Чаянов был назначен директором образованного на базе «Высшего семинария» Научно-исследовательского института сельскохозяйственной экономии. В то же время до 1920 года он продолжал занимать руководящие посты в кооперации, а с 1920 года — и в Народном комиссариате земледелия.

С заменой продразверстки продналогом и переходом к нэпу снова начала бурно развиваться кооперация.

Ее руководящим органом был «Центросоюз», образованный еще в сентябре 1917 года на основе Московского губернского союза потребительских обществ. А. В. Чаянов, занимая видное положение в Московском Потребсоюзе, сохранил его и после создания «Центросоюза», войдя в его правление.

В процессе развития и укрепления Советской власти правление «Центросоюза» все более большевизировалось. Весной 1919 года в него вошли видные большевики — В. П. Ногин, И. И. Скворцов-Степанов, Л. Б. Красин, М. М. Литвинов, О. Ю. Шмидт, П. Л. Войков и другие. Возглавил «Центросоюз» старый большевик А. М. Лежава, член партии с 1904 года. В окружении этих выдающихся людей работал в «Центросоюзе» и Чаянов.

В 1920 году деятельность А. В. Чаянова впервые попадает в поле зрения В. И. Ленина. Точнее, Владимир Ильич впервые знакомится с одним из документов, написанных ученым.

8 июля 1920 года, узнаем мы из «Биографической хроники» В. И. Ленина, Владимир Ильич прочитал записку А. В. Чаянова Наркому земледелия С. П. Середе, в которой ставился вопрос об организации работ по изучению доходности крестьянских хозяйств. В связи с тем что на следующий день Середа на две недели уезжал из Москвы, Ленин попросил секретаря после возвращения Наркома напомнить ему об этой докладной записке. Второй раз имя Чаянова встречается в ленинских документах 7 октября 1921 года. В этот день Владимир Ильич получил записку от заместителя Наркома земледелия Н. Осинского (В. В. Оболенского). В записке в числе прочих вопросов Осинский напоминал Ленину о необходимости урегулировать отношения между Госпланом и Наркомземом и предлагал назначить представителем их наркомата в Госплане А. В. Чаянова. Предложение Осинского было принято, и Чаянов в 1921—1923 годах, оставаясь членом коллегии Наркомзема, был представителем Наркомзема в Госплане.

Занимая ответственные посты, Чаянов стал известен самым высоким должностным лицам СССР. Отдавая ему должное как высококвалифицированному специалисту, некоторые руководители в политическом отношении считали его честным буржуазным спецом или, в лучшем случае, сочувствующим попутчиком.

В определенной мере на первых порах такая оценка взглядов и настроений Чаянова была следствием не его в общем-то безупречной научной и служебной деятельности, а результатом той репутации, которую он создал себе спорными теоретическими допущениями и в еще большей степени своими литературными трудами.

После гражданской войны, в условиях нэпа, когда вооруженная борьба отошла на задний план, а доминантой стала борьба идеологическая, многое в жизни и деятельности профессора Чаянова вызывало настороженность, подозрительность и даже озлобление. (Мы говорим здесь не о руководителях партии и государства, а о среднем звене идеологического аппарата.— **В. Б.**) Такого рода проявления были вызваны разными причинами — честным заблуждением на его счет, непониманием, узостью мышления, иногда завистью, иногда и активным неприятием его взглядов и принципов. Многогранный, мятущийся, очень неоднозначный человек не вписывался в схему, упрощенно делившую всех людей лишь на друзей и врагов.

В 1920 году в Москве в Госиздате вышла небольшая книжечка Чаянова «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии». Профессор Чаянов на сей раз укрылся под псевдонимом «Иван Кремнев». Автор предисловия П. Орловский на самом деле тоже носил другую фамилию. Под этим именем выступал известнейший критик и публицист В. В. Воровский, которого В. И. Ленин еще в 1913 году называл в числе четырех «главных писателей большевиков». Воровский начал так: «Предисловие, из которого благосклонный читатель узнает, каковы идеалы наших кооператоров и почему эти идеалы утопичны и реакционны». А закончил следующим образом: «Но, быть может, спросят: если вы такой противник этой утопии, зачем же вы печатаете и распространяете ее? А вот зачем: эта утопия — явление естественное, неизбежное и интересное. Россия — страна преимущественно крестьянская. В революции крестьянство в общем идет за пролетариатом, как более развитым политическим и более организованным собратом... В этой борьбе будут возникать разные теории крестьянского социализма, разные утопии. Одной из таких утопий и является печатаемая ниже. Она имеет те преимущества, что написана образованным, вдумчивым человеком, который, приукрашивая, как все утописты, воображаемое будущее, дает в основе ценный материал для изучения этой идеологии. Он пишет искренно то, во что верит и чего желает; это придает его утопии бесспорный интерес».

Повесть-утопия начинается с того, что ее герой Алексей Васильевич Кремнев— крупный советский работник, заведующий одним из отделов Мирсовнархоза, приходит в свой служебный кабинет, раскрывает том сочинений Герцена и читает «давно забытую им пророческую страницу: «Социализм разовьется во всех фазах своих до крайних последствий, до нелепостей. Тогда снова вырвется из титанической груди революционного меньшинства крик отрицания и снова начнется смертная борьба, в которой социализм займет место нынешнего консерватизма и будет побежден грядущей, неизвестной нам революцией».

Вслед за тем начинается излюбленная Чаяновым гофманнада: в комнате удушливо начинает пахнуть серой, бешено вращаются стрелки часов, сами по себе отрываются листки календаря и взвиваются вихрем бумаги...

Герой теряет сознание и приходит в себя уже совсем в другое время, однако все там же — в Москве, но в стране утопии...

Газета, которую нашел на столе Алексей Кремнев, была датирована 5 сентября 1984 года. Затем, по воле автора, Алексей совершает экскурсионную прогулку по Москве на автомобиле в сопровождении некоего москвича Минина, чистосердечно считающего Кремнева американцем.

«Город казался сплошным парком, среди которого архитектурные группы возникали направо и налево, походили на маленькие, затерявшиеся городки». В городе постоянно жило сто тысяч человек, но с учетом приезжих их число достигало пяти миллионов. Техника характеризовалась высоким совершенством — люди уже управляли погодой и сами в назначенное и удобное для них время производили «генеральные дожди», добившись среднего урожая в пятьсот пудов зерна с десятины» (то есть восьмидесяти центнеров с гектара).

В новых условиях в экономике государства господствует, конечно же, крестьянская кооперация, однако существует и частная инициатива капиталистического типа. «Мы даже не стремимся ее прикончить, ибо считаем необходимым сохранить для товарищей кооператоров некоторую угрозу постоянной конкуренции и тем спасаем их от технического застоя,— поясняет Кремневу Минин. — Однако этот остаточный капитализм у нас весьма ручной, как, впрочем, и кооперативная промышленность, более склонная брыкаться, ибо наши законы о труде лучше спасают рабочего от эксплуатации, чем даже законы рабочей диктатуры, при которых колоссальная доля прибавочной стоимости усвоялась стадами служащих в главках и центрах».

Алексею Кремневу поясняют, что «в прежнее время весьма наивно полагали, что управлять народнохозяйственной жизнью можно, только распоряжаясь, подчиняя, национализируя, запрещая, приказывая и давая наряды, словом, выполняя через безвольных исполнителей план народнохозяйственной жизни...», такое положение дел привело к тому, что все работники оказались на штатном поденном вознаграждении и их работа была лишена всяких признаков стимуляции.

«Отсутствие стимуляции сказывалось не только на исполнителях, но и на организаторах производства, ибо они, как и всякие чиновники, были заинтересованы в совершенстве самого хозяйственного действия, в точности и блеске работы хозяйственного аппарата, а вовсе не в результате его работы. Для них впечатление от дела было важнее его материальных результатов». Неправильно отождествляя диктатуру пролетариата с диктатурой бюрократии, Чаянов все же тонко подметил то, что многим еще не было видно.

К 1984 году государство как сила подавления уже почти отсутствует, поскольку его считают «одним из устарелых приемов организации социальной жизни,— говорит спутник Алексея Кремнева,— и девять десятых нашей работы производится методами общественными, именно они характерны для нашего режима: различные общества, кооперативы, съезды, лиги, газеты, другие органы общественного мнения, академии и, наконец, клубы — вот та социальная ткань, из которой слагается жизнь нашего народа, как такоаого».

Первая часть книги заканчивалась описанием войны между Россией и Германией, в которой Германия через несколько часов признала себя побежденной. Нам неизвестно, была ли создана вторая часть или же путешестаие Алексея Кремнева на том и оборвалось.

Моменты, на которые мы обратили внимание, конечно же, фрагментарны и не дают цельного представления о книге. Современники Чаянова, читавшие повесть целиком, обращали внимание на немалое число крамольных сюжетов и еретических постулатов автора. Чаянов на определенном историческом этапе поставил во главе Советского государства некую группу интеллигентов, представляющих пять различных эсеровских партий, крестьяне — по его воле — являлись в повести-утопии правящим классом России, история русской революции была пересмотрена автором с точки зрения классового мира.

Все это и многое другое позволило Воровскому закончить предисловие к книге Чаянова так: «Мы и печатаем ее с тем, чтобы каждый рабочий и особенно крестьянин, вдумчиво относящийся к великому перевороту, знал, как представляют себе будущее люди, иначе, чем мы, думающие, и мог бы критически и сознательно отнестись к доводам противника».

На «Путешествие моего брата Алексея...» журнал «Книга и революция» откликнулся коротенькой рецензией, в которой отмечалось, что книга, «хотя и написана не без таланта» и «автор несомненно очень культурен и очень любит искусство», его идеалы «в полном смысле «утопичны» и просто реакционны». И хотя точка над i еще не была поставлена, Чаянова уже объявили и противником, и реакционером.

Повесть-утопия была не единственным произведением Чаянова, которое как бы высвечивало отдельные стороны его мировоззрения, его этических и эстетических принципов.

Весной 1918 года А. В. Чаянов написал свою первую историко-краеведческую работу — «История Миюсской площади». В том же году он издает и свою первую

романтическую повесть «История парикмахерской куклы, или Последняя любовь московского архитектора М.». Чаянов становится активным членом общества «Старая Москва», одним из учредителей московского Русского общества друзей книги.

Чуть позже «Путешествия моего брата Алексея...» была написана романтическая повесть «Венедиктов, или Достопамятные события жизни моей», наполненная мистикой и чертовщиной. Одним из ее героев является сам сатана, как бы предваряющий появление в Москве булгаковского мессира Воланда. Литературоведы М. Чудакова и А. Вулис, прочитав повести Чаянова, отметили неоспоримое влияние «Венедиктова...» на М. А. Булгакова.

И, наконец, в это же время, в 1919 году, из-под пера Чаянова выходит еще одно произведение — трагедия «Обманщики». Спектакль по ней был тогда же поставлен в театре имени В. Ф. Комиссаржевской режиссером В. Г. Сахновским, но успеха не имел. Рецензий на спектакль не было; лишь спустя три года, когда пьеса была опубликована, появилась весьма сдержанная оценка ее в печати.

В 1921 году Александр Васильевич женился на Ольге Эммануиловне Гуревич. Она окончила искусствоведческое отделение МГУ, и ее профессией и страстью стала история театра.

Ее отец, Эммануил Львович Гуревич, юрист по образованию, был известным литератором и публицистом, старым социал-демократом, начинавшим свою революционную деятельность еще в «Народной воле». Как и многие его товарищи, он прошел ссылку, эмиграцию и с 1901 года стал членом РСДРП. Вместе с Ю. М. Стекловым и Д. Б. Рязановым Э. Л. Гуревич в 1901 году образовал группу «Борьба», сотрудничал в «Искре» под псевдонимами Е. Смирнов, В. Даневич, К. Петров. В 1900—1901 годах В. И. Ленин вел переписку с Э. Л. Гуревичем по вопросам сотрудничества в социал-демократической печати.

Незаурядной личностью была и мать Ольги Эммануиловны — Людмила Иоасафовна, в девичестве Сметанина. Она происходила из семьи московских старообрядцев и была одной из первых женщин-врачей, вышедших из этой среды; окончив медицинский факультет, она также одной из первых получила степень доктора медицины.

В 1927 году Ольга Эммануиловна выпустила солидную монографию «Театр Медокса в Москве. 1776—1805», в которой впервые в театроведении России описала один из значительных памятников русского театрального прошлого — предшественник Большого театра. В кратком предисловии, автором которого был директор Театрального музея А. А. Бахрушин — его основатель и один из крупнейших коллекционеров России — книге давалась высокая оценка.

В 1922 году супруги Чаяновы находились в заграничной командировке. В «Протоколе Распорядительного заседания коллегии Наркомзема» от 31 января 1922 года указано, что А. В. Чаянов командируется в распоряжение Л. Б. Красина в Лондон.

Еще до отъезда за границу А. В. Чаянов сделал семь докладов на заседаниях общества «Старая Москва». Его сообщения получили высокую оценку профессионалов. Особенно восторженно отозвался о его опытах построения ситуационных планов Москвы известный знаток истории города А. М. Васнецов.

Вместе с Чаяновым в ученой комиссии общества «Старая Москва» работали В. А. Гиляровский, братья А. А. и Ю. А. Бахрушины, П. В. Сытин и многие другие выдающиеся москвоведы. Чаянов был и одним из инициаторов создания новой экспозиции Музея истории и реконструкции Москвы (тогда он находился в Сухаревой башне и назывался «Московский коммунальный музей»).

Примерно в это же время Чаянов работает и над проблемами оптимизации размеров сельскохозяйственных предприятий, изучает экономические основы работы с картофелем, вводит в экономическую географию математическую теорию — номографию, позволяющую решать экономические задачи при помощи построения особых графиков.

В 1921 году Александр Васильевич пишет работу, в которой разрабатывает методы безденежного учета советских хозяйств и предприятий.

Через четыре года, работая над одним из основных трудов своей жизни — книгой «Организация крестьянского хозяйства»,— Александр Васильевич назовет и другие проблемы, над которыми он трудился тогда совместно со своими коллегами по так называемому «организационно-производственному направлению». Вот их далеко не полный перечень: «Методы сельскохозяйственного районирования, использование статистики железнодорожных перевозок для товарной характеристики районов, счетоводный анализ крестьянских хозяйств, методика бюджетных и анкетных исследований... изучение специальных культур и кустарных промыслов, монографическое описание маслодельной, картофельной, льняной и молочной кооперации, изучение эволюции организационных форм сельского хозяйства, основы водного хозяйства на орошаемых землях, установление оптимальных размеров сельскохозяйственных предприятий, теория сельскохозяйственной кооперации, методика агрономической помощи населению».

Проблемы, о которых идет речь, стали занимать ученых еще с довоенного времени, но их активная разработка пришлась на период нэпа, на 1921 год, когда в

связи с завершением гражданской войны и переходом к мирному строительству политические методы руководства народным хозяйством стали заменяться методами экономическими. Отныне экономика строилась на принципах хозрасчета, твердого налогового обложения, использования частной инициативы — в пределах и формах, полезных для социалистического государства,— и была сориентирована на социалистическую перестройку народного хозяйства.

В. И. Ленин поставил эти задачи во главу угла всей политики партии и государства и сам являлся не только ведущим теоретиком в изучении, обосновании и развитии новой экономической политики, но и выдающимся практиком.

Обосновав переход к нэпу в десятках своих работ 1921—1922 годов, Владимир Ильич не оставлял разработку тактики и стратегии нэпа даже тогда, когда оказался тяжело болен. Составной частью его идеи построения социализма в нашей стране была и статья «О кооперации».

Нас, разумеется, более всего интересует, в какой мере книга Чаянова «Основные идеи и формы организации крестьянской кооперации» помогла Владимиру Ильичу в работе над статьей «О кооперации» (уместно будет заметить, что в библиотеке В. И. Ленина в Кремле было еще шесть работ А. В. Чаянова, а также одна книга С. А. Клепикова со вступительной статьей Александра Васильевича.— В. Б.).

Не беру на себя смелость утверждать, как воспринял В. И. Ленин основные положения книги Чаянова. Однако полагаю, что мимо внимания Владимира Ильича едва ли прошли ее последние страницы, наполненные революционным пафосом и столь непохожие на в общем-то научно-популярное, спокойно-академическое изложение вопроса о кооперации. Заканчивая книгу, Александр Васильевич поднялся до высот большой политической публицистики. «Во время Великой французской революции,— писал он,— когда отечество было в опасности, когда государственный аппарат колебался под ударами врагов — народные вожди не раз выбрасывали лозунг: «Levez les masses!» («Поднимайте массы!») — и бросали в борьбу стихию народных масс, своей мощью спасавшую положение... В грозный час, когда окажутся бессильными все методы предпринимательства, когда экономический кризис и удары организованного противника будут сметать наши сложные предприятия, для нас возможен единый верный путь спасения, неизвестный и закрытый капиталистическим организациям,— путь этот: переложить тяжесть удара на плечи того Атланта, которым держится вся наша работа — да, в сущности, и все народное хозяйство нашей Родины — на плечи русского крестьянского хозяйства. Эти плечи смогут выдержать всякую тяжесть, если... если только захотят подставить себя.

А для того, чтобы они не уклонились от тяжести, нужно, чтобы они чувствовали, знали, сжились с тем, что дело крестьянской кооперации — их крестьянское дело, чтобы дело это тоже было действительно мощным социальным движением, а не предприятием только! Нужна кооперативная общественная жизнь, кооперативное крестьянское общественное мнение, массовый захват крестьянских масс в нашу работу».

После сильной засухи 1921 года вследствие интенсивной и оперативной помощи со стороны государства, а также благодаря оздоровляющему влиянию первых мероприятий нэпа сельское хозяйство страны быстро оправилось и стало приближаться к довоенному уровню продуктивности.

С 1923 года начался бурный рост посевных площадей, и к 1925 году размер посевов почти достиг показателей 1913 года (99,3 процента). Набирали темпы животноводство и производство технических культур. Благодаря четкой классовой политической линии рост кулацких хозяйств сдерживался, процесс пролетаризации беднейших крестьян неуклонно свертывался, средние слои деревни развивались и экономически крепли. Господствующей силой на селе становился середняк, не эксплуатирующий наемного труда,— тот самый, которого А. В. Чаянов и считал главной фигурой трудового крестьянского хозяйства.

В 1925 году валовой сбор зерна на 11,6 процента превысил уровень 1913 года, на 12,6 процента был превзойден урожай льна. На следующий год эти тенденции продолжали крепнуть и развиваться — посевные площади выросли еще на пять миллионов десятин, и соответственно увеличились сборы зерна и других сельскохозяйственных культур. Середняк еще более упрочился как ведущая сила в советской деревне — в 1926 году середняцких хозяйств на селе было 62,7 процента. В 1926 году организованные заготовки из урожая достигли максимума за все предшествующие годы Советской власти — 116,4 миллиона центнеров.

В условиях подъема народного хозяйства успешно работали и ученые-аграрники, и Тимирязевская сельскохозяйственная академия, как с 1923 года стала называться Петровка. К 1925 году она стала самой большой сельскохозяйственной высшей школой в мире. На трех ее факультетах — агрономическом, экономическом и инженерном — обучалось около трех тысяч студентов. (В то же время вторая по величине академия — Берлинская — была ровно в два раза меньше.) Тимирязевка была и самым большим сельскохозяйственным научно-исследовательским учреждением.

Ее экономический факультет, профессором которого был А. В. Чаянов, готовил организаторов сельского хозяйства, руководителей совхозов, участковых агрономов и кооперативных работников.

Факультет размещался в Кленовой аллее на третьем этаже большого трехэтажного здания. Здесь вместе с А. В. Чаяновым работали профессора и доценты В. Н. Максимовский, А. А. Рыбников, А. Ф. Фортунатов, П. А. Вихляев, Н. Д. Кондратьеа, Л. Н. Литошенко...

Уже к 1925 году группа Чаянова провела работу по установлению оптимальных размеров сельскохозяйственных предприятий, определила количественный эффект землеустройства, разработала методы безденежного учета хозяйства и нерыночных продуктов, а также таксацию вообще всех работ в сельском хозяйстве.

Одним из важных моментов деятельности Чаянова этого времени было кардинально переделанное им издание «Краткого курса кооперации». Начиная книгу, Александр Васильевич писал: «Когда в наши дни говорят о будущем деревни, то чаще всего возлагают свои надежды на кооперацию. Само слово «кооперация» стало теперь одним из самых ходовых в нашем обиходе. В любом газетном листе вы встретите его десятки раз, им пестрят страницы книг, его произносят на собраниях, конференциях и съездах и после двух предсмертных статей В. Ленина, ей посвященных,— кооперация делается одной из основ нашей экономической политики».

Однако, констатирует автор, это вовсе не означает, что многие отчетливо понимают сущность кооперации, ее основные идеи и организационные принципы. И далее разъясняет все это на конкретных простых и доходчивых примерах. Для нас сегодня важна мысль А. В. Чаянова о необходимости создания на селе небольших перерабатывающих предприятий, которые не позволяли бы пропадать выращенным плодам и овощам.

Растолковывая своим читателям, что такое потребительское кооперативное общество, объясняя тонкости его функционирования, Чаянов отвечал на вопросы, которые ставила жизнь.

Заканчивая книгу, он с гордостью писал: «Теперь по размаху своей работы русская кооперация — первая в мире... На 1 января 1924 года сельскохозяйственная кооперация РСФСР насчитывала... около 25000 кооперативов всех видов... в которые входило около полутора миллионов крестьянских хозяйств по преимуществу средних и бедных слоев деревни». И хотя кооперация охватывала тогда лишь 12 процентов всех крестьянских хозяйств, Чаянов глубоко верил, что за ней будущее.

«Только опираясь на союзное, кооперативное начало обобществленного хозяйства, крестьянство может на своих полях и стойлах использовать все завоевания агрономической науки, и на том месте, где растет теперь один колос, действительно, вырастит два, может сбросить со своих плеч бремя ростовщиков и скупщиков и твердыми шагами пойти в лучшее будущее... Тогда перед нами вырастет новая, невиданная доселе форма земледелия, построенная на принципе обобществления, совершенной технике и научной организации производства. Это будущее заставляет нас видеть в нашей работе, там, где поверхностные наблюдатели видят только продажу масла и покупку плуга, будущий грандиозный социально-экономический переворот, превращающий распыленное стихийное крестьянское хозяйство в стройное хозяйственное целое, в новую систему организации земледелия, и вполне согласиться с мыслью предсмертной статьи Ленина о том, что развитие кооперации во многом совпадает с развитием социализма».

В 1924 году А. В. Чаянов выпустил книгу «Очерки по экономике трудового сельского хозяйства», в которой собрал статьи, изданные за последние двенадцать лет в различных периодических изданиях. В книгу вошли работы по вопросам мелиорации в крестьянском хозяйстве, по теории водного хозяйства, о значении машин в хозяйствах трудовом и капиталистическом, об основах кредитного хозяйства в местном кооперативе и, наконец, опыты по изучению изолированного государства. Едва увидев свет, книга сразу же подверглась упрекам и за то, что изложение материала было отвлеченным, и за трудную и недоступную большинству читателей математическую форму, но более всего ругали ее за то, что она опять же не была марксистской.

Во многом критика была справедливой. Так, например, никак нельзя было согласиться с автором в том, что исторически число жителей-горожан будет все время уменьшаться, а сельских жителей — возрастать. К таким выводам Александр Васильевич пришел еще в 1915 году, когда написал статью «Проблема населения в изолированном государстае-острове», следуя по стопам немецкого профессора И. Г. Тюнена, который, по оценке самого же Чаянова, представил «ряд абстрактных экономических теорем, трактующих вопрос о социальном значении земледелия в наиболее общей и наиболее абстрактной форме». Нельзя было согласиться н с тем, что в развитии сельского хозяйства естественные факторы доминируют в сравнении с факторами социальными, что и закрепило за теорией трудового крестьянского хозяйства ехидное прозвище «физиологической теории».

Взгляды Чаянова в целом объявляли недиалектичными, ибо, по мнению его критиков, теория Чаянова рассматривала трудовое крестьянское хозяйство не в его развитии и без его связи с другими явлениями Самое серьезное обвинение было в то же время и самым необоснованным. Но поскольку оно затрагивало скорее политические категории, чем научные, то и было принято без каких-либо доказательств, как это н бывает сойственно именно политическим, а не научным обвинениям.

Однако наиболее важным трудом Чаянова — не только этого времени, но и, пожалуй, всей его жизни — следует считать книгу «Организация крестьянского хозяйства», работу над которой он закончил летом 1924 года. «Кооперативное издательство», давшее ей жизнь, в предисловии все же специально оговаривало: «Подход автора к анализу крестьянского хозяйства вряд ли удовлетворит современного читателя. Однако богатство эмпирического материала и достоинства конкретно-описательных частей печатаемой работы делают ее весьма нужной для работающих в области сельского хозяйства. Ошибочные же ее теоретические положения, надо думать, дадут толчок критической мысли разбирающихся в вопросе читателей».

Не претендуя на создание универсальной теории крестьянского хозяйства, А. В. Чаянов сосредоточил свое главное внимание на проблеме семейно-трудового хозяйства — хозяйства, не знающего категории заработной платы.

Сам автор считал новую работу итогом своих более чем десятилетних изысканий, впервые сведенных вместе в книге «Учение о крестьянском хозяйстве», изданной на немецком языке в Берлине в 1923 году. Едва появившись, работа Чаянова сразу же вызвала целый шквал замечаний и критических обзоров. Оппонентами Чаянова оказались ведущие русские экономисты Прокопович, Литошенко, Крицман, Бруцкус, Дубровский, Мануйлов.

В новой книге Александр Васильевич возражал им, отстаивая идеи, являвшиеся плодом усилий целого течения русской экономической мысли, которое получило название «организационно-производственного направления» — название, по мнению Чаянова, неудачное.

«Организационно - производственное направление» оформилось перед первой мировой войной, и сутью его деятельности стало изучение множества финансовых, экономических, технических и прочих проблем, которые раньше учеными просто игнорировались. Теория крестьянского хозяйства была только одной из этих тем, правда, быть может, наиболее спорной, так как все остальные работы обычно не встречали серьезных критических замечаний.

Теория организации крестьянских хозяйств разрабатывалась в связи с запросами практики из-за «многочисленных недоумений и размышлений над частными организационными проблемами».

Обобщив огромный фактический материал, Чаянов сделал вывод, что семейное трудовое крестьянское хозяйство нельзя рассматривать только как хозяйство предпринимательское, в котором хозяин нанимает самого себя как рабочего, но следует рассматривать прежде всего его семейно-трудовую сущность. В этом смысле крестьянское хозяйство как организационная форма «вполне мыслимо и в других народнохозяйственных системах — а именно в условиях крепостнически-феодальных, в условиях крестьянско-ремесленных стран и, наконец, в условиях чисто натурального быта, то есть в условиях таких народнохозяйственных систем, в которых совершенно отсутствовали категории наемного труда и заработной платы, если не исторически, то логически».

Таким образом, организационная концепция крестьянского трудового хозяйства сводилась автором к его семейно-трудовой сущности.

Каждая из общественно-экономических формаций, считал Чаянов, устанавливает свои собственные взаимоотношения с семейно-трудовым крестьянским хозяйством, но организационный склад этой основной ячейки в главном остается тем же самым.

И все же Чаянова интересовала не историческая концепция трудового крестьянского хозяйства, а лишь «морфология того производственного аппарата, который называется трудовым крестьянским хозяйством». Он изучал это хозяйство, полагая что «в пределах ближайшего десятилетия трудовые крестьянские хозяйства остаются все-таки непреложным фактом в целом ряде стран, в том числе и в СССР, и нам, практическим деятелям сельского хозяйства, придется строить будущие формы земледелия, исходя из существующих форм крестьянского хозяйства, а поэтому мы и практически заинтересованы в возможно более глубоком его изучении».

И потому Чаянов прежде всего ставил перед собой задачу провести «организационный анализ хозяйственной деятельности крестьянской семьи, не прибегающей к найму чужой рабочей силы, располагающей некоторой земельной площадью и собственными средствами производства и иногда вынужденной затрачивать часть своих рабочих сил на внеземледельческие промыслы».

Весьма важно отметить, что в этой книге Чаянов часто прибегает к положениям Маркса и Ленина, сетуя только на то, что не всегда можно применять, а точнее, ссылаться на марксистские труды при анализе частных явлений, таких, например, как сельскохозяйственная таксация или счетоводство, а равно и в анализе организации предприятий, что вызывает обвинение его в недооценке методологии марксизма со стороны некоторых недобросовестных оппонентов.

Само же содержание книги — ее объем более двухсот страниц большого формата — едва ли целесообразно пересказывать в биографическом очерке, тем более что труды Чаянова нуждаются не в пересказе, а в глубоком анализе и всестороннем изучении, а это — дело экономистов-аграрников. Мы же должны проследить, как отразилась судьба этой книги на судьбе ее автора. А произошло то, что «ошибочные же ее теоретические положения» не только дали толчок критической мысли читателей и разбирающихся в этом вопросе, и, что чаще происходило, в нем не разбирающихся, но

и привели в конце концов к гибели как идей, высказанных в книге, так и к физическому устранению самого автора.

Однако в то время он еще не ждал такого оборота событий и наряду с кабинетной академической деятельностью много времени проводил в поле, на фермах, во дворах и избах крестьян. Костромская губерния, Валдай, Вятка, Вологда, Ярославль — такова далеко не полная география его странствий.

В 1926 году в Институте Чаянова выходит сборник статей «Проблемы урожая», в который включается и работа самого Чаянова, где он прослеживает рост урожайности хлебов в России с 1801 по 1914 год и устанавливает, что в среднем урожайность повышалась на полпроцента в год, поднявшись за 114 лет на 59 процентов.

Исследуя все факторы, влияющие на урожайность, Чаянов воскрешает основательно забытые, но поразительно интересные работы метеоролога, точно предсказывавших засушливые и обильные влагой годы, дает принципиальную схему работ, позволяющих разработать методы урожайного прогноза, и в заключение приводит ряд рекомендаций, выполняя которые можно избежать бедствий неурожая или существенно их ослабить.

В ноябре 1927 года Чаянов закончил еще одну большую книгу — «Бюджетные исследования. История и методы», в которой, используя огромный фактический материал, проследил, как исторически бюджетник-статистик все более и более вытеснялся экономистом и агрономом-организатором и вследствие этого дело изучения бюджета в сельском хозяйстве шло от общих описаний к исследованию взаимностей, а сама постановка вопросов и их решение становились все более конкретными, практически ощутимыми и экономически точными.

В эти же годы несколько книг А. В. Чаянова вышло в свет в Германии и одна — в Италии. В свою очередь, в НИИ сельскохозяйственной экономии немалое внимание уделялось и переводам классических работ в области сельскохозяйственной экономии. В серии переводных зарубежных публикаций в 1927 году в НИИ сельскохозяйственной экономии вышла книга немецкого ученого Рихарда Крцимовского «Развитие основных принципов науки о сельском хозяйстве в Западной Европе», имевшая подзаголовок «Философские основы науки о сельском хозяйстве».

Эта книга являлась как бы продолжением другого его труда — «Психология крестьянства», но так как немецкий ученый знакомил советского читателя лишь с историей западноевропейской науки, то А. В. Чаянов дополнил издание собственной статьей «Основные линии развития русской сельскохозяйственной мысли за два века», в которой с гордостью говорил, что еще в «Домострое» Сильвестра и в труде Посошкова «О скудности и богатстве» русские уже заявили о существовании собственной сельскохозяйственной мысли. Чаянов рассматривает и основательно забытую работу русского агронома XVIII века Сергея Друковцова, отдает должное основоположнику русской агрономии А. Т. Болотову, а также его продолжателям — А. Самборскому, С. Десницкому и М. Ливанову. Затем он знакомит читателя с редчайшими изданиями XVIII века: «Деревенским зеркалом, или Общенародной книгой» Севергина и книгой Захарова «Усадьбы, или Как селить крестьян и собирать с них помещичий доход».

Столь же подробно говорит он и о развитии русской сельскохозяйственной мысли XIX века, особо ярко и детально рисуя жизнь и деятельность замечательных агрономов С. А. Маслова, М. Г. Павлова и, конечно же, профессоров родной ему Петровки.

Заканчивая эту статью, Чаянов писал, что в начале XX века перед агрономической наукой были поставлены задачи кооперирования крестьянства и создания форм общественного содействия ему, «однако эпоха эта смогла только подготовить эти вопросы, но не имела времени их разрешить. Война и революция на многие годы задержали научную работу, и трудная и ответственная задача разрешения поставленных проблем всецело ложится на нашу советскую современность».

Так оно, по существу, и было, да только эта действительно трудная и ответственная задача решалась далеко не самым безболезненным образом, и путь, на который было поставлено сельское хозяйство страны, трудно было назвать лучшим из всех возможных путей.

Неутомимый Александр Васильевич открывает для себя еще одну стезю — он пишет киносценарий, который принимают, и в 1928 году на киностудии «Межрабпром-Русь» молодой режиссер Л. Л. Оболенский ставит фильм «Альбидум».

Продолжаются и его беллетристические увлечения. В 1928 году выходит в свет последняя романтическая повесть Чаянова «Юлия, или Встречи под Новодевичьем».

Как могли отнестись к его повестям читатели «Железного потока» или «Цемента», зрители «Любови Яровой» или «Разлома»?

Даже в наши дни литературоведы причисляют Чаянова к писателям декадентского круга, считая наиболее близкими ему по устремлениям и духу Вячеслава Иванова, Михаила Кузмина и Алексея Ремизова. А ведь Ремизов с 1921 года был в эмиграции, и Иванов последовал за ним в 1924-м... Не больно-то привлекательных товарищей по литературе выбрал себе профессор Чаянов.

«И тот, кто сегодня поет не с нами, тот — против нас!» — писал поэт.

Чаянов пел «не с нами».

В это самое время — в середине 20-х годов — в стране наметились радикальные, далеко идущие перемены. Состоявшийся в декабре 1927 года XV съезд ВКП(б) провозгласил курс на коллективизацию сельского хозяйства. Одновременно происходила и индустриализация промышленности, привлекшая в города миллионы вчерашних крестьян, оставивших свои наделы.

Вследствие этого — и по ряду других причин — в стране стала резко ощущаться нехватка хлеба. В 1927 году было заготовлено всего 51,3 миллиона центнеров, в последующие годы — с применением чрезвычайных мер — дело хотя и улучшилось, но ненамного.

В этих условиях, писал советский историк И. Я. Трифонов: «Особая роль принадлежала сельскохозяйственной кооперации, которая объединяла крестьян по линии производства. Эта кооперация должна была стать центром объединения мелких, распыленных крестьянских хозяйств и насаждения основ коллективного труда в деревне». Путь деревни был предопределен — она должна была стать колхозной.

В то время как деревню было решено переводить на путь коллективизации, в промышленности происходила ускоренная индустриализация, в процессе которой политические методы руководства решительно доминировали над экономическими. Экономические стимулы использовались все реже, их заменяли действиями административными, командными, волевыми, с помощью которых пытались решить невероятно сложные и масштабные задачи — по реконструированию промышленности, переводу на социалистические рельсы деревни, причем при исключительно высоких темпах, без надлежащей подготовки кадров, без учета реальных возможностей — как экономических, так и человеческих.

Быстрое исполнение скоропалительно принятых решений, усугубленное низкой квалификацией рабочих, в подавляющем большинстве только вчера пришедших из деревни на стройки, заводы, в шахты и на транспорт, оборачивалось производственными авариями, срывом далеких от реальности планов. Качество работ часто отходило на второй план, соблюдение технологической дисциплины нередко приносилось в жертву своевременному выполнению планов.

Все это осложнялось нехваткой сырья, продовольствия, машин, механизмов, запчастей. Поиски выхода на путях дальнейшей интенсификации труда, принятие все более напряженных обязательств не всегда приводили к ожидаемым результатам. Срыв плановых заданий, неразбериху, путаницу и конечные производственные неудачи все чаще стали объяснять вредительством и заговорами.

Миллионы трудящихся, самоотверженно работавших на тысячах заводов и строек, недосыпавших и недоедавших, но свято веривших в правоту великого дела и не жалевших сил для победы социализма, искренне верили, что неудачи в промышленности, скудные пайки, карточная система, а порой и настоящий голод — дело рук окопавшихся врагов Советской власти и их зарубежных вдохновителей.

Поэтому проходившие в стране громкие политические процессы почти ни у кого не вызывали сомнений в их необходимости и справедливости выносимых приговоров. Люди видели самоотверженность и честность коммунистов, работавших рядом с ними, считали жизненную позицию и моральный облик многих из них примером для себя — и тем сильнее и искреннее возмущались, что в партии и даже в ее руководстве находятся негодяи, предающие святое дело революции и социализма.

С лучшими коммунистами — скромными, самоотверженными, честными — такие же честные и самоотверженные беспартийные рабочие и крестьяне отождествляли и саму партию, а ее генеральную линию, в которую они так же безоговорочно верили, как и в социализм, они отождествляли со Сталиным. Он представал перед людьми скромным и мудрым «отцом народов», уставшим от трудов и забот. Он был немногословен, тверд в решениях, скромно называл себя учеником Ленина и главной своей заботой провозглашал охрану ленинского учения от искажений, сохранение его в первозданной чистоте.

Для простых людей он был другом детей, рабочих-стахановцев, колхозников-ударников, непримиримым врагом бюрократов и перерожденцев, карающим мечом для предателей и изменников. Он требовал дисциплины, преданности делу, любви к Родине, верности партии — и это справедливо тянуло людей к нему.

Перед простыми людьми страны, которых он потом назовет «винтиками» (и это будет воспринято большинством как высочайшая похвала), он представал только таким, а все кровавое и грязное, низкое и подлое объявлялось им делом его врагов, которые были одновременно и нашими врагами — врагами народа.

Что знали люди о его тайных делах и замыслах?

Ничего.

В связи с вышесказанным представляется более чем уместным привести следующее высказывание В. И. Ленина: «Фарисеи буржуазии любят изречение: de mortuis aut bene aut nihil (о мертвых либо молчать, либо говорить хорошее). Пролетариату нужна *правда* и о живых политических деятелях и о мертвых, ибо те, кто действительно заслуживает имя политического деятеля, не умирают для политики, когда наступает их физическая смерть».

Это справедливо не только по отношению к Сталину, но и по отношению к тем, кто стал его жертвами. Более того, упорное умолчание о судьбах этих людей и пассивное согласие со старыми оценками их деятельности искажают не только историю, но и историческую перспективу.

Александр Васильевич не был кабинетным затворником. Он знал жизнь и, обла-

дая практической сметкой, понимал, что его теории уже выходят из разряда научных дискуссий и трактуются как подрывная антисоветская деятельность.

Не были оторванными от жизни академистами и его сторонники. Поэтому уже в 1927—1928 годах многие из них вынуждены были выступать с покаянными речами и статьями.

Так, например, в августе 1928 года в статье «К теории организации сельскохозяйственной массы крестьянских хозяйств» А. Н. Челинцев, отрекаясь от того, что он пропагандировал раньше, писал: «Учение о трудовой, потребительской природе крестьянского хозяйства должно быть признано неправильным, хотя, повторяем, исторически понятным и естественным... Необходимо признать, что при внешней видимости «политической прогрессивности» этого учения оно имеет весьма реакционную сущность, как правильно отметила марксистская критика, особенно после Октябрьского времени».

С признанием своих заблуждений и ошибок выступил и сам А. В. Чаянов. Он это делал не единожды, но в последний раз его покаянное письмо было опубликовано в «Сельскохозяйственной газете» 12 декабря 1929 года — за неделю до открытия Всесоюзной конференции аграрников-марксистов.

В этом письме А. В. Чаянов признавал свои исторические прогнозы ошибочными и определял, что его «теория классовой кооперации» и защита существования индивидуального сектора сельского хозяйства являются «грубой и реакционной ошибкой». «В целом ряде статей,— писал Александр Васильевич,— я достаточно точно и определенно выдвинул свои новые позиции, в полной мере совпадающие с генеральной линией социалистической реконструкции нашего народного хозяйства».

Однако и это его покаяние не было принято во внимание. Подтверждением тому была конференция аграрников-марксистов.

Она открылась в те дни, когда в стране завершался «великий перелом» и происходил решительный поворот от индивидуальных крестьянских хозяйств к коллективистским формам хозяйствования.

Особое значение конференции придало участие в ней Сталина, который выступил перед ее делегатами с речью «К вопросам аграрной политики в СССР». Символичным и знаменательным казалось и то, что именно в эти дни Сталину исполнялось 50 лет, и его юбилей воспринимался всеми как апофеоз его политической деятельности.

Одной из задач конференции была борьба с мелкобуржуазными извращениями марксизма, с неонародническими предрассудками и прямым проникновением буржуазной идеологии в вопросы аграрной политики.

А. В. Чаянову, его ошибкам и злокозненным заблуждениям его школы в выступлениях участников конференции отводилось много места.

Уже в докладе первого наркома земледелия В. П. Милютина — старого большевика, выступавшего от имени Коммунистической Академии, давалась оценка деятельности А. В. Чаянова и его единомышленников. Чаянов был назван наряду с А. Н. Челинцевым наиболее ярким представителем мелкобуржуазной, неонароднической школы.

Школа неонародничества, говорил докладчик, искала законы развития сельского хозяйства «в развитии отдельного крестьянского двора и создала соответствующую теорию потребительско-трудовую или же теорию организационно-производственную». Чаянов был обвинен в том, что направлял свою политику на развитие, усиление и укрепление отдельного крестьянского двора, что должно было привести к превращению крестьянина в крупного фермера-эксплуататора, то есть в кулака. Дальнейшее развитие деревни, по Милютину, Чаянов видел в слиянии таких «сильных хозяйственных единиц», «крепких крестьянских дворов» в снабженческо-сбытовую кооперацию. Чаянову ставили в вину и непонимание того, что развитие индивидуального крестьянского хозяйства непременно должно было привести к усилению и укреплению капитализма в деревне, ибо этот двор якобы обязательно должен был превратиться именно в кулацкую ферму. И хотя Чаянов и его единомышленники отрицали фатальную неизбежность такой трансформации трудового крестьянского хозяйства, не эксплуатирующего наемного труда, они тут же были объявлены людьми политически неискренними, а лучшем случае заблуждающимися, теоретически несостоятельными путаниками. Точно так же и кооперация, настаивал В. П. Милютин, мыслилась Чаяновым и его школой как средство укрепления кулацких хозяйств, как система, призванная создавать наиболее благоприятные условия для сохранения на селе кулака.

Выступавшие в прениях были единодушны в оценке «чаяновщины». Каждый из тех, кто касался этого аспекта проблемы, чаще всего останавливался на делах в своем регионе и том зловредном влиянии, какое оказывали «чаяновцы» на развитие сельского хозяйства.

На конференции констатировалось, что Чаянова «ни в коей мере нельзя переубедить и заставить мыслить марксистски». К числу тех, кого невозможно переделать, были отнесены и другие экономисты — украинский академик Левицкий, киевские профессора Высочанский и Веселовский, ответственный сотрудник Наркомзема Филипповский, работавшие в Казахстане Рыбников, Минин, Пославский, ленинградский профессор Кажанов, который до последнего времени руководил аграрной подсекцией Ленинградского института марксизма. В Белоруссии к числу «чаяновцев» был отнесен доцент Кисляков, отстаивавший целесообразность оставления мелких деревень, а также аграрник Карклин, провозглашавший лозунг пре-

вращения Белоруссии в «Красную Данию».

Представитель Украины Я. Харченко первым из участников конференции заявил, что все антимарксистские аграрные школы «в логическом конце сходятся на одном, ставят себе одну задачу — задачу реставрации капитализма в СССР».

Другим оратором — А. Гайстером — Чаянов был обвинен в попытке «смазать руководящую роль пролетариата», «снять с своего пути руководство пролетариата».

Харченко и Гайстер были теми, кто перешел от обвинений теоретико-политических к обвинениям в практической контрреволюционной деятельности, но пока таких было еще меньшинство.

Большинство же, давая «чаяновщине» политическую оценку, напрямую связывало ее с «правым уклоном» в ВКП(б), с лидером «правых» — Н. И. Бухариным, который в дни работы конференции еще оставался членом ЦК, ВЦИК и ЦИК СССР, но уже более месяца как был выведен из Политбюро решением Пленума ЦК ВКП(б), проходившего 10—17 ноября 1929 года.

«Правые» во главе с Н. И. Бухариным, А. И. Рыковым и М. П. Томским выступали против высоких темпов индустриализации страны, против быстрого развертывания коллективизации и ликвидации кулачества как класса. Бухарин не считал коллективизацию единственной дорогой советской деревни к социализму, допуская сотрудничество государства и с «крепкими», то есть, как тогда понималось, кулацкими хозяйствами.

В докладе В. П. Милютина «правые» не только сравнивались с троцкистами, но и утверждалось, что и у тех, и у других в процессе развития «явился и ряд общих установок и общих подходов». В этом же докладе Н. И. Бухарин объявлялся «рупором кулацкого давления на часть нашей партии», а его взгляды «типичным обоснованием ревизионизма в отношении экономического развития, и в том числе в отношении сельскохозяйственного развития».

Эту принципиальную оценку характера деятельности Бухарина после Милютина повторяли с теми или иными нюансами все, кто касался «правого уклона».

В заключительной резолюции конференции по докладу Милютина указывалось, что «представителями правого уклона были допущены грубейшие оппортунистические ошибки в важнейших вопросах революционного марксизма-ленинизма», в числе ошибок называлась и «ставка на развитие индивидуального крестьянского хозяйства». Вот здесь-то и происходила полная «стыковка» Чаянова и «чаяновцев» с Бухариным и «бухаринцами».

В заключение на пленарном заседании конференции выступил Сталин.

В его докладе «К вопросам аграрной политики в СССР» констатировалось, что «основным фактом нашей общественно-хозяйственной жизни в настоящий момент... является факт колоссального роста колхозного движения». Однако если практическими результатами, сказал Сталин, можно гордиться, то теоретическая работа очень отстает от практики, и это приводит к тому, что широко распространяются буржуазные теории, «засоряющие головы наших практиков».

Сталин назвал их несколько. Это — теория «равновесия» между социалистическим и капиталистическим секторами; теория «самотека», согласно которой деревня пойдет за социалистическим городом по социалистическому пути; теория «устойчивости» мелкокрестьянского хозяйства.

Именно в связи с критикой последней теории Сталин упомянул и Чаянова: «Непонятно только, почему антинаучные теории «советских» экономистов типа Чаяновых должны иметь свободное хождение в нашей печати, а гениальные труды Маркса — Энгельса — Ленина о теории земельной ренты и абсолютной земельной ренты не должны популяризироваться и выдвигаться на первый план, должны лежать под спудом?»

На конференции были названы десятки имен противников марксизма — от Каутского до Кондратьева. Это могло означать, что отныне они займут особое место в ряду ученых-экономистов и на них будет сосредоточен наиболее мощный прицельный огонь критики.

Однако вышло по-иному: критика и для Чаянова, и для некоторых других оказалась уже пройденным делом. Следующим для них этапом стал арест.

В выступлении Сталина имелись и принципиально новые теоретические установки, коснувшиеся на практике судеб миллионов людей. Так, Сталин заявил, что «мы перешли в последнее время от политики ограничения эксплуататорских тенденций кулачества к политике ликвидации кулачества как класса...».

И далее поставил вопрос, показавшийся ему почему-то смешным: «Ну, а как быть с политикой раскулачивания, можно ли допустить раскулачивание в районах сплошной коллективизации? — спрашивают с разных сторон. Смешной вопрос!.. Теперь раскулачивание в районах сплошной коллективизации не есть уже простая административная мера. Теперь раскулачивание представляет там составную часть образования и развития колхозов. Поэтому смешно и несерьезно распространяться теперь о раскулачивании. Снявши голову, по волосам не плачут».

И еще на один вопрос, тоже показавшийся смешным, ответил Сталин: «Не менее смешным кажется другой вопрос: можно ли пустить кулака в колхоз. Конечно, нельзя его пускать в колхоз. Нельзя, так как он является заклятым врагом колхозного движения».

Выступление Сталина на конференции было воспринято практическими работниками как руководство к действию. Если в момент произнесения речи в колхозах было чуть больше 20 процентов крестьянских хозяйств, то к марту 1930 года

их стало уже более пятидесяти. Обобществлялся весь рабочий скот и все коровы, до 80 процентов свиней, 60 процентов овец и т. п.

Указания о порядке и способах ликвидации кулацких хозяйств были даны лишь в конце января — начале февраля 1930 года, когда раскулачивание уже шло полным ходом и плакать приходилось не только по снятым волосам.

Извращения принципов и методов коллективизации были столь вопиющи, что Сталин был вынужден написать статью «Головокружение от успехов», осудив перегибы, но и одновременно свалив вину за них на местных работников.

Говоря об этом сложном времени, М. С. Горбачев указывал, что «жесткая система централизации и командования была недопустима при решении задач преобразования деревни... На новом этапе не хватило по-ленински внимательного отношения к интересам трудового крестьянства. И главное — недооценили того факта, что крестьянство как класс коренным образом изменилось за годы после революции. Основной фигурой стал середняк. Он утвердился как хозяин, этот крестьянин-труженик, получивший землю от революции и за целое десятилетие убедившийся в том, что Советская власть — это и его власть...

И если бы больше посчитались с объективными экономическими законами и было бы проявлено больше внимания к тем социальным процессам, которые происходили в деревне; если бы вообще отношение к этому огромному массиву трудового крестьянства, большинство которого участвовало в революции и защищало ее от белогвардейщины и интервентов, было политически более выверенным; если бы последовательно проводилась линия на союз с середняком против кулака, то не было бы и тех перегибов, которые имели место при проведении коллективизации.

Сегодня ясно: в огромном деле, которое затрагивало судьбы большинства населения страны, было допущено отступление от ленинской политики по отношению к крестьянству. Руководство этим важнейшим и очень сложным социальным процессом, где очень многое зависело от местных условий, осуществлялось преимущественно административными методами. Возникла убежденность, что все проблемы можно решить одним махом в кратчайшие сроки... Не обошлось без перегибов в проведении борьбы против кулачества. Сама по себе правильная линия на борьбу с кулачеством зачастую так широко трактовалась, что захватила и значительную часть середняков».

В домашнем архиве Василия Александровича Чаянова, сына ученого, неведомо какими судьбами сохранилась карточка отдела кадров НИОСЗ (Научно-исследовательского института основ социалистического земледелия), как стал называться прежний НИИ сельхозэкономии. Карточка заполнена его отцом 12 мая 1930 года. В ней он сообщал о себе следующее:

«Родился в 1888 году. Окончил Москов. С. Х. Институт (ныне Тимиряз. С. Х. Академия) в 1910 году. Был два года аспирантом с 1910 года и год в научной заграничной командировке. С 1913 года работаю сначала в качестве доцента, а с 1918 года в качестве профессора ТСХА. Магистерский экзамен сдал в 1918 году. С 1919 по 1928 состоял директором Института СХ Экономии, ныне НИОСЗ. Работал на руководящих постах с. х. кооперации с 1915 по 1920 год, в 1921—1923 был членом коллегии Наркомзема РСФСР. Написал более 300 печатных листов, напечатанных по-русски, украински, немецки, японски, английски и французски. В настоящее время выходит книга «Организация крупного хозяйства эпохи социалистической реконструкции земледелия», около 30 печатных листов.

12 мая 1930 года».

Заполняя этот листок, думал ли Чаянов, что история его жизни подходит к концу?..

В эти дни готовился XVI съезд партии, давший установку на «форсирование темпов создания материально-технической базы социализма, на ликвидацию всех капиталистических элементов в стране».

Последняя установка оказалась для А. В. Чаянова очень уж личной: через неделю после съезда, 21 июля 1930 года, его арестовали. Это произошло в здании Президиума ВАСХНИЛ в Большом Харитоньевском переулке...

Чаянов сидел в тюрьме, а органы ОГПУ энергично вели следствие.

Осенью 1930 года было объявлено, что в СССР до недавнего времени существовали три основные вредительские организации — Промпартия, «Трудовая крестьянская партия» и «Союзное бюро меньшевиков». «Они объединились на общей платформе, предусматривавшей свержение Советской власти при помощи вооруженной интервенции международного империализма и реставрацию капитализма в нашей стране»,— писал впоследствии уже знакомый нам историк И. Я. Трифонов.

Во главе одной из этих контрреволюционных организаций — «Трудовой крестьянской партии» (ТКП) — как выяснялось, стояли Кондратьев и Чаянов.

«В ноябре 1930 года,— писал И. Я. Трифонов,— было опубликовано обвинительное заключение по делу Промпартии, которая оформилась в конце 1927 — начале 1928 года на базе существовавшей с 1925 года вредительской контрреволюционной организации «Инженерный центр». Промпартия объединяла деятельность всех вредительских организаций в области промышленности. Она создала разветвленную сеть вредительства по всей стране, в которую входило около двух-трех тысяч высококвалифицированных инженеров и техников». В числе ее руководителей были названы профессор Рамзин — директор Теплотехнического института, член Президиума ВСНХ; профессор МВТУ, член Президиума Госплана Калинников и другие.

Процесс Промпартии, проходивший в Москве с 25 ноября по 7 декабря 1930 года, доказал ее связь с другими вредительскими контрреволюционными организациями, в частности с меньшевистским «Союзным бюро» и с «Трудовой крестьянской партией».

Было заявлено, что летом 1929 года член ЦК меньшевиков Броунштейн, приехавший в СССР из-за границы, дал установку меньшевикам на союз с ТКП, и с этого времени «Союзное бюро» всю свою деятельность направляло на подготовку антисоветской вооруженной интервенции. По их наущению ТКП должна была действовать среди кулаков и богатых крестьян и подготавливать контрреволюционные мятежи в деревне.

«Во главе ТКП,— писал И. Я. Трифонов,— находились Кондратьев, Чаянов, Челинцев — люди, которые проповедовали идеологию кулачества, отстаивали «общность интересов кулака и середняка». Группа Кондратьева — Чаянова выступала против коллективизации и в защиту кулацкого хозяйства, против социалистической индустриализации и особенно против развития тяжелой индустрии... В начале 1928 года профессор Юровский встречался в Париже с руководителем «Республиканско-демократического центра» белой эмиграции Милюковым и обсуждал с ним вопрос об антисоветской интервенции... ТКП считала своим идеалом буржуазно-демократическую республику, стояла за восстановление частной собственности на землю и передачу промышленности в руки частных акционеров. В качестве основного средства для свержения Советской власти и реставрации буржуазного строя выдвигались вооруженная интервенция и вредительство...

Чувствуя свое бессилие и оторванность от масс, вредители из ТКП двурушничали. На словах выступая за социалистическое строительство, они... дошли до того, что заражали семенные фонды и скот, выводили из строя машины».

Перед началом процесса Промпартии — 25 ноября 1930 года — мимо Дома союзов, где вскоре должно было начаться первое заседание суда, прошли 1200 тысяч москвичей, единодушно требовавших: «Расстрелять контрреволюционную сволочь!»

Председательствовал на суде А. Я. Вышинский. Восьми подсудимым предъявлялось обвинение в организации антисоветского заговора, руководстве вредительством и подготовке иностранной военной интервенции — сначала силами Румынии и Польши с последующим привлечением к этой авантюре Литвы, Латвии, Эстонии, а затем Югославии и Чехословакии. В нападении на СССР, говорил Вышинский, должны были принять участие и врангелевские недобитки. Управлял же всем этим антисоветским сбродом французский Генеральный штаб.

Шаг за шагом на процессе раскрывались все новые и новые преступные замыслы контрреволюционеров.

Привлеченный к судебному разбирательству в качестве свидетеля профессор Л. Н. Юровский 30 ноября показал, что он, будучи членом ТКП, в течение трех-четырех лет поддерживал контакты с Промпартией. Однако Вышинский тут же предупредил Юровского, что из-за продолжающегося по делу ТКП следствия ему можно говорить на суде лишь о действиях Промпартии. Юровский показал далее, что определенная подрывная работа велась заговорщиками и в Красной Армии и это осуществляли Кондратьев и Чаянов, которого ТКП прочила на пост будущего министра земледелия.

За министерские посты руководство ТКП, оказывается, собиралось щедро расплатиться с интервентами: Польше была обещана часть Украины, Румынии — Бессарабия и Одесса.

Как видим, имя А. В. Чаянова активно упоминалось на политическом процессе, однако в числе обвиняемых его еще не было и на суде он не присутствовал даже в качестве свидетеля.

Приговор по делу Промпартии был суров. Пятеро главных обвиняемых — Л. К. Рамзин, И. А. Калинников, В. А. Ларичев, Н. Ф. Чарновский и А. А. Федотов — были приговорены к расстрелу, остальные трое — к десяти годам лишения свободы.

Однако Президиум ЦИК СССР по ходатайству осужденных заменил расстрел десятью годами лишения свободы и снизил сроки заключения другим обвиняемым. (Впоследствии профессор Рамзин был освобожден в связи с тем, что в заключении решил ряд важных технических проблем и даже стал лауреатом Сталинской премии и кавалером орденов Ленина и Трудового Красного Знамени.)

Процесс Промпартии закончился 7 декабря 1930 года, но следствие по делу ТКП продолжалось.

Ее новые преступления обнаружились в ходе следующего крупного политического процесса по делу контрреволюционной организации меньшевиков, который начался 1 марта 1931 года в Колонном зале Дома союзов под председательством Н. М. Шверника.

Перед судом предстали четырнадцать меньшевиков, занимавших ответственные посты в Наркомторге, Институте Маркса и Энгельса, ВСНХ, Госбанке, издательстве «Советская энциклопедия», Наркомвнешторге, Центросоюзе, Финансово-экономическом институте.

На первом же заседании государственный обвинитель Н. В. Крыленко попросил пригласить в судебное заседание ше-

стерых свидетелей. Среди них был назван Н. Д. Кондратьев — «для установления связи контрреволюционной организации меньшевиков — социал-демократов в лице подсудимых с контрреволюционной кулацко-эсеровской организацией Кондратьева — Чаянова».

В утреннем заседании 4 марта Н. Д. Кондратьев показал, что контрреволюционной организации Кондратьева — Чаянова было известно о существовании меньшевистской контрреволюционной организации, а блок между ними возник в середине 1928 года. Кондратьев добавил, что если с меньшевиками у его организации был политический блок, то по отношению к Промпартии их сотрудничество можно было характеризовать лишь как «соглашение». Кондратьев признал, что однажды имело место и совместное заседание трех контрреволюционных организаций, идеологической основой которых был антисоветизм, а общей целью — реставрация капиталистических отношений. В области же тактики и меньшевики и «кондратьевцы» считали необходимым поддерживать «правых» в ВКП(б), вести борьбу с Советской властью как легальными, так и нелегальными методами, а также использовать в своих целях и иностранную военную интервенцию против СССР.

Приговор, зачитанный Н. М. Шаерником, неожиданно оказался более чем мягким. Обвиняемые, признанные виновными в организации заговора с целью свержения Советской власти, во вредительстве и подготовке иностранной военной интервенции, были приговорены к лишению свободы на срок от двух до пяти лет, причем время, уже проведенное ими в тюрьме, засчитывалось в срок приговора.

Решение суда казалось по меньшей мере странным, ибо в это же время за безобидный анекдот приговаривали к гораздо большим срокам лишения свободы.

А открытый процес над «Трудовой крестьянской партией» так и не состоялся.

«По сегодняшней (1987 г. — **В. Б.**) оценке компетентных органов в центральных и периферийных государственных архивах отсутствуют какие-либо сведения о существовании ТКП. Добавим, что более тысячи человек, арестованных на периферии в 1930—1932 гг. за принадлежность к ТКП, в настоящее время реабилитированы «за отсутствием события или состава преступления...» — писала в августе прошлого года газета «Московские новости». Доктор исторических наук профессор В. П. Данилов в интервью той же газете сказал: «Единственный опубликованный «документальный» материал об образовании и деятельности ТКП — показания обвиняемых и свидетелей на «процессе меньшевиков». Все эти показания представляли собой «признания», которые уже тогда стали рассматриваться в качестве «лучшей улики при всех обстоятельствах» (это утверждалось в обвинительной речи Н. Крыленко на процессе Промпартии в разделе с весьма знаменательным заголовком «Почему сознаются подсудимые»).

Как бы то ни было, но открытого суда над Чаяновым не было. Сначала какое-то время он сидел в тюрьме, а затем был сослан в Казахстан.

О его пребывании там достоверных сведений нет.

После ареста Александра Васильевича Ольгу Эммануиловну заставили развестись с мужем — врагом народа.

На руках у нее остались двое мальчиков — девятилетний Никита и Вася шести лет — и двое стариков: ее отец Э. Л. Гуревич и свекровь Е. К. Чаянова.

Знакомые и приятели отвернулись от их семьи, даже верный друг и родственник С. А. Клепиков боялся появляться в их новом доме: из старого — академического — их тут же выселили, имущество конфисковали. Семья, жестоко нуждаясь, распродавала огромную библиотеку Александра Васильевича.

В 1937 году Ольгу Эммануиловну арестовали и сослали на десять лет в Мордовию, а дети остались на руках бабушки и деда.

Арест Ольги Эммануиловны скорее всего был связан с тем, что в том же году А. В. Чаянову предъявили новые не менее нелепые обвинения. 3 октября 1937 года он был приговорен к расстрелу и через полтора года (!), 20 марта 1939 года, расстрелян.

Когда началась война, Ольга Эммануиловна оставалась в ссылке, а сыновья Чаяновых ушли на фронт. Сначала — старший сын, девятнадцатилетний Никита. (Он оказался необычайно одаренным юношей, но судьба Никиты, как и многих его сверстников, сложилась трагически. 16 октября 1941 года он, имея очень плохое зрение, записался в армию добровольцем и вскоре погиб, защищая Москву.)

В 1943 году ушел на фронт и младший сын Чаянова — восемнадцатилетний Василий. Он стал танкистом и воевал до Победы. Скромный человек, Василий Александрович не любит рассказывать о себе, полагая, что героем рассказа должен быть его отец и никто другой.

— Вот, остался жив, — говорит он и смущенно улыбается. — С танкистами это случалось редко. А я вот остался. Правда, под Мариамполем все же зацепило.

В армии он служил до 1950 года. Там же узнал, что Ольга Эммануиловна в 1947 году вышла на свободу, но через год снова была арестована, снова сослана и вернулась обратно лишь в 1955 м.

В ссылке Ольга Эммануиловна выучилась на ветеринарного фельдшера. Тем и жила. Когда пошла первая волна реабилитаций, О. Э. Чаянова начала борьбу за возвращение ее покойному мужу доброго имени. Это было небезразлично и для нее самой, и для ее сына. Она неоднократно обращалась с прошениями в Прокуратуру Союза, в Верховный суд СССР, в президиумы партийных съездов, — ответ был один: А. В. Чаянов реабилитации не подлежит, хотя уже в 1956 году ей выдали по меньшей мере странную справку, что «в отношении А. В. Чаянова, бывшего профессора Сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, директора Института крупного хозяйства, консультанта Правления «Зернотреста» — дело прекращено за отсутствием состава преступления и факта события».

Однако о реабилитации по всем делам, кроме дела 1937 года, в справке не говорилось ни слова.

Ольга Эммануиловна умерла осенью 1983 года, так и не добившись реабилитации Александра Васильевича. Василий Александрович, получив летом 1986 года отказ, все же верил в то, что наступили времена справедливости, и продолжал надеяться.

И 16 июля 1987 года Александр Васильевич Чаянов был посмертно реабилитирован.

Вместе с ним — также посмертно — были реабилитированы и еще четырнадцать ученых, попавших в ссылку и тюрьмы в то же самое время, что и А. В. Чаянов. Это были — Н. В. Гендзехадзе, А. Г. Дояренко, Л. Б. Кафенгауз, Н. Д. Кондратьев, И. Н. Леонтьев, Л. Н. Литошенко, Н. П. Макаров, А. А. Рыбников, А. В. Тейтель, А. О. Фабрикант, О. А. Хауке, С. К. Чаянов, А. Н. Челинцев и Л. Н. Юровский.

Но все приходит на круги своя... И Теодор Шанин, завершая лекцию о великом ученом и гражданине Александре Чаянове, сказал:

— Чаянов сегодня интересен для всего мира, потому что весь крестьянский мир развивается по тем законам, которые были открыты им более шестидесяти лет назад.

Он начал изучать экономику не с понимания уровня общества (под «уровнем общества» Т. Шанин, очевидно, подразумевал тип общественно-экономической структуры. — **В. Б.**), а поднимаясь снизу вверх — от фундаментальных ячеек к обществу в целом. Он начал исследовать уровень общества с низовых ячеек — индивидуальных трудовых крестьянских хозяйств, — считая их кирпичиками социального мироздания.

Эти ячейки, продолжал Шанин, оказались столь же вечными, как и само мироздание. Трудовая крестьянская семья, возникшая на заре человеческой истории, пережила известные нам общественно-экономические формации, продемонстрировав невиданную стойкость и способность к выживанию.

Заинтересовавшись этим феноменом, Чаянов нашел подходы к решению многих проблем этой вечной социальной категории.

В грядущей коллективизации ему виделась опасность, нависшая над основополагающими структурами русской деревенской жизни и ее историческими судьбами. Исходя из того, что сами крестьяне, привыкшие главенствовать в одной-двух семьях, не сумеют руководить десятками и сотнями семей, организованных городскими властями в кооперацию «по горизонтали», то есть в колхоз, Чаянов предвидел конфликт между сельскими тружениками и присланными из города руководителями. Он предлагал создавать кооперацию «по вертикали», не обобщая все, что имелось у крестьян, ибо в этом случае он предвидел множество поводов для возникновения конфликтов.

Где оптимум? Как связать воедино новые хозяйственные структуры с извечными крестьянскими интересами? По мнению Чаянова, кооперация, идущая снизу вверх, была бы самой органичной и самой безболезненной формой организации и, кроме того, становилась подлинной школой коллективного хозяйствования, из которой со временем должны были выйти крестьянские руководители.

Кроме того, трудовое крестьянское хозяйство не потребовало бы от государства ни копейки денег на оплату труда. Крестьяне работали бы авансом на конечный результат, получая деньги только после того, как они сдавали готовую продукцию. Успехи в развитии сельского хозяйства Китая, Венгрии, Индии, наиболее успешно развивающихся стран Африки и Латинской Америки, сказал далее профессор Шанин, объясняются тем, что они идут по пути, предсказанному Чаяновым. Италия и Япония, использовав в сельскохозяйственном производстве семейные формы, резко вырвались вперед, и Италия догнала Англию, а Япония — США.

Сейчас вокруг имени Чаянова и вокруг оставленного им теоретического наследства не утихают жаркие споры. Его называют то толстовцем, то неонародником, то вульгарным материалистом. Он намного больше любой из этих категорий. Главное в нем — его полет, мощь его теоретического гения. Мышление, сплавленное воедино с этикой и эстетикой, делало его великим человеком.

Профессор сделал паузу и произнес:

— Есть законы жизни и смерти, и есть законы Возрождения. Чаянов воскрес по закону Возрождения и вернулся в свою страну, чтобы теперь остаться в ней навсегда.

●

В девятой книжке журнала за прошлый год была опубликована статья А. Ананьева «Земля», которая вызвала широкий общественный резонанс. Предлагаем вашему вниманию подборку писем наших читателей.

Дорогая редакция!

Спасибо за статью писателя А. Ананьева «Человек на земле». Это, пожалуй, одна из лучших публицистических статей года.

Одна из главных ее идей — организация крестьянского труда на основе семейного и звеньевого подряда. Именно благодаря этому, как показывает практика и логика здравого смысла, можно было бы органически соединить интересы сельского труженика с коллективными, общественными. И приходится только сожалеть, что идея, о которой идет речь, входит в наше общественное сознание поздно, когда многие черты, присущие крестьянину,— любовь к земле, трудолюбие, бережливость, чувство хозяина,— почти утрачены. Для последовательной реализации этой идеи нужен «архангельский мужик», а его-то нам сейчас и недостает: на путях борьбы за коллективистскую деревню оборвалась преемственность поколений.

Летом этого года я был в родной деревне Тульской области. Из подвалов выносили сгнившую картошку, чтобы погрузить на машины и свалить в какие-нибудь ямы. На мой вопрос: почему погублена картошка? — работавшие иронически напели слова известной песни «Все кругом колхозное, все кругом мое» (кстати, песня моей молодости). На душе стало горько. Невольно вспомнились рассуждения одного из героев романа А. Рыбакова: «А у нас добро казенное, вот и приходится его беречь по-казенному». С грустью приходится отмечать, что на негативном опыте нашей деревни зримо подтвердилась известная мысль К. Маркса о том, что идея неизменно посрамляла себя, как только она отделялась от интереса.

Приди идея всеобщего семейного подряда в наше общественное понимание, скажем, где-то вскоре после войны, когда трудились наши отцы и матери, знавшие и любившие землю, многое сейчас было бы иначе. По крайней мере мы не имели бы понятия о Продовольственной программе, не покупали бы хлеб у капиталистов (в период нэпа мы его сами им продавали по 150 миллионов пудов в год).

А еще лучше — в самом начале тридцатых годов. А ведь идея коллективизации, развития кооперации в деревне на основе семейного товарного производства в ту пору вынашивалась. В частности, ее активно разрабатывала школа А. В. Чаянова, объединявшая большую группу крупных экономистов. Все они были осуждены и трагически погибли. Летом 1987 года Прокуратура СССР их реабилитировала. Так что у идеи семейного подряда имеются теоретические источники, уходящие корнями в 20-е годы. И хотелось бы услышать добрые слова в адрес группы А. В. Чаянова, подчеркнуть созвучность ее экономических идей нашему времени, стратегии перестройки [1].

Статья А. Ананьева имеет глубокий подтекст. В частности, проглядывает мысль: а не являлась ли наша политика сплошной коллективизации по методам, темпам и срокам отходом от ленинского кооперативного плана?..

Сплошная коллективизация решала ряд социальных проблем, но решала их таким образом, что в итоге крестьянин оказался усредненным человеком со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями, которые почти всецело резюмируются в одном пункте — в утрате человеком чувства хозяина на земле.

Нам еще предстоит преодолеть известное предубеждение: «Без жесткой продразверстки, без постоянного пресса на колхозную деревню мы не имели бы источников для решения проблем индустриализации». По сути и духу идея этой формулы идет от Троцкого («диктатура промышленности», «эксплуатация деревни»). Но то, что Троцкий выражал в теории, Сталин в данном случае осуществил на практике. Бесспорно, это высказывание по крайней мере не лишено известного основания. В. И. Ленин неоднократно подчеркивал, что продразверстка необходима и оправданна только в одном случае — в ситуации экстремальных, военных условий. В других же условиях она негативна, деструктивна. Издержки этого пути убедительно показаны в статье А. Ананьева.

Но не являются ли приведенные размышления и выводы очернительством соответствующего исторического пути? Нет, не являются. Следует отличать линию исторического развития от методов и форм ее осуществления. Линия нашего развития на всех этапах советского общества была правильной. И с этой точки зрения народ никогда не терял веру и светлые надежды. Даже при самых неблагоприятных условиях, когда вроде бы и не было экономических стимулов, люди трудились, проявляя энтузиазм и политическую сознательность. Однако в плане методов и форм, сколько я себя помню в сознательном возрасте, у тружеников села постоянно возникали очень непростые вопросы. Почему только сверху и только по указке? Почему надо так, а не иначе, ие по здравому смыслу? Почему не считаются с нашими интересами и возможностями? И десятки других «почему?». Эти вопросы действительно были трудные, а главное — нерешаемые. И мы должны поклониться деревне за ее беспримерное терпение и выдержку.

И последнее. Инстинктивно людей деревни всегда тянуло к естественному, гармоничному. И как часто спускаемые сверху директивы противоречили этому естеству крестьянской натуры, здравому смыслу! Ценность статьи А. Ананьева еще и в том, что в ней убедительно подчеркнут диссонанс директивного и естественного, человеческого. Получалось так, что во многих случаях деревне больше мешали, чем помогали. Психологически рвалась цепочка связи между «архангельским мужиком» и вышестоящими директивными органами.

В сентябре прошлого года вышло постановление ЦК КПСС «О неотложных мерах по ускорению решения продовольственного вопроса в соответствии с установками июньского (1987 г.) Пленума ЦК КПСС». Постановление, с одной стороны, подводит известную черту под недавним прошлым нашей деревни, а с другой — указывает на ее принципиально новую перспективу. Определены, по существу, все крупные потенциальные возможности современной деревни. Семейный и индивидуальный подряд, многообразные формы коллективного подряда, аренда земли на длительный срок, агрокомбинаты и агрофермы. Такое разнообразие форм и методов организации сельскохозяйственного производства позволит привести в действие весь созидательный потенциал нынешней деревни. И хочется верить, что цепочка связи между ее рядовыми тружениками и самыми высокими директивными органами будет впредь укрепляться и расти. В этом — главная надежда.

В. Ф. Овчинников, зав. кафедрой философии, доктор философских наук, профессор, г. Калининград

[1] См. очерк В. Балязина «Возвращение», стр. 141.

Статья А. Ананьева «Земля» достоверна во всем и не нуждается ни в какой степени в опровержениях. Наоборот, ее защита остро нуждается в неопровержимых доказательствах того, как варварски обращаются с землей не только в деревне, но и в городе. Ее не только увечат, сознательно делают бесплодной, но и методически разрушают. Докладов, речей с любых трибун крайне недостаточно.

Журнал, 10 тысяч писателей в состоянии наглядно показывать, кто является и может быть настоящим хозяином на земле.

Колоссальный аппарат управления и руководства слишком далек от земли, хотя и живет на ней и чаще, чем кто-либо другой, ездит по ней. Он должен непременно и безотлагательно сокращаться до минимума в пользу землепользователей. Механизатор не может быть коммивояжером. Он должен быть рачительным хозяином, как и любой другой человек, работающий на земле.

Закон должен точно соответствовать нормам и правилам пользования землей, а его издание уже не может затягиваться.

П. А. Летов, член КПСС с 1940 года, ветеран войны, г. Фролово Волгоградской обл.

Дорогой Анатолий Андреевич!

Полностью согласна со всеми положениями Вашей статьи «Земля». То, что Вы предлагаете, настолько назрело, что если не сделать этого, не передать землю мужику, то рухнем мы во вселенскую катастрофу. Но... во-первых: найдется ли теперь столько «архангельских мужиков», которые согласны взять снова матушку-землю? Молодежь-то не имеет вкуса, привычки, привязанности к земле, ее не так воспитали; во-вторых, очень боюсь, что все витийство нашей прессы, всех умных мужиков — от писателей до экономистов — разобьется о стенку бюрократизма и наплевательского отношения государственных органов к мнению общественности (о народе уж и не говорю — он давно превратился в нечто вроде присловья, в некое ораторское украшение речи).

Думаю так потому, что помню, как 20—25 лет назад шла в прессе бурная дискуссия в защиту Байкала. Сколько ученых с мировым именем, писателей, журналистов доказывали необходимость запрета промышленного строительства на берегу сего уникального озера! А ведь не отстояли, и целлюлозный комбинат уже основательно подпортил там водичку. Боюсь, что и сейчас дальше словесной революции дело не пойдет. На словах-то все за перестройку, а на деле продолжают разваливать хозяйство страны, как и десять, и двадцать лет назад.

Почти всю жизнь я проработала в районных газетах, нагляделась всякого и, не доработав до пенсии года три, ушла: не было сил выдавать черное за белое. Летом нынешнего года два месяца работала в райгазете Ферзиковского района Калужской области. Что и говорить: работать теперь стало интересно, поскольку гласность. И я писала серьезные аналитические статьи, их читали, что называется, взахлеб даже работники райаппарата: «Мы каждый номер смотрим, что там опять Валентина Васильевна пишет». Читать-то они читали, а мер по моим выступлениям никаких принято не было. Что же изменилось? Но не хочу больше сотрясать воздух бесцельно.

Извините, растревожили Вы меня... Очень, очень хочется, чтобы наступили желанные перемены, но, увы! Трудно в них поверить, ибо даже правительственные постановления не в силах ничего изменить. Взять хотя бы затронутый Вами вопрос о подъеме Нечерноземья. Я тогда как раз была редактором Ульяновской районной газеты, когда оно вышло в свет. Цикл статей опубликовали на эту тему в нашей газете, ждали, что вот-вот начнется, надеялись, хоть дорогу построят по непроезжим нашим гатям. Но время шло, и ничего не менялось, мешок цемента стал проблемой для колхозов...

Примерно через год состоялся в Калуге семинар журналистов Российской Федерации, пишущих по проблемам сельского строительства. Ораторы были подготовлены заранее и блистали эрудицией: «Ижевский вариант», «Прибалтийский вариант». В общем, обычное толчение воды в ступе и ничего конкретного. Попросила и я слова. Начальство в президиуме пожало плечами, но решило сыграть в демократию, и мне дали возможность выступить. Меня черт и понес: «Не хватит ли ходить вокруг да около? Не пора ли от слова переходить к делу? Мои ульяновские женщины мечтают не о хоромах, а о простом, но прочном жилье, да хорошо бы еще с водопроводом. Они заслужили это!»

У одной у меня и было живое слово. Фотографы засуетились, снимают меня! Хаханьки, да и только. Не надо мне снимка в газете, но хоть бы упомянули в отчете, опубликованном нашей областной газетой, что, мол, Страздиньш там говорила. Да кому оно нужно было тогда, мое выступление, если семинар этот был ради галочки? То-то хохотали, поди, его организаторы над моей наивностью! А у меня, дуры, даже голос пресекся, как вспомнила об этих ульяновских страстотерпицах, как они на себе за 30 и за 40 километров носили семена, как на себе пахали землю под посев, а теперь живут в развалюшках, и никому до них дела нет. Диво ли, что они детей своих в город спровадили? «Устраивайтесь там, детки, как-нибудь зацепляйтесь, только прочь из деревни, где, сколь ни работай, все ни в честь, ни в славу!»

Горько, горько все это вспоминать, тем более что за прошедшие с тех пор годы ничего не изменилось в лучшую сторону, а в худшую — сколько угодно. Еще больше состарились те женщины, и если у кого дети были, взяли их в город. А у многих не было детей, не нашлось после войны мужа. Эти-то бобылки живут в развалюшках, как наказанные кем-то и неизвестно за что. А, да что говорить...

В. В. Страздиньш,
г. Калуга

Соглашаясь с болью автора и его заботами, думаю, что есть недосказанное. А именно: что дает город, а что — село. В городе — 8 часов работы, магазины, кино, театр, асфальт, метро, трамвай, а потом и в теплый быт. И деньги — 150—300 рублей.

А в деревне? Как пишет Анатолий Ананьев, работа по 12 часов в холод, не в теплом цехе и не за 150—300, поскромнее. А после работы? В магазин? Пусто, стыдно сказать как. Где же театры, рестораны и подземки?

Стыдно, но надо признаться, что за счет деревни мы живем. Они плохо работают! Ну, так бросай свой уют да и помоги деревне. Э, брат, никак! Подохнешь от скуки, грязи и т. д. Не с иронией пишу. Заел город деревню. Я бы прямо назвал это остаточным крепостным правом. Нынче говорят, что в кабинетах агропрома вновь восседают сотни здоровых бездельников. Пусть уж сам колхоз, совхоз научится выходить на потребителя и сам сформирует необходимый для этого орган.

Г. И. Кухтин,
ЭССР, г. Эльва

Дорогой товарищ Ананьев!

После прочтения Ваших соображений о возрождении земли и сельского хозяйства (а у нас, в России, это уже стало почти традицией — большие вопросы политики и философии сперва всегда поднимают крупные писатели) у меня появилась к Вам небольшая просьба. Знаете ли Вы и не можете ли дать адреса ученых-экономистов, у которых есть конкретные и детальные научные разработки по новой системе хозяйствования (аренда земли и средств производства, хозрасчет на уровне семьи, звена, бригады, отделения, совхоза в целом, чековая или еще какая система учета затрат труда и т. д.), которые бы пожелали приехать в село и заняться конкретным внедрением своих разработок в масштабе района или области?

Я хочу обратиться к районному и областному руководству с предложением поднять наше местное сельское хозяйство именно таким способом, который сейчас буквально носится в атмосфере нашего общества и восходит к идеям Ленина, — отсутствие мелочной, командно-бюрократической, барско-господской опеки крестьянина верхами и сверхраздутой отчетности низов перед ними, отчуждающей людей от земли; сильнейшая личная заинтересованность крестьян в результатах своего труда (своим прибавочным продуктом распоряжаются только они; если кто-то другой — это уже капитализм); продналог вместо продразверстки (которая является принудительным присвоением чужого труда, неэквивалентным обменом, то есть все тем же капитализмом, эксплуатацией одних другими: крестьянина — промышленностью и т. д.); крупная, могучая техника, арендуемая у совхоза или государства, и т. д.

Но у меня есть на этот счет только самые общие теоретические соображения, а если же заняться разработкой конкретных и детальных предложений, то на это уйдет несколько лет. Так что, думаю, нужны разработки уже готовые, чтобы не затягивать дело, разработки, на которые людьми потрачены, возможно, многие годы и которые можно предложить руководителям района и области. А мне самому хотелось бы вместе с их авторами участвовать во внедрении этих идей. Научные консультанты (особенно что касается самых сложных и трудных моментов внедрения) могли бы стать комиссарами, поднимающими людей на новое дело.

Наверно, можно было бы пообещать этим людям обсуждение их задумок рабочими и крестьянами и внедрение их сразу в нескольких десятках совхозов и колхозов, где найдутся (а точнее, выберутся) руководители, тоже воспринимающие новые идеи и веяния новых, более разумных и очеловеченных общественных отношений.

Итак, раз Вас очень волнует судьба земли и земледельца на ней, раз Вы делаете сильнейшие попытки поставить проблему в общефилософском и общесоциальном плане, то помогите, пожалуйста, если можете, предпринять кое-какие шаги в плане практического решения проблем.

Я буду Вам очень благодарен за знакомство с единомышленниками, но в еще большей степени мне доставит удовольствие, если мы сами окажемся близкими единомышленниками и вместе примемся за агитацию районного и областного руководства Северного Казахстана заняться более любовью дышащей и дарящей тепло людям системой земледелия, чтобы наша земля действительно превратилась в цветущий сад, удивительный цветок, забывший о совсем недавнем сверхнасилии, сверхэксплуатации и живущий в самом свободном и дерзновенном труде и творчестве.

И. И. Жуковский,
Северо-Казахстанская обл.,
Тимирязевский район, совхоз «Степной»

Прошу передать А. А. Ананьеву теплую благодарность за «Землю», за душевную искренность, в нее вложенную, за душевную боль... Больше я сознательно ничего не говорю, ибо сказать надо бы слишком многое... (Я родился в 1918 году, видел и отлично помню все.)

С искренним уважением к редакции, которая не по «очередному приказу», а по убеждению (здесь не обманешь!) — вносит посильную лепту в невообразимо трудное, мучительное дело возрождения народа и Родины.

А. А. Меркулов,
г. Ленинград

Глубокоуважаемый товарищ Ананьев!

Я с большим интересом прочитал сообщение в нашей польской печати о Вашем выступлении по вопросу рационального использования земли на встрече в ЦК КПСС руководителей средств массовой информации, творческих союзов с Генеральным секретарем М. С. Горбачевым в июле с. г. К сожалению, мне не удалось прочесть Ваше выступление в оригинале (советская печать стала у нас труднодоступной), но на польском языке оно прозвучало очень по-свойски, а особенно предложение, выражающее пожелание, «чтобы у земли был настоящий хозяин, любящий ее, заботящийся о ее здоровье».

Это великолепное по форме и умное по содержанию предложение так созвучно со словами польской поэтессы Марии Конопницкой —

> Только тому плуг и соха,
> кто эту черную землю любит...

Уже 25 лет я занимаюсь правовой проблематикой сельскохозяйственных земель, в частности теорией сельскохозяйственной земельной собственности в Польской Академии наук. Я опубликовал много книг и научных работ в этой области, в которых всегда защищал право крестьянина на собственную землю. Как Вам, наверное, известно, нашим крестьянам оно было гарантировано несколько лет назад в Конституции ПНР, провозгласившей неприкосновенность этой собственности и гарантирующей постоянство родных сельских хозяйств в социально-экономической системе нашего государства. Эти гарантии быстро принесли плоды в виде производственных результатов, когда Польша впервые в 1986 году приобрела продовольственную независимость — даже с определенным превышением экспорта продовольствия над его импортом. Благодаря этим гарантиям сельское хозяйство и продовольственный рынок — единственный сектор нашего хозяйства, который вышел из экономического кризиса.

Немаловажное значение имеет и факт укрепления доверия польских крестьян к своему рабоче-крестьянскому государству, что, в частности, нашло отражение в беспрецедентном численном росте крестьянской партии, уже ныне насчитывающей свыше полумиллиона членов. Я тоже член этой партии и деятель ее центрального политического актива.

В СССР в условиях национализированной собственности на землю, несомненно, в иной форме придется обеспечить земле такого, как Вы великолепно сказали, «настоящего и любящего ее хозяина». Я убежден в том, что это вполне возможно. Но думается, что это будет необыкновенно трудное дело. Мне интересно узнать, например, склонны ли признать Ваше мнение по этому вопросу советские специалисты земельного права, которых, впрочем, я всех лично знаю? С огромным интересом буду далее

следить за происходящими в этой области переменами в СССР, желая Вам, уважаемый товарищ Ананьев, эффективного воздействия на их ход. А в заключение разрешите мне посвятить Вам еще одну строфу стихотворения поэтессы Конопницкой, образно представляющую привязанность польского крестьянина к своей земле:

И никто, и ничто никаким трудом
Не разорвет того узла,
Что связывает с землей верный народ,
А землю с его духом.

Прошу Вас, товарищ Ананьев, принять сердечные и полные глубокого уважения приветствия и извинить меня за то, что я осмелился Вам написать.

Мариан Блажейчик,
Институт государства и права
Польской Академии наук

Писателю Анатолию Ананьеву.

Я участник двух войн за Родину — финской и Отечественной. До армии пять лет работал на крупном заводе слесарем, учеба. С ноября 1941 года в партии, окончил военную академию, сорок лет в армии, теперь пенсионер. Вот мое «демографическое» лицо.

Прочитал Вашу публикацию, потом перечитал еще раз.

Так бывает со мной всегда, когда прочитанное совпадает с моими мыслями, тревогами, надеждами. Давно думаю, что не может быть в обществе все хорошо, если а деревне человек буквально потерял почву под ногами. Бывал на Украине моей родной, видел ужасающую бесхозяйственность на уборке урожая и то же самое при разгрузке вагонов на овощных базах Подмосковья...

Мне много приходилось выступать перед людьми. Однажды, это было в 60-х годах в Новгородской области, в колхозе после собрания один пожилой мужик задал вопрос: «Мне начислили четырнадцать копеек на трудодень, как быть дальше?» Руки у него натруженные, лицо озабоченное. Этот вопрос засел тогда во мне, как осколок снаряда.

Теперь дела вроде бы получше. Есть колхозы-миллионеры, механизаторы покупают «Жигули», но это лишь отдельные. А вот снова осколком в душе засел ответ зам. председателя Госагропрома корреспонденту газеты. На вопрос, есть ли убыточные хозяйства, он ответил: да, есть — 12 600 в системе агропрома, из них половина — колхозы.

Ведь никогда и нигде, ни при какой формации не могли существовать убыточные хозяйства. А мы их дотациями и сильными личностями стараемся вытянуть. И это творится в 1987 году!

Хочу надеяться, что смелые (оглядываясь на прошлое) публикации, подобные Вашей, побудят и высшие слои нашего общества увидеть нашу действительность без эйфорического восторга, без набившего оскомину выпячивания «преимуществ», а трезво глядя на реальную жизнь.

Мне 73. Удручает то, что почти 70 лет бега с не подкрепленной жизнью идеей не вывели нас на передовые рубежи. Как воспринять то, что, по словам академика Чазова, из-за высокой детской смертности мы занимаем 50-е место в мире по продолжительности жизни, соседствуя с Объединенными Арабскими Эмиратами?

Слушал недавно лекцию в Политехническом музее «Япония сегодня» и только горестно вздохнул. Сколько еще десятилетий нам бежать до уровня этой маленькой островной страны, работающей на 90 процентов на привозном покупном сырье?

Считаю, что наша беда в том, что инициатива труженика города и села скована, связана накрепко. Никто не может проявить себя в любимом деле и получить по труду. Сделал, не сделал, хорошо или плохо — все равно оклад.

Обнадеживает пока что, правда, робкое допущение того, что, по сути дела, складывалось веками — дать землю в полную ответственность семье, бригаде (но не в собственность, ибо это уже будет не социализм).

Опасаюсь, что семейный подряд, как и индивидуальная трудовая деятельность, будет подавлен нашей бюрократией такими условиями, ограничениями и запретами, что отчаявшийся подрядчик и умелец-инициатор махнут рукой на это призрачное начинание и снова пойдут в поденщики.

Сделать решительный шаг к новому в экономике зависит от тех, кто отмечен в Вашей публикации в скобках,— кто не стоит в очередях за «вечнозелеными» помидорами... А может, они опасаются злорадного смеха там, в социально отсталых Японии и США? Что, мол, мы отходим от социализма...

В очередях не стою и я. Иногда, правда, пользуюсь своей привилегией, хоть и стыжусь этой льготы для Героев Советского Союза. Потому что и она в том числе утверждает очереди как нечто неотъемлемое в нашем быту. И пока что-то не видно, при каком еще более развитом социализме они исчезнут.

Болгары смелее нас. Они уже отказались от пустых, назойливых призывов, никого не мобилизующих лозунгов, от штампованных массовых мероприятий.

Как это согласуется с нашими призывами: рабочий должен чувствовать себя хозяином производства, а колхозник — хозяином земли, когда даже председатель колхоза и главный агроном не являются хозяевами своей земли? Они под постоянным изнуряющим давлением директив, указаний, требований, комиссий. Их опыт и знание земли задавлены безудержным стремлением временщиков в районе сегодня выглядеть получше, не заботясь о завтра.

Мы ждем правды, вдыхаем ее, как живительный кислород.

Кто же должен сказать ее? Те, кто поистине является умом, честью и совестью нашего времени,— это наши писатели, публицисты.

В условиях гласности кислород стал поступать в наши легкие, но еще робко. Почему несколько поколений бегут по пути, ведущему во многих вопросах в тупик? Да потому, что у ведущих нет оппонентов. Они напрочь запрещены после 1924 года. Все, в том числе и писатели, были вынуждены восхищаться «новым платьем короля». Оппонента нет и сейчас, но мы надеемся на гласность, которая у нас, правда, прозаучала как некое новое достижение, чуть ли не очередное «историческое». А ведь гласность — неотъемлемая характеристика демократии.

Я не могу надеяться, что это письмо будет прочитано,— это не упрек, просто я предполагаю, как Вы заняты по Вашему призванию и должности. Но уж очень хотелось мне отвести душу, Вы затронули ее до глубины. Теперь есть стимул держаться, протянуть, надеюсь, еще одну-две пятилетки и увидеть своими глазами то ближайшее будущее, лучшее будущее, которому будут соответствовать слова из песни:

Человек проходит, как хозяин
Необъятной Родины своей.

А. Коломейцев,
г. Москва

Добрый день, товарищ Ананьев!

...Раньше я жил и работал в городе, а теперь переехал в село и по возможности работаю в совхозе, повседневно сталкиваюсь с проблемами современного села.

Поводом для письма явилась Ваша статья. Я, как и многие читатели, не мог без волнения читать исповедь о гибнущей земле и всего того, что связано с ней.

Среди многих причин объективного и субъективного характера, приведших к гибели земли и изменению нравственности и психологии крестьянина в худшую сторону, назову, на мой взгляд, некоторые.

Стихийное, разрушительное, наступательное шествие научно-технического прогресса, поощряемого сверху в виде многочисленных постановлений, указов, инструкций, реформ, призывов, лозунгов типа «соединить, приблизить деревню к городу», «физический труд к умственному», «поднять быт сельских жителей до уровня городских». И все эти акции, в сущности, были направлены на то, чтобы выжать из земли как можно больше любой ценой, используя мощную технику во имя производительности труда, плана. Вам все это известно...

Вместо бережного отношения к земле, к почве, как это было в прошлые времена, когда хлебопашец относился к ней, как мать к ребенку, село, как и город, подверглось страшному стихийному бедствию. А именно: с одной стороны, обилие всевозможной техники для обработки, то есть уничтожения земли, увлечение удобрениями, а с другой — на село хлынуло такое количество специалистов с высшим и среднетехническим образованием, различных служащих, что на самой земле стало некому работать. Я имею в виду истинных землепашцев.

Итак, мы пожинаем горькие плоды неуправляемого научно-технического прогресса. Если посмотреть вокруг, то можно заметить на селе (а в городе тоже не меньше) огромное количество и действующей, и ржавеющей, гиблой техники. Ее можно встретить где угодно: в ямах и канавах, в котлованах и на фермах, полях и лугах, на огородах и на пустырях, по обочинам дорог, а в ином совхозе и буквально рядом с конторой. И весь этот обреченный металл, бензин, масло, мазут — вся эта бесхозяйственность говорит о нашем глумлении над землей, самом ценном богатстве общества.

К этой технике прикованы в крупных совхозах сотни так называемых механизаторов, косвенно связанных с землей. Трактористы, комбайнеры, слесари, токари, электрики, кузнецы, инженеры и присланные специалисты из города круглый год, особенно в страду, без конца ее отлаживают, разбирают, собирают, «приспосабливают» к местным условиям независимо от того, каков состав почвы, каков урожай и погодные условия. Эти люди оторваны от земли, ее будущее их не интересует.

Другое грустное последствие НТР — наличие в колхозах и особенно в крупных совхозах огромного количества всевозможных специалистов сельского хозяйства. Если перечислить все их звания, должности и профессии, это займет целую страницу. И, как это ни странно звучит, в основном усилия этих специалистов направлены на ремонт и эксплуатацию техники, на хранение, переработку и реализацию продукции, на учет труда, на что угодно, но только не на охрану в первую очередь и восстановление плодородия земли-матушки.

Понимаю, для многих думающих людей эти факты очевидны. И, наверное, нам следует «умерить» технический прогресс: надо меньше машин, но высокого качества; механизаторы должны быть не только водителями, ремонтниками, но и в первую очередь землепашцами в самом глубоком смысле этого слова; необходимо смелее для пользы дела и охраны земельных угодий сократить всякого рода специалистов, служащих, учетчиков и завов, вернуть их к земле, быть может, и через возможность внедрения семейного подряда; оплату производить не за ремонт и эксплуатацию техники, а за конечный урожай и степень сохранности земли.

В большинстве хозяйств Воронежской, Липецкой и других областей слышится постоянный возглас: некому работать, молодежь не хочет оставаться на селе. Почему некому? У нас есть огромное количество людей, занятых непроизводитель-

ным, некрестьянским трудом, трудом не на земле, а около земли. Они ведь, по существу, мешают работать истинным хлеборобам, которых остается все меньше и меньше. Разве нельзя среди специалистов, должностных лиц, служащих и самих бригадиров создавать семейные звенья? Ведь их, кроме механизаторов, в крупных совхозах работает по 120—130 человек. Просто вернуть их надо на землю, а не отправлять в конторы.

По моему мнению, следует пересмотреть наши взгляды на работу механизаторов. Откуда у них пошла порочная амбиция: видите ли, ему позорно заниматься погрузочно-разгрузочными работами! А кто занимается сейчас тяжелым физическим трудом, без которого работа на земле немыслима? Это пожилые уставшие женщины, чьи сыновья и дочери убежали в город за комфортом, это учащиеся техникумов и ПТУ, это временно-сезонные рабочие, это приглашенные городские жители.

Нельзя без грусти вспоминать сейчас статьи философов о слиянии физического тяжелого труда с умственным в сельском хозяйстве. Но труд на земле всегда был нелегким, зато и радость была большая от его результатов.

Так вот, есть смысл создавать семейные бригады, звенья из всех категорий жителей села. Проще говоря, пусть сельский житель из полугородского снова станет сельским и чтобы он не стыдился своей черновой работы. А для этого, и Вы здесь глубоко правы, надо юридически (Закон о землепользовании), финансово все это оформить. Без лишней суеты и трескотни, по-деловому, ибо сберечь землю от стихийных процессов — задача не менее важная, чем сохранить мир на планете.

Мне кажется, неплохо бы в масштабе страны создать Фонд охраны земли, как уже создали Фонд мира, Фонд культуры, Фонд охраны детей.

Человека, который наносит вред земле, надо предавать осуждению и наказанию, как браконьера.

Теперь нужно считать героем не только того, кто добился высоких урожаев, но и того, кто оберегает, сохраняет землю. Ведь одна из причин нынешней бездуховности и примитивного потребительства городской и сельской молодежи, и это тоже всем ясно,— в ее оторванности от природы, и прежде всего от матушки-земли.

Я, как читатель, благодарю Вас за статью, которая написана с болью, с горечью. Законное оформление проблемы землепользования есть главное звено в решении многих наболевших вопросов многострадального сельского хозяйства.

Н. И. Макаров,
Липецкая область, Липецкий район,
с. В. Борки

Уважаемый Анатолий Андреевич!

Ваша тревога за землю в очерке «Земля» больно отзывается в душе. Я человек городской, но родилась и работала в селе, мне близки и знакомы его беды. Горько становится, когда села пустеют. К примеру, в селе около тысячи дворов, семь тысяч пахотных угодий (еще и лес), а школа не набирает в 1-й класс учеников. А ведь в довоенные и послевоенные годы было по три комплекта классов с наполняемостью по 40—45 учащихся. Что же случилось? Да, бытовые условия и условия труда сельских тружеников резко отличаются от городских. В городах два выходных, отпуск, время работы нормированное, квартира с удобствами, хлеб в магазине и т. д. А такие сезонные работы, как страда, посевная, нормировать нельзя. В селе животноводы встают в четыре часа утра и заняты до одиннадцати вечера, без выходных, без отпусков (а кем заменить?). В зимнее время в холоде, без горячей воды, с большой и не всегда посильной нагрузкой. Если в личном подворье хозяйка ухаживает за одной коровой два часа и больше, то здесь целое стадо! Коров планируют на сто гектаров сельскохозяйственных угодий, а не столько, сколько смогут продуктивно содержать.

Теперь на помощь идет и техника, но главное — человек. Дояркам негде помыться и переодеться, так в пропахших силосом халатах и идут домой. Не решена проблема обеспечения села главным продуктом питания — печеным хлебом. Не продумана постоянная занятость садово-огородных и полевых работников. Если в послевоенные годы люди мирились с этим, то урбанизация предложила молодежи свои удобства, и она охотно их приняла. А закрепление земли за отдельными семьями — это, может быть, временная и крайняя мера. Не будут ли на селе рождаться арабские халифаты 7-го века н. э.? Ведь эти «хозяева» станут неуправляемыми, обзаведутся собственной техникой, найдутся для них и батраки. Возьмите дачников. Земля у нас не продается, а если назвать участок дачей, можно продавать. Посадит делец пару кустов смородины, несколько дичков яблонь и груш, сделает будочку для с/х инвентаря и получает сумму, какую специалисту с высшим образованием нужно заработать в течение года. Говорят, он вложил труд! Дороговато же ценится такой «труд».

М. Т. Приходько, пенсионерка,
г. Чернигов

Дорогой товарищ Ананьев!

С чувством большого удовлетворения прочитал я Ваш очерк «Земля». Он разбередил всю мою душу, так как к землепользованию и землеустройству я имею самое прямое отношение: после окончания МИИЗ работал проектировщиком-землеустроителем во Владимирской земэкспедиции, потом аспирантура, и вот уже почти двадцать лет — преподаватель на кафедре землеустроительного проектирования.

Все, о чем Вы пишете, до боли знакомо, и буквально каждой Вашей строчке можно посвятить отдельный очерк. Мои товарищи-коллеги также очень тепло восприняли «Землю» — я и другие преподаватели уже используем ее на семинарских занятиях. Ваш очерк еще и тем хорош, что в нем очень концентрированно изложены многие проблемы современного землепользования и земельных отношений.

В одном из Ваших выступлений я прочитал о Вашем стремлении уделять больше внимания вопросам рационального использования земли, правильного землепользования, я бы еще добавил — землеустройства.

До войны об этом писали часто, после — реже, а в последние годы совсем мало. Конкретно же о землеустройстве — совсем н и ч е г о! Это большой пробел в аграрных отношениях страны.

В. В. Косинский,
доцент, кандидат экономических наук,
Московский институт инженеров землеустройства

Уважаемый Анатолий Андреевич!

Прочитал Вашу статью, и рука невольно потянулась к перу и бумаге.— в голове возник целый рой мыслей, в большинстве своем вызванных не только Вашими очень верными и близкими мне мыслями и выводами, но и Вашим, как мне кажется, неумеренным восторгом перед тем, что было до Октябрьской революции и до коллективизации сельского хозяйства в нашей стране, и совсем уже неоправданно слишком мрачным описанием современного положения работника сельскохозяйственного труда и всего, что с ним связано.

Да, действительно, всех нас глубоко и искренне волнует вопрос крайней необходимости значительного улучшения снабжения нашего народа качественными и разнообразными продуктами и легкой промышленности сырьем. Здесь масса нерешенных вопросов. Но думаю, что не правы те товарищи, которые ищут «волшебную палочку», по мановению которой можно одним махом решить все трудности с Продовольственной программой. Все чаще и, я бы сказал, все назойливее некоторые товарищи самых разных профессий и должностей, особенно работники, которым доступны печатные и устные средства информации и пропаганды, открыто или завуалированно протаскивают идею возврата к единоличным хозяйствам. Эта идея четко просматривается и в Вашей статье. Из нее можно сделать вывод, что от всех бед нас может сейчас выручить мужик с сохой на пусть хотя бы арендованном, но своем земельном участке. Вы знаете и о существующих уже экспериментах раздачи колхозных и совхозных земель фактически в индивидуальное пользование наиболее энергичным и деловым людям. Слово «деловым» я не ставлю в кавычки, ибо это люди и в действительности смекалистые и хваткие в работе. Многие товарищи сейчас ссылаются на опыт в этом направлении в КНР. Поэтесса Л. Васильева даже с умилением пишет в своей статье в «ЛГ» после поездки в Китай о «каждой рисинке, которая не осталась без внимания» и о «наших умерших селах, где в полузабитых окнах гуляет ветер». Факты есть факты, и оспаривать их по меньшей мере неразумно. И все же нельзя не учитывать избыток людей в китайской деревне, абсолютное преобладание там ручного труда и целый ряд других специфических особенностей Китая, где мне тоже приходилось бывать и все видеть своими глазами, против сложившихся условий в нашей деревне. Но даже в КНР, по материалам, имеющимся в печати, 70 процентов крестьянских индивидуальных хозяйств, достигнув определенного уровня развития, прекратили свой дальнейший рост, что является совершенно естественным при ручном труде. И это при условии, что в КНР пока на душу населения производится меньше полутонны зерна, то есть недостаточно.

В то же время в ЧССР при абсолютном превосходстве коллективного, механизированного труда в деревне страна устойчиво и на хорошем уровне обеспечивает свое население ценными продуктами питания — мясом, молоком, овощами и т. д. Более того, коллективные хозяйства ЧССР стабильно работали даже в год чрезвычайных событий в этой стране, в 1968 году. В этом как мне, так и многим другим товарищам можно было убедиться при встречах с работниками села ЧССР в тот период.

Вам знакомы данные, приведенные в речи Михаила Сергеевича Горбачева по телевидению на торжественном собрании в г. Мурманске о росте потребления на душу населения в нашей стране основных продуктов питания. Могу привести данные и примеры из очень близкой для меня Московской области. Непосредственно с ее сельскохозяйственным производством я был связан с конца 1952 года, когда меня избрали первым секретарем Коломенского РК КПСС, и до конца 1985 года — моего ухода на пенсию с должности первого секретаря обкома партии, поэтому и сравнительные данные о росте производства, а стало быть, и потребления продуктов питания привожу за эти годы.

С 1953-го по 1986 год производство мяса по всем категориям хозяйств выросло с 99 тысяч тонн до 375, молока соответственно — с 703 тысяч тонн до 1925, овощей — с 545 до 953 тысяч тонн. В 1987 году урожай зерновых в области получен более 35 центнеров с гектара и надой на фуражную корову ожидается более 3600 килограммов. Видимо, оспаривать эти факты тоже нет смы-

сла и тем более говорить о какой-то «неоправданной надежде на систему хозяйствования на земле». Могу только добавить, что за эти годы в области бурно развивались промышленность, строительство, наука, культура — и это, естественно, требовало постоянного и значительного пополнения кадрами из сельскохозяйственного производства — из деревни в города. Рождались и развивались не только фабрики и заводы, НИИ и КБ, но и целые города — Дубна, Пущино, Троицк и т. д. В целом городское население увеличилось с 2718 тысяч человек в 1959 году до 5123 тысяч в 1986 году, а всего в области проживает сейчас более 6,5 миллиона человек. При этом следует иметь в виду и соседство с Москвой.

Московская область, как известно, входит в зону Нечерноземья, и ей свойственны все особенности этой зоны — я сознательно это подчеркиваю, с тем чтобы были ясней видны огромные возможности Нечерноземья в производстве сельхозпродукции. Даже беглые подсчеты говорят, что если бы все области, входящие в эту зону, достигли уровня нашей области, кстати, далеко еще не максимального, то можно было бы обеспечить не «витринным» изобилием, а общедоступными качественными основными продуктами питания всех жителей этой центральной зоны России с населением примерно 60 миллионов человек.

Нечерноземье — это благодатнейший край для сельскохозяйственного производства! Здесь, как правило, достаточно влаги и тепла для выращивания основных кормовых культур, имеются богатые естественные пастбища, поэтому есть все условия для развития высокопродуктивного животноводства. И одной из целей в работе актива Московской области была, может быть, не очень громкая, но необходимая для общего дела цель — показать на примере области огромные возможности Нечерноземья. Наверное, об этом сейчас можно открыто сказать, имея в виду бытующее мнение, что эта область работает в каких-то «тепличных условиях» и здесь можно без напряженного и вдумчивого труда получать приличные результаты. При этом проявлялась непоследовательность. Когда в области урожай зерновых составлял десять и менее центнеров с гектара и были низкие надои молока, ссылались в основном на то, что область промышленная и на селе работать некому. В области действительно в валовом выпуске продукции промышленность занимает более 90 процентов. А когда положение в хозяйствах области заметно изменилось в лучшую сторону, недоброжелатели стали говорить совсем противоположное: «Там все можно, там много промышленных предприятий, и они им помогают». Это, безусловно, правильно, и этому способствуют единые партийные организации горкомов и райкомов, то есть единый партийный орган на город — районный центр и район. Такая структура у нас существует с 1965 года, и она себя оправдала.

Можно было бы обо всем этом не вспоминать и не говорить, если бы это не мешало распространению всего положительного, чего добилась область, на окружающие ее другие области и на всю зону Нечерноземья. Действительно, до 1974 года, до постановления ЦК КПСС и Совмина СССР по развитию Нечерноземья, Московская область получала больше материальной помощи от государства, но после этого постановления все области этого региона были поставлены в равные условия, и прошло более 12 лет, а должной отдачи нет. В этом Вы правы, Анатолий Андреевич.

Сейчас, когда после XXVII съезда КПСС принимаются кардинальные меры по решению задач Продовольственной программы, по всему агропромышленному комплексу страны, считаю уместным перечислить основные мероприятия, проводимые в нашей области, которые позволяют ей выйти на солидные рубежи по производству сельхозпродукции и которые, по моему мнению, могут быть полезными для всех областей Нечерноземья.

Может быть, наивно с моей стороны и обидно для Вас, но, думаю, Анатолий Андреевич, перечислением работ, проводимых в области, вселить в Вас уверенность в силе и неограниченных возможностях именно коллективного труда в производстве товарной сельхозпродукции, а не давным-давно ушедшего с арены нашей общественной жизни единоличника, а тем более кулака. Нельзя забывать и о сотнях, только по нашей области, активистов, лучших представителей партии и народа, погибших в годы коллективизации от рук кулацких бандитов. Стреляло кулачье и в окна родителей прославленного полководца Великой Отечественной войны Василия Ивановича Чуйкова, уроженца нашей области. При нашем социалистическом, коллективном, механизированном и специализированном сельскохозяйственном производстве одним из главных условий успешного развития агропромышленного комплекса является, могу это с полным сознанием утвердительно сказать, наличие мощной, хорошо организованной областной строительной организации. Без этого невозможно обеспечить хозяйства современными производственными помещениями-фермами, мастерскими, кормохранилищами и т. д., а также невозможно создать даже минимальные необходимые жилищные и культурно-бытовые условия для работников сельского хозяйства. Поэтому областные организации всеми силами добивались создания Главмособлстроя, а еще с большей энергией добивались, чтобы сохранить эту строительную территориальную организацию и не дать растащить ее между отраслевыми строительными министерствами. Жизнь подтвердила нашу правоту. Области, где сельским строительством занимались строительные министерства, в силу ведомственности оказались в очень невыгодном положении, ибо там строительство на селе было, а в ряде случаев и сейчас остается, «неглавным». Селу перепадало, как говорится, то, что «сквозь пальцы протечет», а отсюда и все сельские беды. У нас же Главмособлстрой с другими подсобными строительными организациями уже в течение ряда лет довел строительство на селе добротного жилья до 500 тысяч квадратных метров, помещений для животноводства до 30 тысяч скотомест для КРС в год и т. д. Это явилось решающим условием для создания и становления крупных специализированных хозяйств по производству молока, мяса, яиц, овощей и картофеля. Безусловно, все большую роль должен играть и хозспособ строительства на селе, но, когда обеспеченность строительными материалами составляет всего лишь 20 процентов (и сейчас, кстати, это положение меняется и поправляется очень медленно), развивать его очень трудно. Хотя, повторяю, надо всеми силами развивать и этот способ строительства в целях скорейшей ликвидации очень многих нужд на селе, в том числе и ремонтных.

Надо еще более решительно отказаться от навязывания хозяйствам всяких новшеств, да еще не всегда хорошо проверенных на практике. Здесь, к сожалению, можно приводить очень много примеров. Крайности вообще вредны и делу и человеку. Об этом нас предупреждал в своих трудах еще К. Маркс, когда говорил, что все в жизни должно быть в меру. В этом отношении очень характерным примером может служить распространение у нас в стране такой ценнейшей кормовой культуры, какой является кукуруза. Когда не в меру стали ее насаждать в нашей области (как и в других) и требовали уничтожать «седые клевера», то из хорошего и нужного дела получилось одно опошление этого крупного и важного мероприятия. К слову говоря, и многие писатели подключились, как явные конъюнктурщики, к охаиванию этой культуры. А ведь жизнь показала, что в современных условиях в большинстве областей, краев и республик страны невозможно животноводство на высоком уровне без широкого использования кукурузы на силос и зерно. У нас, например, в области до 30 процентов кормоединиц в заготавливаемых грубых и сочных кормах в зимовку скота составляет кукурузный силос. Когда приходилось бывать в США, то и там мы видели, что отними у фермеров кукурузу, и животноводство сразу очень многое потеряет. Особенно обидно за наших ученых и за наши научно-исследовательские институты. В числе конъюнктурщиков оказался и находящийся в нашей области Всесоюзный институт кормов. Спасибо Сельхозакадемии им. Тимирязева, которая дала нам технологию возделывания кукурузы в наших почвенных и климатических условиях и помогла области буквально отстоять кукурузу в структуре кормовых культур. А к чему привело охаивание кукурузы с помощью писательской среды? Институты и опытные хозяйства резко ослабили работы по получению раннеспелых и высокоурожайных гибридных семян, пришла в неудовлетворительное состояние база семеноводства, потеряно огромное количество животноводческой продукции из-за недокорма скота, ошельмован ряд руководителей и специалистов и т. д.

О вредности крайностей, особенно в сельском хозяйстве, повторяю, можно приводить много примеров. Мне приходилось встречаться с многими фактами формального, бездумного — при бездорожье и отсутствии других необходимых условий — внедрения так называемой «цеховой структуры управления хозяйством». В этом случае фактически упразднялись отделения (бригады) в хозяйствах, а это означало, что население сравнительно крупных деревень оставалось «беспризорным»,— там некому было заниматься повседневными и неизбежными бытовыми и культурными нуждами народа, ибо начальники цехов, главные специалисты и все основные службы сосредоточивались на центральных усадьбах. Мы в области не только сохраняли отделения и крупные бригады в колхозах, но и, назвав их производственными центрами, начали их обустраивать с учетом всех социальных нужд работников этих отделений, а также всех проживающих там граждан. К концу 1987 года в области уже будет обустроено более 150 производственных центров, подобных «первенцу» Большое Телешово. Всего их в области примерно 900. Таким образом, на обустройство всех производственных центров потребуется около десяти лет. Это будет означать, что не только жители этих центров будут обеспечены всем необходимым и прежде всего работой, но и обитатели примерно 3500 деревень, которые примыкают к этим населенным пунктам на расстоянии одного—трех километров. Центральные усадьбы хозяйств, их в области около 400, являются основой, как бы каркасом обустройства всей сельской местности области. Такая четкая направленность в сельском строительстве позволяет без «шатаний» в течение десяти лет не только повысить уровень производства и хранения сельхозпродукции, но и создать все условия труженикам села для труда, жизни и отдыха, приблизив их максимально к земле, на которой они работают. При этом уже сейчас есть все условия для перевода области на самофинансирование, имея в виду, что ежегодно в развитие сельского хозяйства с учетом и социальных нужд вкладывается до 500 миллионов рублей, а прибыль составляет более 600 миллионов рублей.

Особенно вредны крайности в использовании главной нашей кормилицы — земли. За последнее время огромные средства вкладываются в осушение болот и земель и в их орошение. На эти работы затрачиваются большие средства, а эффективность их во многих случаях минимальная, а иногда даже и вред наносится веками сложившемуся равновесию в природе. В то же время в ряде областей совершенно недостаточно уделялось внимания строительству дорог, известкованию почв, выравниванию полей, повышению плодородия земли за счет внесения органических удобрений и сохранения плодородного слоя. Мы в области все эти вопросы стараемся решать. За годы последних пятилеток построено более пяти тысяч километров внутрирайонных и внутрихозяйственных дорог — это имело и имеет решающее значение для подъема отстающих районов и хозяйств; создали мощности для производства в необходимых количествах гостированной качественной извести и активно вносим ее на поля; значительно больше стали уделять внимания выравниванию полей в сочетании с глубокой безотвальной пахотой, которая сохраняет плодородный слой и разрушает глиняную или образовавшуюся от использования тяжелой сельскохозяйственной техники плотную «подошву» под плодородным слоем. Значительно увеличили поголовье скота, и теперь есть возможность ежегодно вносить до 17 тонн на гектар пашни органических удобрений в виде компостов, хотя и этого еще недостаточно. Мелиоративные организации, к сожалению, очень цепко держатся и в нашей зоне за многомиллионные землеройные работы и очень неохотно занимаются недорогими культуртехническими работами на естественных сельхозугодьях, но и здесь есть некоторый сдвиг.

Все эти работы доступны всем областям Нечерноземья, но требуется большой, кропотливый и настойчивый труд. Ленинский стиль в работе нас учит не жить заботами только сегодняшнего дня, а брать на себя задачи реальные, но более трудные и на более длительный период, тогда и результат можно получить более крупный. А объективные условия для решения таких трудных задач нам партия и государство создали.

В нашей области отток работников села прекратился с 1972 года — с начала активного строительства жилья и конкретной работы с сельской молодежью. Конечно, и сейчас значительная часть сельской молодежи пополняет ряды рабочего класса, уходит на учебу, и, видимо, так будет всегда, но теперь уже ежегодно более десяти тысяч молодых людей приходят и закрепляются на постоянную работу на сельскохозяйственных предприятиях. Обычно главным препятствием для оседания сельской молодежи по месту работы родителей были сами родители. А теперь опрос показал, что 40 процентов родителей считают, что их дети тоже должны работать в хозяйствах области. Средний возраст всех работающих в хозяйствах области составляет 37—38 лет.

Нередко приходится читать и слушать, можно сказать, скорбные причитания о положении в сельском хозяйстве Нечерноземья. И это при нынешнем положении, когда здесь выделены на развитие хозяйств необходимые капитальные вложения, строительные материалы, техника и удобрения, специалисты, когда уже создан определенный задел! Природно-климатические условия здесь лучше, чем во многих других зонах нашей страны. А между тем постановление о развитии этой зоны не выполняется. Мне кажется, что здесь имеется огромное поле деятельности для нашей молодежи. Именно здесь молодежь страны может совершить свой очередной исторический подвиг в строительстве развитого социализма в нашей стране. По-ленински, вместе с тружениками сельского хозяйства и строителями помогая в преобразовании Нечерноземья и воспитывая себя в лучших традициях советского, действительно нового человека, в ответ маловерам, которые стали сомневаться в существовании такой личности.

Начать, безусловно, надо с дорог и жилья. В связи с этим можно образно сказать — если построить жилье даже на Северном полюсе, то и там народ найдется. А уж для работы и жизни на исконных русских землях, переживших за века многие баталии богатырей Отечества с иноземными захватчиками в отстаивании чести и независимости нашей Родины, патриоты найдутся! За семь—десять лет этот край можно преобразовать в край изобилия. Здесь можно было бы организовать труд молодых людей на самых демократических основах, на принципах полной добровольности и высокого чувства ответственности перед своими товарищами по труду. Можно с уверенностью сказать, что каждый километр построенной дороги, каждый усадебный дом, каждое ухоженное поле и посаженное деревце станут дорогими для молодого труженика, ибо это будет все сделано своими руками.

Как бы хотелось, чтобы вы, писатели, а также композиторы, деятели театрального и киноискусства, кончили причитать над падением нравов нашей молодежи, описывать похождения отдельных отщепенцев и искателей легкой жизни, а призвали бы своим громким, убедительным, простым и одухотворенным словом, как было в годы предвоенных пятилеток и послевоенных, на большое и крайне нужное стране дело — преобразование Нечерноземья в цветущий край России! При Вашем пожелании в Московской области, как, думаю, и в других областях, можно познакомиться с работающими молодежными отрядами и коллективами, которые уже сейчас могут служить прообразами недалекого будущего нашего сельского хозяйства, а не «показухой», как отдельные товарищи от усердия не по уму и в силу своей ограниченности любят зачастую чернить любое доброе начало, которое требует поддержки и распространения. Такие попытки маловеров чернить были, например, в самые первые моменты обустройства деревень в области.

Все мы с одобрением встретили пожелание Михаила Сергеевича Горбачева раменским земледельцам углублять и развивать семейный и коллективный подряд вплоть до взятия в аренду земли и средств производства. По договоренности с обкомом партии я сейчас принимаю участие в распространении семейных ферм на подряде и полном хозрасчете. Был бы рад, если бы Вы выбрали время и побывали в Клинском районе, в колхозе им. Горького, на Золинской молочнотоварной ферме семей братьев Карпухиных. Председатель колхоза т. Анискин В. В. вместе с правлением и общественными организациями сейчас хочет для этой фермы создать также на принципах семейного подряда кормодобывающий отряд, чтобы все вопросы, в том числе и использования земли, решались комплексно. Бывать на семейных фермах очень отрадно. Здесь порядок и чистота, высокопроизводительный труд с высокими количественными и качественными показателями. Особенно радостно видеть, с каким вдохновением там работают люди!

Хороший результат дает и хорошо организованный коллективный подряд на полном хозрасчете. В недалекой перспективе должно дать хороший экономический, социальный и, я бы сказал, нравственный эффект внедрение в сельскохозяйственное производство метода Травкина Н. И. Этот метод, внедряемый пока только среди строителей, позволяет, что особенно важно, объективно и справедливо, с участием коллектива определить вклад каждого члена коллектива в выполнение заданий и соответственно определить ему материальное поощрение, то есть по-настоящему выполнять основной закон социализма — от каждого по способности, каждому по труду.

При всем этом без преувеличения можно сказать, что сейчас ряд авторов, увлекаясь непомерным восхвалением «архангельского мужика» и ему подобных, впадают в очередную крайность, настойчиво ищут и используют поводы для охаивания крупных высокоэффективных специализированных хозяйств и особенно их руководителей. Здесь явно идет погоня за формой, а не за существом дела. Иван Афанасьевич Васильев в газете «Сельская жизнь» в статье «Ищи в себе» пишет о заорганизованном бюрократами колхозном собрании колхоза «Ленинский луч», и при этом умышленно или случайно он не заметил весьма тщательной подготовки к этому собранию — вплоть до приглашения Центрального телевидения за спиной всех официальных организаций группой людей, которым совершенно не дороги дела колхозные, а главное для них — воспротивиться освобождению нерадивых работников, ошельмовать, а если удастся, то и «съесть» председателя колхоза, проработавшего на этом посту более 20 лет. Будучи первым секретарем МК КПСС, я его рекомендовал колхозникам, причем собрание проходило в мастерской, так как в то время не было в колхозе путёвого клуба и многого другого. А сейчас этот колхоз от 1500 коров получает надой более 6000 килограммов и является уникальным в этом отношении в нашей стране. И это рядом с Москвой, в окружении промышленных предприятий. Недавно я был в колхозе им. Ленина Калужской области. Здесь четыре человека откармливают 1000 быков до 450 килограммов при затратах на один центнер привеса всего лишь немногим более шести центнеров кормоединиц. В таких хозяйствах, как правило, рационально используется и земля. Разве эти и тысячи подобных примеров, особенно в птицеводстве, не говорят о необходимости и целесообразности в наших условиях в порядке преемственности и последовательности и дальше развивать и укреплять, доводить «до ума» крупные специализированные и механизированные хозяйства, с учетом накопленного опыта и местных условий (избегая, безусловно, гигантомании), как основу нашего товарного сельскохозяйственного производства, чтобы не получилось так,— одно на полдороге бросаем и хватаемся уже за другое «новое», которое еще толком не проверено.

Все остальное должно идти в порядке дополнения и использования всех наших возможностей и резервов — и семейные фермы, и индивидуальный подряд с получением земли в аренду, и подсобные хозяйства, и т. д. и т. п.

Пишу Вам, Анатолий Андреевич, об этом сознательно, имея в виду, что много пришлось пережить за 35 лет работы, связанной с сельским хозяйством. МТС ликвидировали, как говорят, росчерком пера, а Сельхозтехника рождалась и развивалась десятилетиями. Поэтому опасения появляются и за специализированные хозяйства, чтобы их под флагом демократии и поспешных выводов в ответ на критические замечания не разрушили. Есть давняя мудрая пословица: разрушать — не строить. Такими хозяйствами могут и должны руководить только хорошо подготовленные, добросовестные организаторы социалистического производства, искренне уважающие рядового работника, и я глубоко убежден, что достойных и порядочных руководителей хозяйств — хочется подчеркнуть, именно порядочных — надо беречь и не давать на съедение завистникам, и карьеристам, и прочим недобросовестным людям, которые используют гласность только в своих корыстных целях.

Вы можете сказать, что напрасно я

волнуюсь. Нет, Анатолий Андреевич. Было же в печати заявление корреспонденту «Правды» секретаря Белгородского обкома партии о том, что они «заменили почти всех первых секретарей сельских райкомов партии». Спрашивается, чем хвалятся товарищи? Бить сельского руководителя — это равносильно, что бить лежачего,— безопасно и нетрудно, тем более, когда любая клевета и в любом виде пока остается безнаказанной. Но вот защитить и помочь добросовестному талантливому труженику руководителю — опасно, можешь попасть в «лакировщики», хотя, к слову говоря, сейчас от серых, примитивных и шершавых, с колючками произведений не только царапаются души, но и могут опускаться руки. Поверьте, что здесь, на селе, как ни в одной отрасли требуется моральная и духовная поддержка. В несравнимо труднейших предвоенных и послевоенных условиях после каждого «лакированного» фильма, в том числе и «Кубанских казаков», народ песни распевал и трудился вдохновенно. Я и сейчас помню Андрея Березина из произведений Германа Нагаева, образ которого мне помогал в самые трудные дни и годы. Теперь же, когда создан могучий потенциал и надо было бы с еще большим энтузиазмом, как говорят, плоды пожинать, мы растворились в анонимках, зачастую упаднических и бесплодных рассуждениях и бессмысленных фильмах, подобных «Кин-дза-дза». Думаю, что так мы партии не поможем как следует в сложной и трудной перестройке душ и сердец, особенно молодых людей, в борьбе за идеалы социализма. Сейчас, как никогда, мне думается, нужна повседневная, черновая, будничная, но одухотворенная работа, раздумья над результатами самоотверженного труда и борьбы не одного поколения советских людей.

Дорогой Анатолий Андреевич!

Вы, надеюсь, знаете, как я глубоко уважаю писателей и их благородный, нелегкий труд и знаю, особенно в настоящее время переосмысливания и перестройки всего уклада жизни, их сильное влияние на общественное мнение и дела в стране. Поэтому с большим огорчением воспринимаю, когда одни из них смакуют, аж облизываются, уже вторично на нашей памяти, трагические события 37—38-го годов, другие бессовестно уже, наверное, 50 лет пасутся на теме «председатель колхоза «умник» не сдает хлеб сверх плана, а «дурак» секретарь райкома партии требует сдавать», третьи, особенно в постановках, старых коммунистов рисуют ненормальными, трясущимися людьми, которые на вздорные обвинения еле слышно мямлят: «ошиблись», «не учли» и т. д. Сейчас некоторые солидные журналы охотно печатают материалы теоретиков-экономистов, фактически призывающих к отказу от основ планового хозяйства в угоду стихии предпринимательства, уповая на всесилие во многом субъективных нормативов. Но почему же эти теоретики десятилетиями сидели, как сейчас принято говорить, в окопах и не дали четкой, вразумительной теории политической экономии социализма? Практики, хорошо ли, плохо ли, подвигали нашу экономику вперед, а теоретики даже толком не объяснили, в чем же разница трудовых коллективов и их членов при капитализме и социализме. Нет у нас и экономических критериев для оценки научных и технических новшеств, которые крайне необходимы для оценки и выбора правильного направления в развитии науки и техники, из-за чего расходуются миллиарды без должной эффективности. А сколько «блуждают» практики в исканиии эффективных форм оплаты труда в колхозах и совхозах, где же здесь роль экономистов-теоретиков? И вот сейчас они вылезли из своих кабинетных окопов, и вместо вооружения практиков современной теорией они сами вооружились до зубов специально подобранными фактами для критики абсолютно всего, чего добился народ,— и еще они вооружились допотопными дубинками, угрожая безудержным повышением различных цен и закрытием предприятий. Плохо, когда наши плановики не смогли посчитать, сколько же нужно стране тракторов, о чем пишет и говорит А. Г. Аганбегян, но еще пагубней, на мой взгляд, без глубокого теоретического обоснования копировать чуждую духу социализма систему общественных и производственных отношений.

Не хотелось бы, чтобы вопреки элементарной логике теперь еще взялись писатели и журналисты за охаивание коллективного труда и прямое или косвенное прославление индивидуального труда единоличника. Это, по моему мнению, образно говоря, равносильно уподобиться пловцу, который с большим трудом добирался до берега и, уже видя его четкие контуры, вернулся обратно в неизвестность. С какой радостью я читал Вашу статью в «Правде»! Или была еще замечательная статья в «Правде» — «Народ и скажет правду». Думаю, и на этот раз ждать долго не придется, правда о коллективном труде восторжествует. И здесь писатели должны сказать свое веское слово. С большим вниманием и удовлетворением я прочитал статью М. Антонова «Так что же с нами происходит?», опубликованную в Вашем журнале.

Наивно думать, чтобы даже старшее поколение в массовом порядке сейчас пошло на возврат к единоличным индивидуальным товарным хозяйствам. Это сейчас я вижу при создании семейных ферм — в целом они даются с большим трудом. А о молодежи и думать не приходится. В современных условиях единственный путь привлечения молодежи в сельскохозяйственное производство — создавать и на селе заводские условия, работать 7—8 часов в день, иметь два

выходных (на крайний случай — один), механизированный труд и хотя бы минимальные условия для организованного отдыха и учебы. Ссылки на прежние времена, когда пахали еще сохой, да и на более близкое время не имеют почвы под ногами. Тогда главенствовали два обстоятельства: или беспросветная нужда, или погоня за наживой любыми путями и средствами. Сейчас на селе люди живут в достатке, кто, конечно, добросовестно трудится и не пропивает заработанные деньги. Разговоры о работе на селе «от зари до зари» ведутся больше по привычке, и уже давно этого на селе нет, и думаю, что этот этап в нашей истории уже ушел безвозвратно. Но вместе с этим, на наше счастье, тяга к земле как горожанина, так и работника села в своем подсобном хозяйстве еще сохранилась, и здесь кроются очень весомые добавки к основному производству сельхозпродукции в колхозах, совхозах и птицефабриках.

В Московской области подсобные хозяйства (без подсобных хозяйств предприятий) производят продукции примерно на 300 миллионов рублей, что составляет 13—15 процентов от валового производства этой продукции в целом по области по всем категориям хозяйств. Опыт показывает, что наиболее активно развиваются подсобные хозяйства во вновь обустроенных деревнях, подобных Б. Телешову, где Вы, Анатолий Андреевич, были и видели все своими глазами. К слову говоря, вопрос обустройства этой сравнительно отдаленной деревни и в целом сельской местности области обсуждался и принимался при непосредственном участии писателя И. А. Васильева, когда он был у нас в области в совхозе «Рассвет»; сейчас очень приятно об этом вспомнить. Ускоренное развитие подсобных хозяйств в обустроенных деревнях частично вызывается тем, что в этом случае надо «зарабатывать» деньги на погашение кредита, который получили застройщики при строительстве или при приобретении своего нового дома. Ветхие и заброшенные дома в деревне — это, как правило, дома нерадивых или умерших наследников. В нашей области таких домов около шести тысяч из 350—400 тысяч имеющихся домов в деревнях области. Селяне, живущие даже в «многоэтажках», которые пришлось ускоренно строить, чтобы «задержать» народ в деревне, охотно занимаются огородами, но нет в этом случае должных условий для содержания скота. Поэтому мы в области уже ряд лет «жмем» на строительство усадебных домов с привлечением средств на строительство самих застройщиков. У меня нет слов, чтобы выразить огромную радость в связи с принятием постановления ЦК КПСС и Совмина СССР о развитии подсобных хозяйств, в котором, в частности, еще больше расширяются льготы для застройщиков усадебных домов. В сельской местности «лед тронулся», сейчас в области усадебные дома строят ся тысячами.

А вот в малых городах и рабочих поселках нам пока не удалось «раскачать» индивидуальное жилищное строительство, и не потому, что народ не хочет,— наоборот, очень много желающих построить свой дом и на свои средства. Но здесь настолько все запущено и обюрокрачено, что я, будучи первым секретарем обкома партии, вместе с бывшим директором (он сейчас выдвинут на партийную работу) Ликинского автобусного завода в Орехово-Зуевском районе не смог «пробить» стену всевозможных «запретов». Директор собрал более ста разрешительных подписей, и их не хватило для «законного» начала строительства благоустроенного рабочего поселка из усадебных домов на средства рабочих и служащих. Я ушел на пенсию и не знаю, чем там кончилась эта история, но привожу этот пример с надеждой, что Вы по линии писателей и журналистов возьметесь за этот вопрос и добьетесь такого же широкого строительства усадебных домов в малых городах и рабочих поселках, какое сейчас повсюду наблюдается на садовых участках. Где бы мне ни приходилось бывать в других странах, в том числе и высокоразвитых, всюду преобладает (за исключением крупных городов) малоэтажное и усадебное строительство, хотя оно там значительно дороже и далеко не каждый трудящийся имеет возможность иметь свой дом. Одним из доводов противников усадебного строительства является такой, что, мол, много требуется земли под это строительство. В действительности это не так: под сами строения уходит примерно 20 процентов площади (при небольших участках), а остальная земля при доме используется для производства продукции и, как правило, эффективно. Испокон веков так было. И мой отец был рабочий, и на ссуду, полученную вскоре после Октябрьской революции, он вместе с другими рабочими и служащими фабрики построил дом в рабочем поселке, и наша семья пользовалась небольшим земельным участком. Земли Московской губернии были скудными, и урожаи зерновых были в пределах пяти—семи центнеров с гектара, но коров было тоже примерно полмиллиона голов, и содержались они главным образом на неудобьях. Считаю совершенно неразумным снос индивидуальных домов в небольших городах под застройку многоэтажными домами.

С Вами, Анатолий Андреевич, полностью согласен, когда Вы с болью в душе пишете о массовом списании деревень вокруг Москвы и уничтожении плодородных земель, которые создавались веками. Для успешного развития подсобных хозяйств на селе, сейчас это всем ясно, надо еще более решительно восстанавливать натуроплату, чтобы каждый колхозник, рабочий и служащий совхоза твердо знал, что он будет обес-

печен зерном и другими кормами, и тогда, можно с уверенностью сказать, подсобные хозяйства станут еще более крупным источником не только картофеля, овощей, фруктов и ягод, но и животноводческой продукции.

В отношении очередей могу одно сказать: главная наша беда, на мой взгляд, заключается в неумении организовать оптовые закупки, хранение и торговлю. В конечном итоге даже при больших потерях продукции все сыты и одеты и в абсолютном большинстве неплохо, но сопровождается все это неудобствами, нервозностью, потерей времени и обидной во многих случаях запущенностью торговой сети, включая и общественное питание.

Анатолий Андреевич! У меня было намерение свои замечания к Вашей статье направить в «Литературную газету», поэтому очень прошу выкроить время и после ознакомления с этим письмом высказать мне Ваши замечания, может быть, я что-то понял не так, как трактует статья, может быть, что-то утрирую, а может быть, по Вашему мнению, и просто ошибаюсь. Могу в заключение только еще сказать: писал я, по совету Л. Н. Толстого (как-то пришлось это услышать по радио), то, что думаю, и искренне.

С глубоким уважением!
Крепко жму Вашу руку!

В. И. Конотоп

О земле в законодательстве

В последнее время общественность страны все настойчивее — и обоснованно — обращает внимание законодателей на проблемы землепользования, на связи человеческой деятельности с природой в целом.

По инициативе секретаря Президиума Верховного Совета СССР Т. А. Ментешашвили в Юридическом отделе высшего органа страны состоялось обсуждение этих проблем в связи с публикацией статьи А. Ананьева «Земля» в журнале «Октябрь».

В совещании по вопросу совершенствования землепользования приняли участие: В. И. Абросимова, Госагропром СССР, подотдел землепользования и землеустройства; А. А. Ананьев; Г. Е. Быстров, МГУ, кафедра охраны природы; М. П. Гришаев, главный государственный инспектор по использованию и охране земель Госагропрома СССР; Ю. Г. Жариков, ВНИИСЗ Министерства юстиции СССР; О. С. Колбасов, зав. сектором ИГПАНа СССР; В. А. Тяпкин, Сельскохозяйственная академия им. Тимирязева; Н. А. Сыродоев, зав. сектором Юридического отдела Президиума Верховного Совета СССР, и П. И. Седугин, зам. зав. Юридическим отделом Президиума Верховного Совета СССР.

Участники совещания в ходе обмена мнениями пришли к выводу, что действующее земельное законодательство (Основы, земельные кодексы) в целом в достаточной мере регулирует земельные отношения. Но не все нормы сейчас применяются либо соблюдаются на практике, во многом они декларативны и потому пассивны, отстали от стремительно развивающейся хозяйственной жизни страны, мешают порой решению новых задач, поставленных партией.

Участники обсуждения вопросов землепользования согласились с выводами автора, что необходимы новые взгляды, новые регуляторы и стимулы в законодательстве, поощряющие различные эффективные формы землепользования всеми, кто работает на земле, от предприятия до гражданина. Необходимо развивать инициативу людей по рациональному использованию каждой сотки, пяди земли, находящейся в сельскохозяйственном обороте; усилить юридические и нравственные связи с землей всех, кто на ней живет и работает, кто за счет ее кормится, участвуя в коллективном садоводстве, огородничестве, арендуя или приобретая в собственность пустующие в сельской местности жилые дома, пользуясь дачными участками.

Возможности решения проблем землепользования участники обсуждения связывали с введением платы за пользование землей; предоставлением участков земли всем, кто желает их обрабатывать и привносить свой вклад в решение Продовольственной программы; с расширением таких форм вторичного землепользования, как аренда, подряд; усилением экономических и юридических гарантий прав каждого землепользователя, с повышением его экономической и иной ответственности за результаты хозяйствования на земле; с упорядочением рентных отношений и повышением значения земельного кадастра.

Решение проблем землепользования как важного условия вывода сельского хозяйства из длительного застоя участники обсуждения статьи связывали также с тем, что следовало бы обеспечить в законодательстве и на практике полное возмещение ущерба, причиняемого сегодня земле и землепользователям; урегулировать на уровне закона различные аспекты деятельности подсобных сельских хозяйств предприятий, личных подсобных хозяйств граждан, а также института колхозного двора и иных форм кооперативного творчества сельских жителей: семейного и группового подряда и т. д.; предусмотреть в законодательстве меры, которые позволили бы вывести крестьянина из состояния безразличного отношения к земле.

Диалог о земле не окончен. Предполагается создание инициативной группы по выработке проекта, по сути, нового

закона о земле и ее использовании человеком. Эта группа, несомненно, постарается учесть все мнения, которые будут высказаны на страницах газет и других средств информации, в письмах людей, особенно жителей сельской местности. Мы будем периодически информировать общественность о своей работе.

Благодарная память и вечно живая мысль народа в разные годы советского строительства помогали обозначить отдельные принципы, которые можно положить в основу при разработке такого закона.

Необходимо, очевидно, отказаться от пассивного характера норм земельного законодательства, от декларативности, придать им конкретную адресность, особенно тем из них, которые обязывают беречь землю, рачительно пользоваться ее богатствами во всех сферах народного хозяйства, требуют поднять в этом деле роль местных, особенно сельских, поселковых, районных Советов.

Мы все еще нередко с легкостью говорим о человеке с его материальными и духовными запросами как о центральном звене механизма хозяйствования и проходим мимо того факта, что человек прежде всего должен чувствовать свою крепкую, неотделимую связь с землей. Вспомним: В. И. Ленин заботу о земле, о хлебопашце связывал с судьбой коммунизма. Поэтому нас не может не беспокоить тот факт, что в условиях перевода колхозов, совхозов и других предприятий на полный хозяйственный расчет и самофинансирование оценка их хозяйственной деятельности еще не находится в тесной связи с землепользованием, с их негативным (или позитивным) воздействием на окружающую природную среду. Не способствует этому и норма статьи 13 Основ земельного законодательства, не разработана в деталях содержащаяся здесь мысль о необходимости мер материального, да и морального, к слову, поощрения землепользователей, осуществляющих мероприятия по охране земель, повышению (сохранению) плодородия почв, вовлечению в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель.

Отсюда вытекает следующий, если хотите, принцип, требующий от людей в процессе хозяйствования на земле большего учета тесных, неразрывных связей земли с другими природными ресурсами.

Сегодня уже невозможно получать доходы только за счет земли, любой ценой достигать материального благополучия. Непродуманное, безответственное вмешательство человека-хозяйственника во взаимозависимости земли с водой, лесом, другими природными ресурсами губительным образом отражается на самой земле.

Горький пример тому — Арал и Приаралье, где увлечение расширением орошаемых земель, безграничным ненормируемым водочерпанием из основных водостоков в это озеро (море) вызвало не только катастрофическое уменьшение зеркала воды Арала, но и ухудшение качества орошаемых земель от засоления, вымывания. Умирают деревья, исчезает растительный и животный мир.

Поэтому красной нитью через закон должны проходить конкретные природоохранные мероприятия, обязательность их выполнения.

Предстоит уточнить правовой режим акта на вечное пользование землей, выдаваемого колхозам, который сегодня не обеспечивает необходимую защиту колхозов от необоснованного изъятия у них земель, не обязывает колхозы бережно работать с землей.

Нуждается в совершенствовании понятие права землепользования. Оно по своим юридическим и экономическим свойствам должно быть приближено к тем понятиям, которые заложены в пункте 1 статьи 4 Закона СССР о государственном предприятии (объединении) в отношении предприятия к своим средствам и иным материальным ценностям с учетом особенностей сельскохозяйственного производства, интересов других землепользователей.

И еще один принцип, который уже заложен в решения партии и правительства, — это всемерное вовлечение в обработку земли свободных рук, разумное использование свободного времени горожан, пенсионеров.

В работе с новыми законоположениями о земле и ее использовании важно помнить о роли Советов народных депутатов как полновластных политических органов народа, регулирующих все вопросы землепользования на своих территориях в тесной связи с вопросами хозяйствования, экологической культуры, исторической памяти народа, с его творчеством.

Закон о земле должен быть законом о Родине.

В. Б. Козлов, кандидат юридических наук, консультант Юридического отдела Президиума Верховного Совета СССР

Вл. НОВИКОВ

Живой

К 50-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО

Знаем ли мы Высоцкого? Понимаем ли мы его?

Я очень прошу читателей воспринять эти вопросы не как риторические. Если каждый из нас на них честно сам себе не ответит — дельного разговора не получится. Ибо говорить о Высоцком — значит неизбежно говорить о нас самих. Поучительный в этом отношении пример подает один из персонажей поэта — «ответственный товарищ», выведенный в песне «Прошла пора вступлений и прелюдий». Вызвал он автора «Охоты на волков» к себе в кабинет, «прослушал благосклонно» задевшую за живое песню, —

И, об стакан бутылкою звеня,
Которую достал из книжной полки,
Он выпалил: «Да это ж про меня!
Про нас про всех — какие, к черту, волки!»

Деятель этот так глубоко прочувствовал песню потому, наверное, что она срифмовалась с его житейскими обстоятельствами. Быть может, закачалось под ним почетное кресло, «обложили» его резвые конкуренты-сослуживцы так, что в пору волком взвыть. Жалеть такого «большого человека» резона нет, но обратите внимание: способ интерпретации текста у него абсолютно правильный — и эстетически, и этически. «Да это ж про меня» — без такого хода мысли (и чувства!) Высоцкого не понять.

В этой насквозь иронической и в то же время глубоко серьезной песне Высоцкий смоделировал, так сказать, адекватное восприятие своей поэзии. Подлинный смысл каждой из его песен раскрывается только в ситуации ответного слова, только в ситуации диалога.

Высоцкий свое сказал. Что теперь можем сказать мы — и про его песни, и про нас про всех?

Честно говоря, наше общее ответное слово в этом диалоге пока явно не на «высоцком» уровне. Это относится и к запоздалым похвалам, и к озлобленным выпадам, и к попыткам солидно-объективной оценки его творчества по принципу «с одной стороны... с другой стороны...» И в том, и в другом, и в третьем, как правило, недостает каких-то новых, нетривиальных поворотов мысли. Впрочем, многие штампы имеют очень давнюю и труднопреодолимую традицию. Прежде всего штампы заунывно-некрологические. «И несут стихов заупокойный лом, с прошлых с похорон не переделавши почти»,— сетовал Маяковский в стихотворении «Сергею Есенину». Отклики же на состоявшиеся четырьмя годами ранее «прошлые похороны», то есть на смерть Блока, Мандельштам ядовито, но справедливо назвал «болотными испареньями» и «лиркой о лирике». Да что там! Если мы обратимся к совсем далеким «фатальным датам и цифрам», к рубежу, на котором, пользуясь выражением Высоцкого, «лег» Байрон, то и там увидим ту же картину: не случайно Пушкин, серьезно и сердечно отозвавшийся на смерть «властителя дум», не преминул, однако, сочинить ехидную пародию на погребальные оды Байрону, сложенные другими русскими поэтами.

Вроде бы никуда не деться: безвременный уход из жизни большого художника провоцирует на произнесение искренних, хотя и расхожих слов, а все поминки похожи друг на друга. Но не запоздалых почестей ждет Высоцкий. «Я жив, снимите черные повязки!» — возражает он. «Но с тех пор, как считаюсь покойным...»,— искренне жалуется поэт, самим речевым поворотом начисто отрицая факт своей смерти.

Не располагая в течение семи с половиной лет информацией о наших делах, Высоцкий достаточно конкретно о них говорит с нами — ну хотя бы в песне «Революция в Тюмени»:

Под визг лебедок и под вой сирен
Мы ждем — мы не созрели для оваций, —
Но близок час великих перемен
И революционных ситуаций!

В борьбе у нас нет классовых врагов —
Лишь гул подземных нефтяных течений,
Но есть сопротивление пластов,
И есть, есть ломка старых представлений.

Вроде бы ведь о нефти писал, а заглянул еще глубже, чем эта нефть залегает. Еще не одна развернутая метафора Высоцкого раскроет вот так перед нами свой полнозначный лукаво-серьезный смысл! Читая такие строки, можно порадоваться, но еще лучше — сосредоточиться и задуматься: «сопротивление пластов» ведь колоссальное, для оваций

мы не созрели и сегодня. Да и стоит ли нам говорить как бы от имени Высоцкого и «за» него: дескать, мы с Высоцким это всегда понимали, предвидели, предупреждали? Нет, так, как он, мы не рисковали, были куда осторожнее. Об этом и песня есть:

А рядом случаи летают, словно пули,
Шальные, запоздалые, слепые, на излете,
Одни под них подставиться рискнули —
И сразу: кто — в могиле, кто — в почете.
А мы — так не заметили и просто
увернулись...

Так что возможность «подставиться» и раньше была всегда: можно было вводить в своем совхозе новые экономические методы и ждать официального одобрения этих методов, находясь около двух лет в следственном изоляторе, можно было писать романы «в стол», слагать песни почти исключительно для народного «магнитиздата». Сегодня, когда с точностью известно, «кто в могиле» (Андрей Тарковский, Владимир Высоцкий), «кто в почете» (директор совхоза Виталий Сургутский, писатели Владимир Дудинцев и Анатолий Рыбаков),— нам для нашей же пользы стоит честно осознать, чего мы не заметили и от чего увернулись. Заметьте: автор песни этого и добивается, показывая самоотверженный пример и говоря: «Мы увернулись», хотя сам-то жил и работал иначе.

А что же негативные, придирчивые отклики на творчество Высоцкого? Было бы странным и в корне неправильным выступать против них в принципе: каждое новое художественное явление испытывает «сопротивление пластов» старого идейного и эстетического сознания, и в этом споре рождается истина. Подлинные ценности не боятся испытания недоверием, им не страшна едкая щелочь сомнения и отрицания. Но опять-таки возникает вопрос об уровне этого отрицания, степени смысловой и духовной глубины негативных суждений. Не станем говорить о тех нападках на Высоцкого, которые предпринимались отдельными лицами с целью «попасть в большие забияки». Справедливо заметил один московский литератор: вступая в полемику с подобными отрицателями, мы только помогаем им в достижении чаемой популярности. Так что не будем лишний раз называть имена, приобретенные исключительно в «боях» против живого в литературе. Обратимся к искренним попыткам разобраться в наследии Высоцкого и объективно его оценить.

Вот, скажем, «Вопросы литературы» (1987, № 4) уделили полемике о Высоцком почти сотню страниц, поместив статьи Ю. Андреева, Е. Сергеева и Т. Барановой. Поскольку последней статье в этом раскладе была отведена роль «негатива», то от нее можно было ждать спора с самими основами художественной позиции Высоцкого. Но что же мы видим? «Нехитрый гитарный перебор», «стишки на злобу дня», «не бог весть какие открытия», «не всегда художественно глубоко, умело и внятно», «приходилось «подстраиваться», потакать потребительским вкусам, спешить»,— словом, набор безличных оценочных ярлыков, которыми склонны пользоваться знатоки, рассуждающие так, как будто счетчик художественности у них в кармане. Все это могло быть сказано о ком угодно и кем угодно (в журнале сообщено, что Т. Баранова — студентка, но на месте автора такой статьи мог оказаться и пенсионер-догматик). Из статьи трудно извлечь какую-либо концепцию, от нее остается только ощущение ничем не оправданного авторского апломба да еще... ощущение непривычности и свежести цитат: здесь оказались впервые процитированы многие весьма неканоничные по лексике и смелые по тематике песни Высоцкого, занятно было увидеть их в типографском шрифте. Смысловой вес цитат оказался неизмеримо тяжелее пространно-вялого к ним критического комментария. Наивно считать тексты Высоцкого беззащитными, они умеют и постоять за себя. Диалог есть диалог, он обязывает.

Престранная вещь произошла с Высоцким! Обычно, говоря о поэзии, у нас совершенно обходят вопросы стилистики и стихосложения. Не помню, чтоб кому-то пришло в голову пощупать ритмическую мускулатуру, условно говоря, Самойлова или Соколова, оценить качество рифм Ю. Кузнецова или Чухонцева. Наоборот, версификационному мастерству наша критика, как правило, уделяет роль ничтожную, придавая первостепенное значение «содержанию», тому, что «за стихами». Меня всегда удивляло и огорчало, что количественное большинство моих коллег весьма прохладно относится к энергичным смыслонесущим ритмам Ахмадулиной, Вознесенского, Мориц, предпочитая им добропорядочную посредственность стертого и псевдотрадиционного стиха. Огорчало, к примеру, что не прочитан современниками сложнейший поэт наших дней Виктор Соснора, понять которого вне стиха и вне слова невозможно, что снобистское пренебрежение вызывают стиховые и стилистические поиски немногочисленных интересных поэтов молодого поколения. И вот — на одного Высоцкого направляем мы свой небогатый и заржавевший от неупотребления стиховедческий инструментарий. Так, в статье Е. Сергеева идет речь даже о «неконцевых рифмах» Высоцкого, которые весьма лестно для поэта сравниваются с подобными же рифмами в «Слове о полку Игореве». Но жаль, что все это в каком-то сугубо оценочном, дегустационном плане: дескать, ничего, годится, похоже и на «нормальную» поэзию. Все это говорится совершенно безотносительно к смыслу, к тому самому содержанию, для выражения которого и существуют всяческие рифмы, метры и ритмы. А по поводу содержания Е. Сергеевым делается следующий вывод: «Не надо, по-моему, искать в стихах Высоцкого какого-то необычного, еще никому неведомого взгляда на мир, каких-то особых, до него не познанных

оттенков чувства, сверхординарных лирических откровений и внезапных ошеломляющих озарений. Его сила в другом — в умении высказать общеизвестное и общезначимое так, что понимаешь: для него это личное, выстраданное, пережитое, то, на чем он стоял и стоять будет до конца». Несмотря на «положительный» вывод этого снисходительного приговора, считаю его в целом несправедливым. Не потому, что хочу выставить Высоцкому более высокий оценочный балл. Да пусть мы оценим поэта как угодно низко (ему-то уж не привыкать!) — лишь бы понимали верно. Считать же Высоцкого темпераментным выразителем общих мест — значит смотреть мимо главного в его песнях. Мимо всех нестандартных сюжетных ситуаций и драматических конфликтов. Мимо неординарных и многоликих персонажей. Мимо причудливых переливов патетики и сарказма. Мимо юмора и иронии, создающих в мире Высоцкого атмосферу лукавой неоднозначности, смысловой многооттеночности, прихотливой игры утверждения и отрицания. Именно необычность взгляда на мир тут интересна, и ценности, созданные Высоцким,— это прежде всего ценности смысловые.

А в деле реализации новых смыслов хороши любые средства. Я имею в виду, конечно, средства художественные, неотделимые от цели творчества. Для полноты высказывания, полноты жизненной правды Высоцкому понадобилось переступить границы письменной поэзии, прибегнуть к звучащему слову, к музыке, к зрелищу. Это помогло и ему и нам. Синтез, союз искусств — дело естественное и давнее: об изначальном родстве поэтического слова с мелодией, с авторским исполнением даже как-то неудобно напоминать. Но мы почему-то привыкли, говоря о союзе искусств, мыслить не эстетическими, а бюрократическими категориями, названиями официальных творческих союзов и секций. Вот Жванецкого долго никак не могли признать литературным сатириком. Дескать, а может, этот товарищ должен проходить по линии ВТО? Да по линии жизни он прошел, и его устная звучащая сатира к литературе имеет во много раз большее отношение, чем письменные и молчащие однотомники-«кирпичи», наполненные новеллами об управдомах, безопасными баснями и беспредметными памфлетами.

И с Высоцким до сих пор не можем разобраться в ведомственном аспекте. «Владимир Высоцкий чемпион в многоборье,— сказано у Е. Сергеева.— Пусть в отдельных видах его достижения и ниже рекордных баллов, мало кто может с ним состязаться именно в многоборье. Поэт, композитор, певец, актер...» Метафора эффектная, но, к сожалению, мало что объясняющая в искусстве Высоцкого, не задевающая духовной сердцевины его творчества. Да и не совсем корректная с точки зрения хотя бы театроведческой: непонятно, каковы рекордные баллы в актерском мастерстве и кому именно из актеров современников уступает Высоцкий. Тут можно долго спорить. Ограничимся для краткости формулой Анатолия Жигулина: «Поэзия — не спорт», справедливой и для всех остальных видов искусства.

Стиховая культура Высоцкого — вопрос, требующий отдельного разговора. Чтобы в этом вопросе разобраться, недостаточно отличать хорей от анапеста, нужно еще увидеть, как в песенном стихе отпечатались историко-эволюционные процессы. Поскольку у Высоцкого и ритмика, и рифма, и строфика активно участвуют в построении общего смысла песни, несколько предварительных соображений выскажем прямо здесь.

Стих Высоцкого, как и бардовский стих вообще, восходит к поэзии «серебряного века», которая часто стремилась выйти за пределы сугубо «письменной» формы, слиться с музыкой, театром, изобразительной пластикой. Особенно важна для бардовского стиха была футуристическая традиция: у Б. Окуджавы она соединилась со стилистикой романса, у Н. Матвеевой и А. Галича — с иронической книжно-стилизационной культурой, у Высоцкого — с иронически освоенным многоголосием уличной речи. Слово «футуризм» для многих сегодня — слово ругательное, но это инерция отживающих предрассудков, и уже совсем недалеко до наступления того века, когда и символизм, и акмеизм, и футуризм будут признаны не досадными «отклонениями», а гордостью нашей национальной культуры, действующими источниками художественной энергии. Просто мы по-настоящему умеем уважать только ценности прошлых столетий.

Футуристическое начало в поэтике Высоцкого отчетливо просвечивает во внешних чертах стиха: составные и каламбурные рифмы, тонически организованные «сверхдлинные» ямбы и хореи («Кто кончил жизнь трагически, тот — истинный поэт»— это ж семистопный ямб, громоздкость которого преодолена интонацией). Но важнее здесь внутреннее родство — склонность поверять большое малым, реальное — фантастическим. «Кто сказал, что Земля умерла?»— такой вопрос мог бы задать молодой Маяковский. И образ расстрелянного эха тоже мог бы у него появиться.

Это не значит, что зависимость здесь элементарно-прямая. Несомненными «посредниками» в этой цепочке были Вознесенский, Ахмадулина, ранний Евтушенко, у которых Высоцкий многому научился. Участвуя в спектакле «Антимиры», Высоцкий читал со сцены вариацию Вознесенского на тему «Вóрона» Эдгара По — не отсюда ли неожиданное появление ритмики «Ворона» в нескольких песнях, начиная с «Пародии на плохой детектив»?

Опасаясь контрразведки,
избегая жизни светской,
Под английским псевдонимом
«мистер Джон Ланкастер Пек»,

Вечно в кожаных перчатках —
чтоб не делать отпечатков —
Жил в гостинице «Советской»
несоветский человек.

Все это к тому, что в стихе Высоцкого таятся немалые культурные пласты, сгустки традиционной энергии. Но главное — что эта энергия работает на постижение смысла современной жизни. Отсюда — пугающая непривычность стиха Высоцкого. Это только кажется, что в «письменном» виде его произведения многое теряют. Мне тоже так казалось до тех пор, пока многие стихи Высоцкого не довелось сначала прочесть, а потом уже услышать поющимися. И вообще — почему мы так фетишизируем бумагу и так прочно связываем с нею эстетическое достоинство поэзии? Да у нас две тысячи официальных стихотворцев, только на бумаге и существующих. Что же касается тех двадцати — двадцати пяти настоящих поэтов, которые печатаются сегодня (даю цифру очень щедрую), так их стихи тем и отличаются от сугубо «бумажных», что звучат, озвучиваются устами воспринимающих их читателей. Основа стиха не шрифт, а артикуляция, движение губ, фиксирующее движения душевные.

И движение смысла. Негладкий для глаза стих Высоцкого — это вызов эстетике экстенсивного стиха, где одна мысль (если таковая еще имеется) раскатана на множество строф, на целое стихотворение. Существует открытый Тыняновым закон единства и тесноты стихового ряда. Опыт Высоцкого энергично напоминает нам, что это единство и в особенности эта теснота еще и смысловая.

Смыслы теснятся в стихе Высоцкого. Они то наезжают друг на друга:

...Делай, как я.
Это значит — не надо за мной.

То сцепляются в горькие антитезы:

Двери настежь у вас, а душа взаперти.

А порой в самом тезисе уже таится его опровержение: «Кто кончил жизнь трагически, тот — истинный поэт...» Мысль, сформулированная в пределах строки,— не однозначный «афоризм», а приглашение к спору, который будет развернут в песне.

Эта смысловая глубина нередко прикрыта с виду небрежной, порою внешне вульгаризованной стилистической одежкой. Правде не к лицу украшения, в рубище ей как-то сподручнее: она готова к тому, чтобы ее сначала не узнали, отвергли, осудили — тем прочнее потом усвоят и примут.

В последнее время у нас так много писалось о «полифоничности» и «амбивалентности», что возникла изрядная путаница. Критики кинулись искать «контрапункт» в достаточно прямолинейных и одномерных художественных конструкциях, стали усердно обнаруживать загадочную «амбивалентность» у совершенно не повинных в ней авторов. Как часто бывает в таких случаях, непримеченным оказался достаточно крупный экземпляр полифонического художественного мышления, целый песенный мир, построенный на энергичной борьбе смыслов. Реальное многоголосие нашей очень пестрой и очень разной жизни, неофициальный хор человеческих мнений и представлений, колкие претензии друг к другу целых поколений и целых социальных слоев — все это именно у Высоцкого нашло наиболее последовательное выражение и изображение.

Процесс переживания взаимоисключающих точек зрения на жизнь как равноправных — глубинная, внутренняя тема всего песенного свода поэта. Бесконечная способность к пониманию чужих взглядов, неутомимое умение остро столкнуть противоположные позиции друг с другом и тем самым выйти на новую глубину социального видения — вот что такое феномен Высоцкого в нашей культуре. А практически этот феномен реализовался в смысловой двуслойности каждой песни, в наличии иронического подтекста, второго дна.

Вспомним, к примеру, одну из самых известных песен — «Товарищи ученые». Вроде бы понятней некуда — сатирическое выступление против использования квалифицированных работников умственного труда на сельхозработах. Метод варварский, и насчет него двух мнений быть не может: польза от «доцентов с кандидатами» в деревне весьма сомнительна, отвлекать их от основной работы неразумно. Но, товарищи ученые, задержитесь на минуточку, пожалуйста! А как вы думаете: смеховой заряд песни на вас совсем не распространяется? Нет ли среди вас тех, кто так мало занят настоящей работой, что от его отъезда «на картошку» наука нисколечко не пострадает? На всякий случай подумать не мешает.

Услышав в песне такой второй смысловой голос, наткнувшись на ее второе дно, в пору задуматься не только о проблемах уборки овощей и картофеля, но и о проблемах науки. Вот мы узнали недавно, что в повороте северных рек были очень заинтересованы сотрудники НИИ, которым просто нужно было «осваивать средства», причем миллиардные, которым надо было как-то оправдывать свое ведомственное существование. Занявшись картошкой, они, наверное, нанесли бы стране меньший ущерб. Или возьмем тех, кто поближе к нашему цеху,— авторов коллективных монографий о бурном расцвете литературы в период невероятно развитого социализма. Пылятся труды эти сегодня в «Академкниге» и оцениваются в две копейки за килограмм по тарифу вторсырья. Чем писать это, не лучше ли уж было бы заняться сбором овощей?

Тут я убедительно прошу читателей отложить в сторону журнал со статьей и проверить вышесказанное на других конкретных примерах. Тем более, что в памяти каждого из нас какие-нибудь тек-

сты Высоцкого непременно сидят. Радуя или развлекая, раздражая или озадачивая. Лучше всего — если озадачивая, ибо именно такова их внутренняя художественная цель. А раздражение наше всегда бывает вызвано одной и той же причиной: уловив поверхностный смысл песни и не добравшись до второго слоя, мы спешим обвинить песню в примитивности. Говорю «мы» безо всякого кокетства, поскольку на протяжении вот уже двадцати лет не раз «снимал» свои претензии к той или иной песне, услышав в ней «второй голос», уловив не воспринятые сразу смысловые обертоны. Наш снобизм чаще всего идет от нежелания думать. Труднее всего понять, что ты чего-то не понимаешь. Скажем, и сейчас десяток-другой песен, услышанных или прочитанных мною в последнее время, остается для меня «закрытым», причем именно эти песни кажутся «неудачными», слишком монологическими, «лобовыми», плоскими. Но, исходя из прошлого опыта, я уже подозреваю, что недовольство этими песнями, говоря легендарной формулой Шкловского, есть факт моей биографии, а не творчества Высоцкого.

При всей своей внешней демократической простоте песни Высоцкого внутренне сложны и для полного понимания требуют определенного труда, умственного и душевного. Боюсь, что преждевременно отступились от Высоцкого многие «высоколобые» читатели, некогда ценившие его едкие аллюзии, забористый смех, а теперь, по снятии запрета, готовые уступить его песни «массовой культуре». Уверен, что они взяли у Высоцкого отнюдь не все, что сейчас только и пришло время глубокого научного анализа произведений поэта, их дельной и конкретной интерпретации. Умные читатели нужны Высоцкому, и он им тоже еще пригодится.

«Двуголосое» слово поэта то и дело наталкивается на неадекватное восприятие. Нелегко, к примеру, проследить прихотливо-ироническое движение мысли в философско-аллегорической песне «Правда и Ложь», где есть такие слова:

Чистая Правда со временем
восторжествует,
Если проделает то же, что явная Ложь.

Цитируя эти строки в своей интересной и темпераментной статье («Театральная жизнь», 1987, № 5), К. Рудницкий считает, что именно так «хмуро резюмирует» смысл песни сам автор. Между тем эта релятивистская точка зрения принадлежит одному из персонажей. Приведенная сентенция должна и печататься, и читаться как чужое слово, как слова в кавычках. На это недвусмысленно указывают и две предшествующие строки:

Некий чудак и поныне за Правду воюет.
Правда, в речах его правды на ломаный
грош:
«Чистая Правда со временем
восторжествует,
Если проделает то же, что явная Ложь».

Существенный смысловой оттенок! Автор песни не капитулирует перед цинизмом, а вступает с ним в спор.

Неточное прочтение авторской позиции особенно коснулось тематической группы песен, которую условно можно обозначить как «Преступление и наказание». Этот пласт в творчестве поэта не сводится к так называемым (и неправильно называемым) «блатным» песням, то есть стилизациям раннего периода: «Татуировка», «Я был душой дурного общества...», «Что же ты, зараза...»,«У тебя глаза как нож...», «Бодайбо», «Красное, зеленое...», «Я в деле» и др. Хотя и эти песни заслуживают самого серьезного, без экивоков разговора. Дело в том, что спутать их с «блатными» может только ухо очень тугое. Перевоплощаясь для эмоциональной наглядности и социальной остроты в нарушителей закона, автор, однако, никогда не терял ощущения границы, не растворялся в героях-преступниках полностью. Вот уж где «второе дно» всегда просвечивает отчетливо, оттененное пародийно-иронической интонацией. Разве встречается такое несовпадение автора и героя хотя бы в одной доподлинно блатной песне? Сатирический смех Высоцкого очень далек от однозначной туповатости блатного фольклора, где ни тонкий юмор, ни ирония и не ночевали! Путать Высоцкого с его криминальными героями — все равно, что ненавидеть артиста, известного по ролям отрицательных персонажей, или, как это сделал когда-то в Америке один эстетически неразвитый зритель, стрелять в исполнителя роли Отелло, душащего на сцене Дездемону.

Для иных читателей это, наверное, азбучно бесспорно. Но, к сожалению, не для всех. И даже не для всех, пишущих статьи о Высоцком. Тут нельзя вновь не процитировать Т. Баранову: «Идеализировал ли Высоцкий «блатной» мир в своих ранних песнях? В определенной мере, я думаю, да». И еще: «Способствовали ли эти песни, как утверждают нынешние оппоненты Высоцкого, социально опасной, особенно для подростков, уголовной романтизации, от которой — шаг до настоящего преступления, продиктованного желанием утвердиться за счет унижения себе подобных, испытать себя «в деле»? Легче всего и на этот вопрос ответить утвердительно, но, на мой взгляд, такая поспешность чревата чересчур скоропалительными и поверхностными выводами...»

Да, стиль начинающей исследовательницы несет на себе отчетливый отпечаток застойной эпохи. «В определенной мере», «на мой взгляд», хотя взгляда-то нет, а есть какая-то бюрократическая увертливость, словно в казенном докладе: ни да, ни нет. И все же такие вот «объективные» с виду разглагольствования я считаю гораздо более вредными для уяснения истины, чем самые категоричные нападки. Когда кто-то прямо объявляет Высоцкого идеологом шпаны

и обвиняет поэта в росте преступности, то такая позиция сама себя красноречиво обнаруживает, вступает в противоречие со здравым смыслом. А когда нам говорят, что Высоцкий — певец преступности, но «в определенной мере», то клевета, припудренная канцеляритом, продолжает существовать неопровергнутой.

Может быть, действительно Высоцкий виноват в том, что он недостаточно дистанциировался от персонажей-преступников? Может быть, не надо было их чувства принимать так близко к сердцу? Может быть, не надо было так играть с огнем, сближая свое местожительство и свою среднюю школу в Большом Каретном переулке с находящимся неподалеку МУРом, а про себя и своих коллег по театру говорить, хотя бы и шутя: «Сидим в определяющем году, как, впрочем, и в решающем, в Таганке»? Может быть, не стоило год своего рождения обозначать в этакой «зэковской» системе тропов и фигур: «Первый раз получил я свободу по указу от тридцать восьмого»?

Что за дела, наконец? Почему это интеллигент, сын почтенных родителей, работник искусства напускает на себя блатную дурь, размывая границу между собою и всякими там «фраерами» и «ворами в законе»?

Да потому, что значительную часть российской интеллигенции, в том числе и многих работников искусства, сблизила некогда с уголовными «элементами» сама жизнь. Потому, что «срок», «этап», «пайка» — все это стало некогда лексикой не только худшей части общества, но и — по необходимости — многих достойных его членов. Так, поэт Н. А. Заболоцкий, оказавшийся «по указу от тридцать восьмого» лицом к лицу с будущими персонажами Высоцкого, ежеминутно рискуя как интеллигент и «58-я» погибнуть от их рук, впоследствии писал: «Уголовники — воры-рецидивисты, грабители, бандиты, убийцы, со всей многочисленной свитой своих единомышленников, соучастников и подручных различных мастей и оттенков,— народ особый, представляющий собой общественную категорию, сложившуюся на протяжении многих лет, выработавшую свои особые нормы жизни, свою особую мораль и даже особую эстетику. Эти люди жили по собственным законам, и законы их были крепче, чем законы любого государства... Все они были связаны между собою общностью своих взглядов на жизнь, и у них эти взгляды не отделялись от их житейской практики... Я держусь того мнения, что значительная часть уголовников — действительно незаурядный народ. Это действительно чем-то выдающиеся люди, способности которых по тем или иным причинам развились по преступному пути, враждебному разумным нормам человеческого общежития» (архив семьи Заболоцких).

Надеюсь, что Заболоцкого никто не решится обвинить в «идеализации» преступного мира. Между тем слова его, эти серьезные выводы мыслящего и глубоко чувствующего очевидца, могут служить своего рода «реальным комментарием» к песням Высоцкого о преступном мире. Достоверно воспроизводя внешние атрибуты блатной «эстетики», Высоцкий все время размышлял о тех самых причинах, которые толкнули его героев на неверный путь. В каждую судьбу он всматривается пристально и конкретно, не снимая вины с тех, кто все равно пренебрегал законами и человеческими нормами. Но вместе с тем вышел Высоцкий и на общую закономерность, на крупную общую причину — утрату людьми веры в справедливость, в закон:

Сколько веры и лесу повалено...

Странная эта песня — «Банька по-белому». Кто ее герой? На уголовника вроде непохож, для «58-й» — чересчур простоват. Может быть, из раскулаченных? Да, наверное, частности здесь не так важны. Перед нами — общая драма, общая беда. Для большей обобщенности, для предельной слитности с обделенным справедливостью героем автор, кажется, даже «вписал» в татуировку на его груди деталь из своей собственной биографии: «А на левой груди профиль Сталина, А на правой Маринка, анфас». Обогативший мировую юридическую мысль принцип «Был бы человек, а дело найдется» действовал в самых разных направлениях, стирая различия между статьями и пунктами, между социальными слоями. И в противовес беззаконию вновь и вновь крепла стадная жестокая мораль: «А если хочешь так, как он, у нас на всех один закон, и дальше он останется таким»,— жутки эти слова персонажа песни «Я в деле», только что «запоровшего» человека, но слово «закон» здесь мелькнуло не случайно.

О милосердии тоскует и персонаж — «рецидивист», арестованный для выполнения плана. «Дали срок, не дали опомниться»,— рассказывает не в меру словоохотливый простак, одураченный ловким «попутчиком». Разве не отдается сегодня в нашей жизни былая эра беззакония? Так и просится в песню Высоцкого та скромная женщина-труженица, народный заседатель суда, которая, узнав об избиении подследственного, с наивной непосредственностью спросила: а разве может человек сознаться в преступлении, если человека этого хотя бы немножечко не побить? Немало сюжетов для пополнения своего «криминального» цикла нашел бы сегодня Высоцкий на страницах газет. Ему, сложившему монолог солдата, расстрелянного «своими» на войне, в пору было бы сложить монолог от имени невинно расстрелянного за чужое преступление в мирное время (сюжет, увы, реальный, недавно затронутый А. Вознесенским в «Балладе о двух»).

Но и то, что успел сказать Высоцкий

на тему «Преступление и наказание», достаточно серьезно и весомо. Здесь опыт Высоцкого ставит определенные и нелегкие вопросы перед современным искусством. Ну, что сказать о нашей детективной литературе, о спектаклях и фильмах, посвященных проблемам преступности? Увы, этот жанр полностью парализован рядом повествовательных условностей: здесь на сто процентов обязателен «хэппи-энд», то есть раскрытие преступления, а милицейские погоны являются стопроцентным знаком положительного, без сучка и задоринки героя. Тошнотворно-культурные «знатоки» непременно поймают тех, кто «кое-где еще порой», причем и преступник по законам наших детективов желателен интеллигентный: «их» не жалко. Но вот в «Правде» мы читаем, как комсорг отделения милиции при гостинице «Космос» в нетрезвом виде утонул в бассейне этой гостиницы... Что-то на «знатоков» не похоже.

Недаром ведь с таким азартом работал Высоцкий над ролью капитана Жеглова, стремясь честно разобраться в опасных черточках этого обаятельного героя. Судя по выступлению на одном из концертов, актер даже усложнил драматургию роли, придумав для себя, что Жеглов — «сам из бывших», хотя по сюжету такого вроде бы нет. Тут уже Высоцкий думал не столько о послевоенных годах, сколько о проблемах современности. Ведь что мы узнаем из газет? Жеглов сегодня уже не спорит с «законником» и гнилым интеллигентом Шараповым, он подбрасывает ему якобы похищенные тем документы и привлекает к уголовной ответственности («Схватка с беззаконием» — «Правда», 15 октября 1987 года, в роли «Шарапова» — старший лейтенант Аверина, в роли «Жеглова» — целый ряд ее коллег). Мало мы интересуемся невыдуманными сюжетами такого рода, да и вообще правдой мало интересуемся. Нам безразлично, какую конкретную роль в подрыве законности сыграл бывший министр Щелоков — мудрено ли, что при таком равнодушии к истине ответственность за юношескую преступность иные готовы свалить на песни Высоцкого!

Надеюсь, подлинные блюстители законности поймут меня правильно и не обидятся. Ведь точно такой же разговор в связи с произведениями Высоцкого возможен о любой сфере нашей жизни. Речь ведь идет о полноте правды, о жизненно необходимой нам глубине конструктивной критики и самокритики. В одной из песен поэта группа обитателей Канатчиковой дачи пишет на телевидение возмущенное письмо, отнюдь не приветствуя гласность и честную информацию:

Лектора из передачи!
Те, кто так или иначе
Говорят про неудачи
И нервируют народ...

Однако и вполне психически здоровые люди продолжают сегодня писать в органы печати, призывая молчать про неудачи, заявляя, что «процесс демократизации, перестройки пагубно влияет на некоторых людей» и т. п. Как хорошо, что это печатается! А то ведь раньше мы только из гиперболизированных сатирических монологов Высоцкого представляли точку зрения людей, убежденных, что правда лучше неполная!

Впрочем, полнота правды, нервно пульсирующей в песнях Высоцкого, иногда теряется в тех разговорах, которые ведут искренние и страстные поклонники поэта, не скупясь на взволнованно-выспренние выражения. Желая укрепить репутацию Высоцкого, они услужливо вырывают из контекста песен, из контекста всего его творчества цитаты, демонстрирующие «благонадежность» автора. Усиленно подчеркивается, например, наличие военно-патриотической тематики, а тематика менее престижная, житейско-бытовая, стыдливо отодвигается в запасники.

Не нуждается в этом Высоцкий, а главное — не нуждаемся в этом мы сами. Ведь и война у Высоцкого «своя», с ее беспощадными драматическими противоречиями, с малоприятными подробностями — вроде события, рассказанного в песне «Тот, который не стрелял». Она недавно напечатана в «Московском комсомольце» и в «Авроре», а вот на двух пластинках военных песен Высоцкого «Сыновья уходят в бой» ее нет. Нет здесь и «Штрафных батальонов», и «Песни о госпитале», вошедшей даже в «Нерв». Здесь явное стремление отлакировать «войну Высоцкого», завуалировать ее острые, непарадные ситуации, болезненные сюжеты (Высоцкий-баталист в этом смысле ближе не к поэтам, а к прозаикам: В. Быкову, К. Воробьеву, В. Кондратьеву), выдвинуть на первый план лирику и патетику. Но и в лирических, и в патетических песнях, впрочем, все равно проступает второй план, поскольку сложность войны всегда занимала Высоцкого, и однозначно-парадных песен у него нет. Почему мы верим лирическому тону песни «Он не вернулся из боя»? Да потому, что ее эмоциональность подкреплена беспощадностью нравственно-психологического анализа: ведь рассказчик честно признается в беспричинной неприязни к своему боевому товарищу, в недобром и небратском чувстве, прошедшем только после гибели его. А в самой «громкой» военной песне — «Мы вращаем Землю» — беспощадно и зло звучат слова:

...но мы помним, как солнце отправилось вспять
и едва не зашло на Востоке.

Ведь не о стихийном бедствии здесь идет речь, а о бездарности и безответственности тех, по чьей милости пришлось «отталкиваться от Урала», теряя миллионы жизней. Вслушайтесь в двуголосое движение смысла. После патетического двустишия (патетического без всякой ходульности):

Здесь никто б не нашел, даже если б хотел,
руки кверху поднявших —

очень жесткий сарказм:

всем живым ощутимая польза от тел:
как прикрытье используем павших.

И эти столь разные смыслы неразлучны. Так что попытки приглушить крик боли, притупить остроту социальной правды в текстах Высоцкого в принципе тщетны. Но исказить истину, отдалить нас и от нее, и от Высоцкого они могут. Искусство понимания, умение точно слышать двуголосое слово Высоцкого, воспринимать диалог и борьбу смыслов в его песнях нам будут нужны всегда.

Высоцкий и сам отчетливо осознавал двуплановую природу своих произведений: он говорил на концертах, что песня для него — это всегда «другой пласт» за первым планом, причем «обязательно серьезный». По этому принципу он отличал песню от «зарисовки». Впрочем, и «зарисовки» его (а к ним он относил, например, «Речку Вачу») тоже неоднозначны, голос автора и голос героя образуют в них непростое сочетание. Высоцкий всегда оперирует конкретными человеческими точками зрения — не менее, чем двумя. Мир у него, так сказать, двуобъясним. Смысл плюс смысл — такова формула его поэтики, формула всех и каждой его песни.

И только с учетом этого можно по-настоящему понять социально-нравственную позицию поэта, его конкретную роль в борьбе за демократизм и гласность. Ведь гласность — это многоголосие, это мужественная готовность всех и каждого понимать любую живущую в общественном сознании точку зрения, готовность честно спорить, терпеливо убеждать других и быть в чем-то убеждаемым ими. И стратегия гласности — это не смена одной догмы другой, а обретение единой истины, выдерживающей испытание всеми фактами и всеми точками зрения. Общей истины, не нуждающейся в частной лжи, в волевом подчинении одних взглядов другим.

По такому принципу действует хор мнений и точек зрения у Высоцкого — наиболее, быть может, последовательного и страстного плюралиста нашего времени, пока еще с ним общего. Слово «плюрализм» долго было у нас не в чести: в вышедшем всего пять лет назад, но уже успевшем отстать от жизни «Философском энциклопедическом словаре» это понятие трактуется еще в негативном плане. Но сама жизнь, по природе своей неоднородная и противоречивая, прорвала плотины «моноструктур», потребовала не централизованного, а свободного и разнонаправленного мышления в поисках общего для всех нас выхода. К плюрализму наше общественное сознание пока не приучено. И это касается не только «начальников» всех рангов и мастей, изрядно растерявшихся от полученного сверху указания быть самостоятельными (хотя в первую очередь, конечно, их), но и каждого из нас. Ведь мы так любим унификацию: всем — так всем. Либо всем трястись на дискотеках в брейк-дансе — либо всем упиваться звуками Гайдна. Либо всем быть несгибаемыми атеистами — либо всем креститься и блюсти посты. Уважение к противоположной точке зрения не в нашем вкусе. Нам подай категорическую абсолютную истину, единую и обязательную для всех точку зрения, чтобы начертать ее буквами покрупнее в качестве лозунга и девиза и... ничего не делать.

Высоцкий наглядно продемонстрировал нам, какой мощный источник энергии таится в множественности взглядов на жизнь, в спектре непохожих характеров, несовместимых точек зрения. Общие социально-нравственные ценности утверждаются им только через индивидуальное восприятие. Ему решительно чужда всякая тоталитарная романтика. Альпинистские песни отнюдь не требуют от каждого отправляться в горы, спортивные — штурмовать рекорды, сибирские и северные — вербоваться по оргнабору. Разная жизнь предстает в этих песнях, и разной она должна быть. Однонаправленность усилий неизбежно приводит к «общепримиряющему» бегу, когда все равны, когда «первых нет и отстающих», но бег этот — на месте.

И, чтобы правильно понять единое слово Высоцкого о жизни, надо видеть сделанное им в полном объеме. Об этом мы как-то мало думаем — в том числе и те, кто высказывается о Высоцком в печати. Представьте себе исследователя, который взялся бы писать статью, скажем, о Случевском или о Пясте, и при этом не удосужился бы прочесть все произведения этих авторов. Иначе как невежеством такое исследование мы не назвали бы. А вот с Высоцким считаем почему-то возможным не церемониться, а насчет степени компетентности своих высказываний о нем никто особенно не заботится. Дескать, что я, Высоцкого не знаю, что ли? Кто ж не знает его? Да я, если хотите, столько могу процитировать наизусть и даже спеть...

По совести говоря, каждое наше суждение о творчестве Высоцкого в целом должно выдерживать испытание фактами, то есть всем массивом из шестисот с лишним песен и стихов, да еще с учетом того, что многие песни имеют сложную творческую историю, представлены в различных литературных и исполнительских вариантах. Признаюсь честно: иные свои мысли о Высоцком мне пришлось уточнить или просто отбросить после бесед с настоящим текстологом, знатоком его творчества Андреем Крыловым, возглавляющим комиссию по творческому наследию Высоцкого при Московском клубе самодеятельной песни.

Кто-то скажет: не все у Высоцкого равноценно. Но тогда тем более надо знать *все*, чтобы с достаточной точностью выделить лучшее. Иначе ведь что

получается? До полного академического собрания сочинений (а оно, по-видимому, должно быть одновременно и печатным, и звуковым) пока еще далеко. У нас еще Блок, уже справивший свое столетие, полного собрания дожидается. Так-то обстоят дела в самой читающей Пикуля и Ю. Семенова стране!..

Ладно, вернемся к Высоцкому. Его «избранные» издания составлялись достаточно субъективно и, откровенно говоря, не без конъюнктурной осторожности. В результате лирико-монологическая сторона творчества Высоцкого в печатных изданиях явно превалирует над социально-сатирической, где его индивидуальность проявилась гораздо рельефнее. К тому же весьма безопасно отнести к «лучшему» и к «избранному» песни морской и туристской тематики, стилизационные песни, приуроченные к спектаклям и кинофильмам. Не хочу сказать о них что-то плохое. Высоцкий был органически неспособен к халтуре, и иногда «заказная» работа давала энергичный толчок его фантазии, повод для свободного и вдохновенного сочинения (вспомним хотя бы «Алису»). Но, сравнивая опубликованное и неопубликованное, нельзя не признать, что, к примеру, песни «Один музыкант объяснил мне пространно ..», «Баллада о вольных стрелках», «Она была чиста, как снег зимой...» «На судне бунт...» имеют меньшее право на место в «Избранном», чем такие сатирические шедевры, как «Песенка о слухах», «Попутчик», «Случай на таможне», «Лекция о международном положении», «Перед выездом в загранку...», «Песня об антисемитах», «Жертва телевидения», «Песня про черта», «Мишка Шифман», «Письмо рабочих тамбовского завода китайским руководителям». Увидим ли мы эти очень «высоцкие» песни в изданиях, приуроченных к его юбилею, или придется ждать их публикации в сборнике «Вольная русская поэзия второй половины XX века», который «Библиотека поэта» выпустит лет так через полсотни?

Неистовая плодовитость Высоцкого, количественная весомость им созданного — не просто факт его творческой биографии, но и качественная смысловая особенность. Только бесконечно далекие от творчества люди могут говорить о чрезмерной «спешке», о недостаточной «отделанности» песен Высоцкого. С естественным для серьезного художника максимализмом он все время терзал себя:

Вот вам песня о том, что не спел, не спел.
И что голос имел — не узнал, не узнал.

Но так всегда было и будет. Что-то значительное делают именно те, кто хочет знать и понимать «все от и до», кто корит себя за слабость, кому «секунд недостает», кто стремится к невозможному. «Осталось недорешено все то, что он недорешил». Но недорешено-то — уже нами. И с нашей стороны довольно глупо цокать языком и сокрушаться, буквально повторяя высокие упреки Высоцкого самому себе. Дай бог всякому такой самореализации в деле своей жизни! Высоцкий успел поговорить со всеми и обо всем. И дело не только в энциклопедической полноте его тематики, но и в том, что все песни, вместе взятые, образуют особое художественное целое. Каждая песня в полной мере может быть понята только как часть этого целого, во всех связях и перекличках с другими песнями — как ближайшими, так и отдаленными.

Высоцкий — поэт по преимуществу сюжетный. Его мир ломится от разнообразных фабул — и новых, им самим придуманных, и вечных, им иронически переосмысленных. Поэтому весь песенный свод Высоцкого — не только книга лирики, но и новеллистический сборник, своего рода «Гептамерон» или «Декамерон». Не в смысле, конечно, эротики (она поэта не привлекала), а в смысле структурной организованности, внутренних взаимосвязей. В книгах ренессансных новелл ведь между отдельными сюжетами существуют и чисто тематические, «горизонтальные» связи (в такой-то день рассказываются истории о том-то), и более тонкие, проблемные, «вертикальные» переклички. Новеллистический мир Высоцкого тоже содержит сквозные смыслы, идущие и «вдоль», и «поперек». Задача будущих, подлинно научных исследований — серьезное и глубокое осмысление этих сквозных мотивов и смысловых пересечений, описание непростой архитектуры этого дома песен.

«Кто ответит мне, что за дом такой...» Под одной крышей — герои и подонки, энтузиасты и бездельники, юношески чистая любовь и циничная ухмылка, неистребимая вера и безнадежная опустошенность... И все в конфликтном пересечении, все вовлечено в поединок.

Пройдет время — и появятся точные филологические чертежи дома, который построил Высоцкий. Будут к ним приложены каталоги сюжетных мотивов и стиховых метров, словари фразеологизмов и рифм. Сейчас же пока трудновато посмотреть на этот дом со стороны. Потому что мы все живем в нем — кто вверху, кто внизу, кто в бельэтаже, кто в подвале, кто в пяти комнатах, кто «с подселением».

Многое в доме нашем непросто, недовольств — уйма. Для начала надо бы научиться просто разговаривать друг с другом. Высоцкий взял на себя труднейшую миссию — вовлечь в единый разговор слишком разных своих соседей. И до сих пор это свое дело он продолжает. Потому-то столько споров о его песнях, и энергию спора, наверное, терять не стоит. Чтобы разобраться — как жить всем вместе, как ремонтировать несовершенное, но единственное наше жилище. Как достраивать свой дом и как его перестраивать.

Миражи и действительность

В. Тендряков. Чистые воды Китежа. Повесть. Дружба народов, 1986, № 8. **Покушение на миражи.** Роман. Новый мир, 1987, №№ 4—5.

В многообразии интереснейших публикаций на страницах журналов 1986—1987 годов не затерялись повесть В. Тендрякова «Чистые воды Китежа» и роман «Покушение на миражи». Неотрывные от предшествующего творчества писателя, эти произведения, созданные в 70-х — начале 80-х годов, при всей их несхожести взаимосвязаны, объединены гражданской позицией автора. Река Времени, «поток рода людского, именуемый Историей», в романе и замутненные воды речки Кержавки в повести лишь на первый взгляд не имеют ничего общего: писателю, наблюдающему период общественного застоя, важно понять закономерности исторического движения. Размышлениями о путях строительства «хорошего сообщества», об общественной позиции человека в нынешнем мире вызвано и его покушение на миражи, и внимание к малозначительному, почти фельетонному происшествию во граде Китеже.

Вообще-то с миражами мы встречаемся и в повести, и в романе. Призрачное, выхолощенное существование китежан — в сущности, одна из модификаций миража. Миражи романа — другого, высокого толка. Это — заблуждения на пути обретения человечеством исторического чувства, так необходимого для строительства полноценного во всех отношениях общества. Аналитический, философский роман восходит к неприятию общественной атмосферы семидесятых годов, нарисованной в повести.

Рассматривая «Чистые воды Китежа» на фоне журнальной прозы 1986 года, И. Золотусский определил повесть как «язвительный очерк-фельетон». С моей точки зрения, перед нами сатирическая повесть отнюдь не очеркового и фельетонного характера. Тендрякова интересуют не столько знакомые читателю частности нашей жизни, достойные сатирического осмеяния, а общая постановка вопросов. При всей конкретности, узнаваемости жизненного рисунка недавних лет повесть — тонкое исследование таких гибельных явлений социальной психологии, как стадность поведения, отсутствие собственного мнения, стереотипное мышление, демагогическая манипуляция опорой на народ, привычка к непрямым путям в жизни и т. п. Это и попытка определить их истоки.

Создается образ города, не лишенного примет современности («он живет и строится, выполняет и перевыполняет планы, берет высокие обязательства», выпускает газету с высокопарным названием «Заря Китежа», в нем есть свои знаменитости и достопримечательности, кует кадры пединститут...), но это лишь форма, в которую пытается облечься пустота. Китежане под стать своему городу. Ранее они были «способны и к буйной удали, и к смиренным покаяниям», теперь же порядком пообленились. Богатыри, герои, пророки, удальцы и ухари превратились в граде Китеже либо в свою противоположность, либо суть их переосмыслена до неузнаваемости. На общем сером фоне с завидной точностью выписаны характерные фигуры наиболее примечательных китежан. Несколькими словами, со щедринской афористичностью писатель знакомит нас с китежской интеллигенцией. Это «первый ухарь китежской печати» Петров-Дробняк, Арсений Кавычко, доктор филологических наук, статьи которого — «лирический перезвон», Борис Моисеевич Чур, преданно служащий «всякому, кто его позовет», поэт Иван Лепота — «дитя природы», фоторепортер Тугобрылев, вдохновляющийся лишь радостными сюжетами и картинами, редактор газеты Илья Макарович Крышев, боящийся, кажется, собственной тени. Самсон Попенкин — «истинный китежанин», ответственный секретарь редакции, личность неоднозначная, по мере развертывания сюжета все более и более пугающая. «Истинный китежанин» (хоть и Попенкин, но все же Самсон) и оказывается героем интриги в мастерски выстроенном сюжете повести. «Ясновидящий» Самсон моментально реагирует на указание «значительного лица» города, что «робко мы кричим» о загрязнении речки Кержавки, и точно рассчитывает, что Иван Лепота, постоянно битый «за искажение китежской действительности»,— наилучшая кандидатура для создания будоражащей общественное мнение статьи на актуальную экологическую тему.

С кем же должен сразиться Лепота? С могущественным директором комбината Сырцовым Каллистратом Поликарповичем, к которому даже «отцы города» ходили на поклон. После появления в «Заре Китежа» набатной статьи «Доколе?» город забродил, бурно проявляя свое возмущение в дозволенных рамках формальной активности: водопадом низвергались словесные потоки, бурлили страсти, баламутя даже благополучные семьи. Лишь один человек не снизошел до ответа на набатный удар — Каллистрат. Он оставался по-прежнему неуязвим и спокоен. И по-прежнему от-

ходы его комбината травили речку и всю округу. В конце концов испугалась сама газета: а вдруг неверно поняли команду сверху? Не придется ли отвечать за «набатную» статью? И тогда Самсон пускается на непредсказуемый маневр, возможный только в обстановке какого-то всеобщего морока: скрывшись за ширмой «народного мнения» («Читатель — это народ. На-род! А откуда еще нам черпать существо дела, как не из народной гущи»), строчит от имени несуществующего Ивана Петровича Сидорова отклик, громящий в пух и прах организованную им самим статью Ивана Лепоты.

С появлением Сидорова с китежанами происходит метаморфоза. От их общественного возбуждения не остается и следа. Несуществующий Сидоров полностью завладел воображением горожан, приобретая в их глазах все большую значительность: «не из простых читателей», «видно зверя по следу», «не из мелкой породы», «за ним кто-то прячется».

Дух читателя Сидорова материализовался и «шагал по городу, будоража умы, меняя взгляды и судьбы».

Почему же он возымел такое влияние? Надо сказать, что китежане — народ пуганый. Тендряков ясно дает понять, когда и почему они потеряли свои гражданские качества. «Открыватель заговоров» пенсионер Пэпэша вспоминает «хорошие» времена, когда мир «имел железного хозяина, железную дисциплинку», когда «уважалась сила и презиралась всяческая слабость». Не тогда ли редактор газеты Крышев научился ходить бочком даже в своей редакции, а китежане начали скрывать свои мысли и чувства, а потом и вовсе стали бояться думать? И забродили под моросящим осенним дождичком (непременная деталь китежского пейзажа) какие-то тени, «упрятанные в непромокаемые синтетические кульки». Именно это время породило страх перед грозной и непонятной силой, стоящей над человеком. Не случайно в повести Тендрякова сильные мира сего, как «дядя Каллистрат», за спиною которого «всесильные главки крупнейшего в стране министерства», на сцене не появляются; ответственное лицо, которое дает указания редактору, даже не названо. Китежанин в страхе подчиняется фантомам, призракам, как подчиняется пустым словам и бумажкам, которые оказываются сильнее человека. Мысль эта сатирически заострена, доведена до логического конца именно в «духе читателя Сидорова». Мнимость, пустота принимается за величину и рождает страх, как в гоголевском «Ревизоре». Механизм массового общественного психоза срабатывает безотказно: страх перед фантомом, демагогически наделяемым силой и властью над людьми, превращает ничто в нечто.

Самсон Попенкин вызвал к жизни такие силы, с которыми, кажется, сам не в состоянии был совладать: уже ему грозили Сидоровым! Да он и сам стал бояться этого Сидорова: «Ну, как шарахнет?» Все в граде Китеже ненастоящее, во всем подмена, имитация: бумажные страсти и убийства, бессмысленные словопрения, игра пустыми словами, бури, затрагивающие лишь поверхность вод, неслышные набаты, бескровные дуэли, в которых не защищают чести... Какой-то мертвый город с мертвыми душами. Может быть, потому и Китеж, что не покидает читателя ощущение погибшей жизни, скрытой беззвучной водной толщей. И дико знать, что живут в этом граде люди, уверенные, что «все к лучшему в этом лучшем из миров».

«Чистые воды Китежа» — выражение гражданской боли писателя, критический взгляд на застойное состояние общества. Но отрицание негативных сторон жизни у Тендрякова всегда сочеталось с поиском позитива. Почти одновременно с сатирической повестью создавался роман напряженных социальных поисков, продолжающий русскую классическую традицию.

«Из непроглядных временных далей течет поток рода людского, именуемый Историей». Такими словами начинается «Покушение на миражи», сразу настраивая на значительность разговора об историческом бытии человека. Оно видится Тендрякову «апокалипсическим», катастрофичным. Гамлетовское «быть или не быть» миру заставляет содрогаться и наших современников, которые «гибельно опасны сами себе». Писатель приходит к выводу, что именно недовольство своим временем вызывало и вызывает поиски «золотого века» в прошлом или будущем. Он мучается вечным вопросом: как повлиять на время, куда стремится поток истории, какие силы определяют его движение, есть ли возможность управлять ими? Можно ли вообще познать закономерности развивающегося мира, управляемо ли влияние личности на исторический процесс, можно ли «ломать» историю? Почему ни один из проектов идеального устройства общества не принят жизнью? Присущи ли человеку нравственность и безнравственность изначально, или они являются следствием здоровья или болезни общества?

Тендряков утверждает, что «далекое проступает уже сейчас», но его нужно уметь видеть, и предлагает путь познания времени: «по реке Прошлого», по «человеческим маякам», находящимся «в фарватере Истории»: «по ним легче всего ориентироваться. И следует ли отворачиваться от их архаического света, если даже он и кажется нам иллюзорным?» Такими словами заканчивается небольшое вступление к роману, который представляет собою пять сказаний («архаический свет»), перемежаемых пятью главами. В главах сказания обсуждаются, комментируются с привлечением современных примеров из жизни основных персонажей, их близких и знакомых.

Главного героя произведения, alter ego автора, Георгия Петровича Гребина, физика-теоретика, интересует весь этот круг проблем: время — личность — история. Он решается на необычный эксперимент: переложить на язык ЭВМ различные исторические эпохи, чтобы с помощью машины с математической точностью ответить наконец на вопросы, над которыми бьются люди издавна. Так, он берет какой-то исторический период, выдающуюся личность этого времени, а потом в определенный момент изымает ее из программы и смотрит, как смоделированная история, пропущенная через счетно-решающее устройство, развернется без этой личности. Георгий Петрович ищет ответа вместе с помощниками. Хорошо это или плохо, но Тендряков не стремится рассматривать своих героев (в том числе и главного) во всей психологической глубине. «Покушение на миражи» развертывается как непрерывный аргументированный спор, которому нужны и контраргументы. Поэтому писателя прежде всего интересует система взглядов его героев.

Чрезвычайно интересно следить за развитием мысли автора, для которого все, с чем он сталкивает своего героя,— основа размышлений, будь это легенда, исторический пример, прочитанная книга, случайный взгляд в окно на строителей или поведение собственного сына. Недаром на столе Георгия Петровича статуэтка — нескладный человечек со срезанной головой, сидящий в позе роденовского мыслителя: «...в своем каменном веке его мучало в принципе то же, что мучает меня в моем веке атомном. Как повлиять на жизнь — наверняка уже зрело в его темном мозгу».

Движение в романе (не событийное, а движение мысли) осуществляется в главах — рационалистичных, основанных на рассуждениях, столкновении различных точек зрения, теоретических систем. Направление этому движению в поисках истины дают сказания — недаром они предшествуют главам. Основа, фундамент романа, его эмоциональный центр — это именно сказания, полнокровные, живые. В них действуют люди, в правдивость внутреннего и внешнего облика которых безоговорочно веришь, даже если это герои легенды. Вживе предстают перед нами и Христос — «опален солнцем, закутан в длинный выгоревший плащ», и молодой Александр Македонский с «персиковым» румянцем на щеках, и упрямый старик Диоген, и изломанный жизнью Кампанелла. Действие в сказаниях развивается в обстановке, увиденной точным глазом художника. Зримы «красные, прокаленные скалы» побережья Галилейского моря, «плоские» крыши и «клочковатые» садики Вифсаиды... Кажется, очевидец рассказывает нам о Риме времен Нерона, бунте рабов в Трех Птицах, жуткой деградации пустынного Города Солнца, так выразительно его повествование.

Какая же мысль связывает пять историй — от сказания об Иисусе Христе до рассказа о Томмазо Кампанелле? Герои сказаний — подвижники, мечтающие о всеобщем счастье, об идеальном мироустройстве, люди большой нравственной силы, действительно человеческие «маяки», как сказал писатель, начиная роман. Тендряков благодарно осмысляет драматический опыт человеческих исканий.

Обращение к образу Христа как воплощению философии жизни, владевшей и до сих пор в какой-то степени владеющей судьбами человечества,— литературная традиция, каждым художником понимаемая по-своему. Тендряков прежде всего говорит об Иисусе — человеке, простом «до оторопи, до смущения», совсем не похожем на других пророков, бродивших по палестинской земле: он не грозит карами, не изрыгает проклятий, говорит тихо, обычными, понятными фразами. И столько в нем человеческого обаяния, внешней обычности и внутренней стойкости. Возвышенная вера, спокойная убежденность в своей правоте делают его сильным — фарисеям он кажется «опасней чумы». В изображении Христа Тендряков ощутимо идет вслед за Э. Ренаном; для него особенно важно, что Иисус, по словам Ренана, «пытается обновить мир в его основах и воздвигнуть на земле царство постигнутого им идеала». Рисуя окруженного разгневанной толпой Христа, писатель замечает: «Много ли тут счастливых? Есть ли хоть один в этом слитном круге? ...Беды разные, а страдания у всех одинаковы, одни и надежды — о благополучии, о справедливости. Он дерзнул прийти к ним, позвать в вымечтанное царство, где нет несчастных, нет ни обидчиков, ни обиженных...» Вот он, «сон золотой», навеянный «безумцем» с возвышенной душою, мечтающим о всеобщем счастье.

О возможности счастья в испакощенном людьми мире говорят Аристотель с Диогеном. «Я показываю, как можно быть счастливым, когда ничего не хочешь»,— замечает Диоген, лежащий на мусорной земле под грязным и ветхим гиматием. «Жаль, что ты не видишь себя со стороны, счастливый человек»,— отвечает ему Аристотель. Но и он, ученый, философ, в своих общественно-политических воззрениях отразивший кризис афинской рабовладельческой державы, не нашел пути к царству всеобщего благоденствия.

Много внимания в романе уделено второй фигуре в христианстве — Павлу. Это ему принадлежала мысль о связи «дурных сообществ» и развращенных нравов, ему приписывали слова «кто не трудится, тот не ест». Противоречивый и мудрый, «диалектик две тысячи лет назад», Павел как бы выбивается из своего времени и поэтому не может занять место Иисуса, «убитого» экспериментаторами «вопреки Истории»: сама жизнь еще не нуждалась в Павле. Ге-

оргий Петрович убеждается, что историю не подправишь.

Без «золотого сна» иллюзий жизнь была непредставима, хотя горечь разочарования при столкновении мечтаний с действительностью росла. Ничего не вышло у Лукаса, «горячего проповедника слова божьего», у Стратилия Аппия, желавшего создать у себя общину, «в которой он станет любящим отцом своих рабов». Лукас, с его верой в лучшее мироустройство, с его призывом любить ближнего, оказался «нелепо неуместен» в несправедливом, жестоком мире. Аппий обращается к нему с такими словами: «Ты лжец, Лукас. Всего-навсего лжец. Ты лгал мне, себе, рабам, своему богу. Не может человек любить человека. На земле слишком тесно, Лукас, люди мешают друг другу, так было и так будет». В каждой легенде Тендряков сталкивает возвышенно-романтическое и обыденное сознание, обостряя конфликтную ситуацию, уходя от стереотипного решения. Мечтая о счастье, лучшие люди создавали проекты идеального общественного устройства, но ни один из них не был принят жизнью, а их создатели в глазах современников часто превращались в «шутов» и «лжецов». В то же время утопические представления Тендряков рассматривает как заблуждения не индивидуального, а массового сознания, с которыми человечество далеко не покончило. Именно с этой точки зрения он опровергает суть воззрений Кампанеллы, личности могучей и трагической. Изуродованный, на грани бреда и сознания, создатель Города Солнца умирает не только в физических, но, по воле писателя, и нравственных страданиях: он с болью узнает, во что на практике обернулась его светлая мечта, царство Солнца, Мощи, Мудрости и Любви. Это город бездельников, соглядатаев, тюремщиков, казненных и мертвецов, в котором «радуются по приказу». Кампанелла не может в этом страшном городе — «кипящая ненавистью клоака» — узнать солнечный город своей мечты. И слышит горькие слова: «Заблуждения порой страшней чумы, создатель».

Может возникнуть вопрос, почему Тендряков покусился на миражи. Ведь цену утопическим воззрениям мы сейчас знаем. А знаем ли?! Как часто прекрасное будущее объявлялось завтрашним днем. День приходил — и прекрасное завтра откладывалось на послезавтра. История человеческих заблуждений проанализирована писателем и с современной точки зрения. Вчитаемся, например, в споры вокруг идей Кампанеллы. Возможно ли определить «рубеж желаний» человека? Как сделать, чтобы за свою работу «никто не получал больше, чем следует»? Кампанелла считает, что равная оплата должна вызвать негодование жадных, негодяев. Сол же думает, что наоборот,— у достойных граждан, способных самоотверженно трудиться: «...способный труженик, не жалеющий себя на работе, дает общине много, а рядом с ним другой по неумелости или по лени еле-еле пошевеливается, от него мало пользы». Эти слова могли бы хорошо прозвучать и в ином, современном контексте.

В последней главе задан главный вопрос романа: «Многие ли нынешние апологеты нравственности связывают падение нравов со спецификой труда в наш напористый век научно-технической революции?» Тендряков цитирует слова К. Маркса о способе производства, который определяет процессы социальной, политической, духовной жизни, и обращает внимание на слово «с п о с о б» — оно-то и есть самое главное. Меняя производство, мы не умеем изменить способ производства, который нельзя изобрести, но «можно уловить его появление». Над этими словами писателя стоит очень серьезно задуматься...

Однако последние произведения В. Тендрякова несводимы к решению лишь сиюминутных задач. Обращаясь к многовековому духовному опыту человечества в романе-диспуте или заставляя увидеть свое лицо в увеличительном стекле сатирической повести, Тендряков способствует самопознанию личности, а это вечная задача искусства.

Л. БАРТАШЕВИЧ

Свобода быть собой

•

Александр Кушнер. Стихотворения. Ленинград, Художественная литература, Ленинградское отделение, 1986. **Иные, лучшие мне дороги права...** Заметки. Новый мир, 1987, № 1. **Срок любви.** Стихи. Новый мир, 1987, № 8.

•

Новый сборник Александра Кушнера построен так, что стихи последнего десятилетия занимают в нем основное, господствующее положение; более ранние вещи составляют замыкающий и как бы дополнительный раздел книги. В такой композиции чувствуется самооценка поэта — созданное позднее ощущается им как наиболее значительное и актуальное в его работе. И действительно, поздние стихотворения в чем-то еще более «кушнеровские», чем ранние; в них как будто произошло сгущение тех качеств, которые его поэзии всегда были присущи.

Взять хотя бы пресловутую книжность лирики Кушнера. Реминисценция, художественная аллюзия играет в стихах последних лет роль все более активную: поэт обращается с реминисценцией все более непринужденно, все свободнее

использует ее для решения своих творческих задач.

На холмах Павловска лежит вечерний свет,
Блестит Славянка перед нами.
Искусству, видите ли, тоже сотни лет,
Не только берегу, поросшему кустами.

Какое дерзкое цитирование, и неточное, и точное в одно и то же время! И вместе с тем — как энергично и независимо декларируются здесь позиция самого Кушнера, его понимание сути вещей. Тот же взгляд на соотношение «поэзии и правды» отразился в его заметках, посвященных Пушкину: «Красота природы и произведения искусства в сознании Пушкина не разделены глухой стеной, они одинаково достойны «восторга умиленья», «трепета и благодарных слез». Классическая аллюзия, взаимодействуя в сознании художника с природным или бытовым фоном, заставляет его почувствовать соответствие друг другу разных рядов бытия — природного и интеллектуального, житейского и художественного.

Тому назад еще мгновение
Жизнь вызывала отвращение,
Прельщала смерть одна.

И вдруг — как выход из неволи,
Освобождение от боли:
То ли цветы такие, то ли
Размер «Бородина»?

Этот вопрос, трудно представимый в устах другого поэта, абсолютно естествен для Кушнера. Искусство для него — составляющая повседневной жизни, абсолютно из нее невычленимая. Для Кушнера естественно быть «культурным», и он когда-то писал, объясняя истоки этого своего свойства:

Как клен и рябина растут у порога,
Росли у порога Растрелли и Росси,
И мы отличали ампир от барокко,
Как вы в этом возрасте ели от сосен.

Эти строки — программные, и они неизбежно цитировались, когда велся разговор о Кушнере. Своим последним сборником поэт со всей определенностью заявил, что он намерен и впредь оставаться только собой — книжником и гуманистом, так сказать, «заложником» культуры.

Кушнер пишет в уже цитированных заметках о Пушкине: «... поэзия, наверно, есть уверение человека в возможности для него свободы». По Кушнеру, именно поэзия, искусство дают человеку ощущение какой-то высшей раскованности; с другой же стороны, культура учит человека сознавать автономность и ценность другой личности.

Следуя представлению об истинной природе духовной свободы (предполагающей право каждого быть самим собой и требующей от каждого уважать это право в другом), Кушнер и строит свои отношения с жизнью, с миром. А между тем эти отношения отнюдь не просты и не безоблачны. Поэт очень хорошо знает, что такое душевная боль, что такое рефлексия. О своих тяготах и печалях он не боится говорить обезоруживающе прямо.

Как уголь чистит белых лошадей,
Как чад печной песком сдирают с днища...
Но потопчись, несчастье, у дверей...
Душа не хочет выгоды своей,
Как ей скажу: там сделаешься чище?

Она, при виде горя и обид,
Все, озираясь, бедная, твердит,
Что радость тоже сажу оттирает,
Что поцелуй, что живопись, что вид
На даль морскую... плачет, умоляет.

Точно так же, утверждая права своей личности, Кушнер спокойно, без поверхностного пафоса говорит о любви к родине, выбирая какие-то интимно-личные обертоны:

Страна, как туча за окном
Синеет зимняя, большая.
Ни разговором, ни вином
Не заслонить ее, альбом
Немецкой графики листая.

Читая медленный роман,
Склонясь над собственной работой,
Мы все равно передний план
Предоставляем ей; туман,
Снежок с фонарной позолотой.

Так люди, ждущие письма,
Звонка, машины, телеграммы,
Лишь частью сердца и ума
Вникают в споры или драмы,
Поступок хвалят и строку,
Кивают: это ли не чудо?
Но, и увлекшись, начеку:
Прислушиваются к чему-то.

В этом стихотворении Кушнер касается не только важнейшей проблемы взаимоотношений человека со своей страной; параллельно тут еще и с большой точностью воссоздаются определенная жизненная среда, определенный тип человеческого общения. Человеку интеллигентного круга отлично знакома сама атмосфера этих вечерних застольных разговоров, где обсуждаются проблемы «последней важности» — социальные, культурные, личные. Но, какой бы камерной ни выглядела эта мелькнувшая в стихах Кушнера картина, она для поэта существует нерасторжимо, нераздельно с гигантским фоном народного бытия.

А если существует столь тесная связь между так называемой «частной жизнью» и жизнью страны, то, следовательно, частная жизнь исторична. Именно в этом своем качестве «исторического бытия» она закономерно требует от человека гражданских качеств — решимости и мужества. Спокойное мужество в выборе судьбы, твердость этого выбора Кушнер демонстрирует, скажем, в стихотворении «Нет лучшей участи, чем в Риме умереть...»:

Нет лучшей участи, чем в Риме... Человек
Верстою целою там, в Риме, ближе к богу.
Нет лучшей участи — твержу... Нет, лучше снег,
Нет, лучше белый снег, летящий на дорогу.

«Снег», «зима» — это время от времени встречающаяся у Кушнера метафо-

ра России, русской жизни (и в общественном, и в индивидуально-личном смысле) во всей ее исторической незаурядности и драматической напряженности. Образы этого ряда («снег», зима» и пр.) недаром сопоставляются с проникнутыми классическим духом образами Италии. Мысль о «счастливой» Италии так же оттеняет мысль о родине, как зрелище чужой жизни укрепляет в решимости прожить собственную жизнь по-своему.

Счастье — вот оно! Театральным жестом
Тень скользнет по бутонам и сплетеньям.
Марциал, пусть другие едят в Пестум,
Знаменитый двукратным роз цветеньем.

Кто-то другой выбирает «путешествие в Пестум» (неоклассическая метафора счастья, праздника бытия). Отдавая должное такому выбору, Кушнер сознает: этот путь — иной, не его.

Эти стихи, кроме всего прочего,— об уважении к чужому пути, чужой судьбе. Отстаивая свое право на самоопределение, Кушнер никогда не отнимает подобного права у других. С неафишированным достоинством делая свой жизненный выбор, он этот выбор не абсолютизирует. Искусство — одно из могучих средств увидеть в другом человеке брата. Ощутить его судьбу, жизнь не только как равноценную твоей собственной, но и неразрывно связанную с ней.

Ты спишь? Не за тебя ль в соседней
расплатились
Квартире толчеей и криками в ночи?..

Культура, искусство дают какие-то новые точки обзора, те новые духовные высоты, с которых мир виден в большей полноте взаимосвязей, взаимозависимостей. Жизненное переживание, впечатление — каким бы мимолетным оно ни было — превращается в целый самостоятельный спектр под воздействием культурной памяти. В этом и есть роль культуры как могучей наполнительницы и обогатительницы жизни, роль необычайно важная для человечества. Поэтому мы все внимательно прислушиваемся к Кушнеру, поэтому его поэзия — так или иначе — всем нам небезразлична.

Елена СТЕПАНЯН

«Талант есть чудо неслучайное...»

●

Е. Сидоров. Евгений Евтушенко. Личность и творчество. М., Художественная литература, 1987.

●

Книга Евгения Сидорова — вторая книга о Евтушенко. Первая — «Во весь голос» — вышла в 1963 году в издательстве «Правда». Она состояла из статьи Г. Оганова, Б. Панкина, В. Чикина «Куда ведет хлестаковщина», ранее опубликованной в «Комсомольской правде», а кроме того, из читательских отзывов на эту статью. Книжица хоть и небольшая, но многим памятная. Главным образом, своими оценками. Творческий путь Евтушенко, например, по мнению авторского триумвирата, есть не более чем «вихляние легкомысленной рыбки, уже клюнувшей на червячка западной пропаганды, но еще не почувствовавшей острия и воображающей, что она изумляет обитателей океана грациозной смелостью своих телодвижений. А удильщикам из буржуазных газет и журналов уже не терпится насладиться добычей». Лихо сказано, не правда ли? Завершалась же эта книга следующей устрашающей тирадой: «Можно в конце концов набить себе такой синяк, что он останется навсегда несмываемым родимым пятном».

Не знаю, как насчет родимых пятен, но синяков себе Евгений Евтушенко понабивал достаточно. И хотя в первых же строках Сидоров оговаривается: «Я пишу не критико-биографический очерк, а литературный портрет. Поэтому обстоятельств биографии Евгения Александровича Евтушенко буду касаться лишь отчасти...» — определенное представление о трудностях, которые поэту приходилось преодолевать, эта книга дает. Главными из них были, как это ни странно, вовсе не те разносы и проработки, через которые Евтушенко пришлось пройти, а преодоление себя самого, своего характера. Ведь он сам создавал себе и судьбу, и характер, и тот свой образ, который оставался в сознании читателей. Впрочем, что это я в прошедшем времени? Не только создавал — создает. По сей день, все свои почти сорок лет творческой работы, Евгению Евтушенко удается находиться в центре читательского внимания, в самой гуще общественной и литературной жизни. «Стал я знаменитым еще в детях»,— не без бахвальства написал он однажды, и это, в общем-то, соответствует истине. Ныне его можно уже назвать патриархом. И обозреть его путь не только крайне заманчиво, но и очень поучительно.

Скажу сразу: сама установка попытаться обозреть творчество Евтушенко, не затрагивая его биографии, особенностей его человеческого характера, представляется мне довольно рискованной. Уж у кого-кого, а у Евтушенко жизнь и творчество настолько взаимосвязаны, настолько неотделимы друг от друга, настолько объясняют одно другое, что такой суженный угол зрения заведомо обедняет книгу. Это тем более обидно, что Е. Сидорову как раз есть что на эту тему сказать: он ведь и сам признается, что Евтушенко ему «близкий товарищ», можно сказать, друг, и обстоятельства его жизни ему, конечно же, известны досконально, как мало кому. Они, эти обстоятельства, многое прояснили бы нам в его стихах.

Личные воспоминания лишь изредка всплывают в книге Сидорова. Ну, например, такое: «Евтушенко с молодости тянулся к кино, пристально следил за ним, дружил со многими его мастерами. Как он мечтал сыграть Сирано! Хорошо помню 1968 год, разговоры вокруг будущего фильма, Эльдара Рязанова, увлеченного своим замыслом и наотрез отказавшегося снимать картину, когда поэт не был утвержден на главную роль; помню юную Роксану — Людмилу Савельеву, еще не остывшую от оглушительного успеха, нечаянно выпавшего на долю ее Наташи Ростовой. Фильм о Сирано остался в сценарии, мечтах, разговорах». Подобные «мемуарные» куски в этой книге выглядят чужеродно — автор прячет их то в сноски, то в скобки. Основное же место в книге Сидорова заняла анализ ткани стиха, прозы — анализ скрупулезный, вполне основательный, но, увы, несколько более отстраненный, чем этого бы мне хотелось.

Анализ к тому же весьма пристрастный. Чего стоят, например, такие формулировки: «плоская заключительная сентенция», «варварское, не мыслимое ни у какого другого поэта скопление слов и лиц», «слишком нежное отношение к собственной персоне», «аналогия кажется весьма натянутой», «ему вдруг отказывает чувство меры и ответственности за слово»... Выписки можно множить: Сидоров внимательно следит за тем, чтобы каждый комплимент в адрес Евтушенко уравновешивался пусть небольшой, но все же «ложкой дегтя». «Путь, проложенный отличными стихами»,— пишет он и непременно добавляет: «вперемежку с посредственными». Подобные оговорки в книге Сидорова встречаются на каждой странице.

И тем не менее книга пронизана искренней симпатией к поэту, непритворной заинтересованностью в его судьбе, его развитии. И о неудачах Евтушенко — а кто скажет, что их не было? — Сидоров пишет, сокрушаясь, а не злорадствуя, и не оставляет их вне поля зрения, хотя бы в силу природной честности, из неистребимого желания дойти до конца, договорить все, оставаясь при этом совершенно объективным. Этих качеств, я думаю, у Е. Сидорова не отнимут даже его недоброжелатели.

Чего же все-таки еще не хватило мне в книге Сидорова? Широкого литературного контекста. Творчество Евтушенко рассматривается изолированно от всего, что происходило в то время в литературе. А ведь Евтушенко — не только дитя своего времени («И голосом ломавшимся моим ломавшееся время закричало»), но и своей литературы. «Броуновым движением» называет Сидоров литературный путь своего героя, но почему-то упускает возможность показать на конкретных примерах, что же каждый раз задавало направление его движению.

В ряде случаев такой комментарий к стихам не просто желателен — необходим. Вот один пример. Для того, чтобы проиллюстрировать нехитрую мысль — «когда в нем оживает боль, он становится поэтом», Сидоров пускается в обильное цитирование:

Но если б девчонка замерзла,
беззвучно шепча мои строки,
вошла бы в меня, как заноза,
не гордость, а боль по сестренке...

Мне было бы важно дослезно
не то, что я понят был тонко,
а то, что замерзла, замерзла,
замерзла, замерзла девчонка.

Для понимания этого стихотворения Евтушенко («Слова на ветер») принципиально важна дата его написания: 1971 год. Ведь как раз в этот год в журнале «Юность» была опубликована поэма А. Вознесенского «Лед-69», героиня которой, замерзая во льду, шепчет слова его стихотворения. Евтушенко усмотрел в этой поэме не боль, а удовлетворенное авторское тщеславие. Усмотрел — и тут же написал стихи, в которых упрекает Вознесенского в том, в чем его самого уж очень часто обвиняли критики. Да и само стихотворение «Слова на ветер», если в него вчитаться, далеко не образец личной скромности и самопожертвования.

Сидоров оставляет все эти, конечно же, ему известные обстоятельства за полями книги. И зря. Но что делать: заявив в первых же строках о своей методологии, он четко ей следует.

До сих пор речь шла главным образом о том, чего в книге нет. Но надо сказать и о том, что в ней есть.

Прежде всего в ней много точных наблюдений.

Например, что главные стилевые координаты поэзии Евтушенко — это деталь и формула. В самом деле, без предметной, психологической детали стих Евтушенко немыслим.

У детского кинотеатра «Орленок»
с рекламой мультяшки
«Ну, погоди!» —
карлица двигалась,
как обломок,—
пакет с апельсинами
прижав к груди.

Здесь все важно: и то, что кинотеатр детский, и реклама жизнерадостного фильма, и пакет с апельсинами, видимо, яркими, налитыми солнцем,— эти детали контрастируют с внешним уродством героини стихотворения. Именно не шла карлица или, допустим, семенила; нет, она — двигалась. Все тут точно, все продумано, все построено на детали. Весь эмоциональный строй четверостишия на ней держится.

Признаюсь, я для примера взял первое попавшееся, не самое лучшее у Евтушенко стихотворение (Сидоров для доказательства своей мысли цитирует другие стихи),— но и в нем особенности его поэтики отразились в полной мере.

С другой стороны, действительно — формулировочность. Все мы помним евтушенковские формулы. «Форма — это тоже содержанье». «Поэт в России

больше, чем поэт». «Бессодержательность — это трусость». «Гражданственность — талант нелегкий». «Талант есть чудо неслучайное»... Неудивительно, что, напарываясь то и дело на готовые формулы, некоторые критики задавались вопросом: а может, это и не позиция вовсе, а поза? Не убежденность, а лишь декларации? Е. Сидоров уверен: «Его можно и нужно порицать за многое — за длинноты, небрежность, банальность, легкомыслие, самовлюбленность, — но в его искренности, которая не боится ничего, даже презрения, усомниться невозможно».

Вообще глава, в которой говорится о Евтушенко-лирике,— наиболее сильное место книги Сидорова. Раздел о поэмах менее интересен в силу того, что почти полностью состоит из пересказов практически всех поэм Евтушенко и очень мало рассказывает об общих особенностях поэмного мышления поэта. Конечно, и тут верные наблюдения — например, что сюжетные поэмы больше удаются Евтушенко,— подкрепляются безупречным анализом текста. И все же о лирике поэта Евгений Сидоров написал лучше, с большим, что ли, проникновением, вживанием в предмет.

Вроде бы частное замечание: «В любовной лирике у Евтушенко самое сильное и щемящее — ноты прощания, ухода, гибели чувства»,— но следом идут столь удачно подобранные и смонтированные цитаты, столь значимые обобщения, что эта особенность евтушенковской лирики воспринимается читателем уже не просто как одно из свойств его поэзии, а как непреодолимая внутренняя драма, связанная с самим душевным складом поэта.

Ведь и в самом деле: это даже и не о любви стихи — о нелюбви, о недостижимости, неосуществимости любви, о «разобщенности близких душ». Иногда ему удается убедить себя в том, что любовь состоялась, но и тогда эта иллюзия — всего лишь иллюзия! — продолжается недолго: «...и вдруг она, полна презренья женского, мне закричала: «Ты не мой! Не мой!» Страдание, причиняемое неистинной любовью, прощание со своим чувством — основные мотивы любовной лирики Евтушенко. Е. Сидоров хорошо уловил эту ее особенность и хорошо, с тактом и пониманием сказал о ней.

Кстати, если в 1957 году еще можно было согласиться с Л. Жуховицким, полагавшим, что «о времени, о поколении поэт говорит гораздо выразительнее и увереннее, чем о переживаниях влюбленного, о нежности, о грусти», то за минувшие тридцать лет — и Е. Сидоров доказывает это — Евтушенко создал столько хрестоматийных любовных стихотворений, что подобное мнение вряд ли имеет право на существование.

Вспомните, какой взрыв произвело в свое время показавшееся многим эпатирующим стихотворение «А что потом» (кстати, впервые опубликованное в журнале «Октябрь»). Но откровенность, с какой Евтушенко тогда впервые заговорил на интимные темы, давно стала нормой в нашей поэзии. Он одним из первых объявил войну ханжеству, и победил в этой войне — время доказало его правоту.

Словом, говоря о тех или иных неудачах Евтушенко или органически присущих ему недостатках, Е. Сидоров никогда не забывает напоминать о том, чем мы обязаны этому поэту. Ведь это Евтушенко — один из тех, кто бился за то, чтобы в пятидесятые — шестидесятые годы привлечь к поэзии внимание широчайших народных масс, привить поэзии вкус к злободневности и приучить читателя к «актуальным» стихам. Евтушенко привил поэзии вкус к сочной детали, к конкретике.

Он многое сделал и для развития формальной стороны стиха. Широко ввел ассонансную — корневую — рифму. Привнес в поэтическую речь гибкую разговорную интонацию, способную на разного рода переливы и модуляции. Эта особенная повествовательная легкость была присуща уже первым стихотворениям Евтушенко: «Я бужу на заре своего двухколесного друга. Мать кричит из постели: «На лестнице хоть не трезвонь!» Я свожу его вниз. По ступеням он скачет упруго. Стукнуть шину ладонью — и сразу подскочит ладонь! Я небрежно сажусь — вы посадки такой не видали! Из ворот выезжаю навстречу воскресшему дню. Я качу по асфальту. Я весело жму на педали. Я бесстрашно гоню, и звоню, и звоню, и звоню...» Прямо-таки не хочется прерывать здесь цитирование, не хочется расставаться с этим симпатичным юным героем — мчаться бы вместе с ним в Кунцево, пить там с ним квас, ехать вместе на дачу к другу, возвращаться обратно...

Кроме того, Евгений Евтушенко, безусловно, останется в нашей литературе не только как поэт, но и как блестящий критик, эссеист. Об этой стороне его дарования Сидоров пишет достаточно подробно, причем на этот раз безо всяких оговорок.

Да, не случайно книга Е. Сидорова завершается такими словами: «...Евгений Александрович Евтушенко сделал для советской поэзии многое». Это действительно так. Далекая от комплиментарности, счастливо избежавшая скучной описательности новая книга о Евтушенко подтверждает это со всей определенностью.

Андрей МАЛЬГИН

Отклик

БЕЗЫСКУСНО НАЗВАВ СВОЙ ТРУД «СОВЕТСКИЙ СОЛДАТ», ДОКТОР ФИЛОСОФСКИХ НАУК, ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК Д. ВОЛКОГОНОВ ориентировался тем самым на определенного — заинтересованного — читателя. Охочий до развлекательности такую книгу с полки не возьмет, да и попросту не заметит.

Наверно, выяснение реального адресата любого произведения — дело не всегда простое, но всегда заманчивое. В отношении монографии Д. Волкогонова определить круг ее потенциальных читателей труда не составляет — это те, кто имеет или имел хоть какое-то касательство к армии (как легко убедиться, контингент довольно внушительный). И все-таки в большей степени она необходима тем молодым парням, которым еще предстоят немалые тревоги и испытания. О славных страницах отечественной истории, о светлых образах героев дня сегодняшнего и дня вчерашнего ведет речь автор. Богатейший историософский материал, камертонным звучанием пронизывающий эту книгу-раздумье, окажется крайне полезным для самоосознания и самоопределения в непростых условиях армейской действительности. Но и еще одним заслуживающим внимания достоинством отмечена эта работа. Не идеализируя состояние дел в нашей армии, не избегая разговора о накопившихся проблемах, Д. Волкогонов со страниц книги ведет серьезный, вдумчивый разговор об идеале — нет, не воина — советского человека. Укрупнение акцента, которое можно только приветствовать.

Л. ЖУРАВЛЕВ

КНИГА Л. ШУБИНА «ПОИСКИ СМЫСЛА ОТДЕЛЬНОГО И ОБЩЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ» имеет подзаголовок: «Об Андрее Платонове. Работы разных лет». Она недавно издана «Советским писателем».

У литературных критиков книги обыкновенно выходят поздно; у Льва Алексеевича Шубина (1928—1983) первая книга оказалась посмертной. Многим памятна его статья «Андрей Платонов» в журнале «Вопросы литературы»; как пишет в предисловии к сборнику С. Г. Бочаров, этой «статьей 1967 года было начато исследование большого писателя в реальном контексте истории». С того же времени и до самой смерти критик работал над книгой о Платонове (этом, по определению автора, интеллигенте, не вышедшем из народа). «Она рождалась тяжело и писалась трудно»,— признавался автор. Он неоднократно переделывал уже готовые главы, добиваясь все большей убедительности, глубины; это стало, вероятно, одной из причин того, что труд всей его жизни так и не был завершен.

Можно сказать, что шубинский Платонов — это Платонов, прочитанный через Бахтина (в сборнике есть статья и о самом Бахтине). Лев Шубин выдвинул ряд плодотворных, прошедших проверку исследовательской практикой «рабочих гипотез»: о движении писателя от монологического, публицистического слова к слову художественному, внутренне-диалогическому, о художественной самокритике основополагающих идей Платонова-публициста, о не-сказовой природе платоновской речи. Пока тяжело рождалась и трудно писалась монография Л. Шубина, вышли из печати книги о Платонове некоторых других авторов; но даже в ее нынешнем, незавершенном виде шубинская работа представляется не менее, а может быть, и более весомой, значительной, чем опередившие ее издания. Посмертный сборник Л. Шубина, включающий также отдельные «не платоновские» статьи и внутренние издательские рецензии, заслуживает, по моему убеждению, самого пристального (и не «ритуального», а истинно творческого) внимания.

А. ВАСИЛЕВСКИЙ

ПОСКОЛЬКУ ВОПРОС БЫЛ ЗАДАН — НАДО ОТВЕЧАТЬ. Читателю «Октября» Л. Н. Баладину из Симферополя не понравилось, как я написал в своей статье о творчестве Валентина Пикуля (см. «Отклик» в № 11, 1987). Ему книги этого писателя нравятся безоговорочно, я же склонен взглянуть на успех подобных произведений с большой долей скепсиса. В реплике много не скажешь. Но в пределах возможного я мог бы обратить внимание читателя, что в том, как В. Пикуль излагает малоизвестные, а порой и малозначительные факты из исторических хроник, часто слышится больше восторга неофита перед сенсацией (так вот как оно, оказывается, было на самом деле!), чем вдумчивого труда и мысли художника. Что всего важней для него в романах — «эффект присутствия», когда читатель оказывается погружен в водоворот страстей, сплетен, альковных, бытовых историй, словно бы он сам живет в том времени. Думается, именно в этом одна из главных причин широкой популярности Пикуля, и прежде всего среди той массы читателей, которая и в своей повседневной жизни обитает в том же водовороте, в том же быту. Но в искусстве очень многое определяется тем волшебным «чуть-чуть», в котором воедино сливаются и сам талант, и художественный вкус. Немного за грань этого «чуть-чуть», и вместо искусства — антиискусство. К сожалению, все чаще переступая это «чуть-чуть», В. Пикуль оказывается не в том прошлом, что взялся изобразить, а в его осовремененном, я бы даже сказал, омещаненном варианте. Л. Баладин очень точно подметил, что к Пикулю его влечет, с одной стороны, желание знать родную историю, с другой — невозможность прочитать труды «корифеев исторической науки», как он выражается.

Здесь — объяснение успеха В. Пикуля у тех читателей, которые полагают, что серьезное знание можно приобрести походя, через легкое чтение.

Но не буду дальше множить свои аргументы,— это все-таки дело специальной статьи, а не реплики. Я могу порекомендовать читателям (и тов. Баладину в первую голову) статью доктора исторических наук Е. Анисимова «Феномен Пикуля», опубликованную в ноябрьском номере журнала «Знамя», статью спокойную, аргументированную и в высшей степени убедительную.

Меня действительно радует, что читательский интерес становится все серьезнее. В этом — свидетельство истинных перемен в нашем обществе, все большего стремления нашего читателя к подлинной исторической истине.

Ал. ГОРЛОВСКИЙ

●

Премии журнала «ОКТЯБРЬ» за 1987 год



М. Ганина



И. Герасимов



А. Генатулин



М. Антонов



Ю. Буртин

Майя ГАНИНА. **Пока живу — надеюсь.** Роман (№11).

Иосиф ГЕРАСИМОВ. **Стук в дверь.** Повесть (№ 2).

Анатолий ГЕНАТУЛИН. **Непогодь.** Повесть (№ 4).

Михаил АНТОНОВ. **Так что же с нами происходит?** (№ 8).

Ю. БУРТИН. **«Вам, из другого поколенья...»** К публикации поэмы Твардовского «По праву памяти» (№ 8).

ДО КОНЦА 1988 ГОДА ЖУРНАЛ «ОКТЯБРЬ»

ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ

романы

Майя ГАНИНА. **Зимородок — синяя птица.**

Руслан КИРЕЕВ. **Пир в одиночку.**

Александр ПРОХАНОВ. **Шестьсот лет после битвы.**

Георгий ПРЯХИН. **Прощание славянки.**

Святослав РЫБАС. **Крепость.**

повести

Василий СУББОТИН. **Прощание с миром.**

Юрий ПОРОЙКОВ. **«Ехали медведи на велосипеде...»**

Д. А. ВОЛКОГОНОВ. **Триумф и трагедия.** (И. В. Сталин. Политический портрет).

Игорь ВОЛГИН. **Родиться в России** (Достоевский и современники: жизнь в документах).

Записки народной артистки СССР Нонны МОРДЮКОВОЙ **«Вот так и живем».**

Из литературного наследия Н. М. Карамзина, Л. Н. Толстого, М. Горького, А. Белого, М. Булгакова и др.

Главный редактор **А. А. АНАНЬЕВ.**

Редакционная коллегия: **С. П. БАБАЕВСКИЙ, Г. В. БУДНИКОВ** (зам. главного редактора), **В. В. ДЕМЕНТЬЕВ, Р. Т. КИРЕЕВ, Д. Ф. КРАМИНОВ, Н. Д. КРЮЧКОВА, А. Н. КУРЧАТКИН, В. М. ЛИТВИНОВ, А. А. МИХАЙЛОВ** (первый зам. главного редактора), **И. К. НАЗАРОВА** (отв. секретарь), **В. Д. ПОВОЛЯЕВ, А. А. ПРОХАНОВ, В. Я. САВАТЕЕВ, И. Е. ФИЛОНЕНКО.**

Технический редактор И. П. Калачева.

Адрес редакции: 125872, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 11.
Телефон главного редактора — 214-62-05; заместителей гл. редактора — 214-63-64, 214-79-49, ответственного секретаря — 214-34-44, отделов: прозы — 214-71-34, поэзии — 214-74-67, критики — 214-69-37, публицистики — 214-60-24.

Сдано в набор 01.12.87. Подписано к печати 04.01.88. А 01301. Формат 70×108 1/16.
Высокая печать. Усл. печ. л. 18,20. Учетно-изд. л. 22,24. Усл. кр.-отт. 18,55.
Тираж 250 000 экз. Заказ № 1682.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.